

*НОВЫЙ  
Журнал*

67

*THE NEW  
REVIEW*

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 23th day of September, 1961, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1963.

**THE  
NEW REVIEW  
Новый Журнал**

---

*Основатели*

*М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН*

*С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ*

*Двадцать первый год издания*

**РЕДАКЦИЯ:**

**Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ**

**NEW REVIEW, March 1962**  
**Quarterly, No. 67**  
**2700 Broadway, New York 25, N. Y.**  
**Subscription Price \$9. — for one year**  
**Publisher: New Review, Inc.**  
**Second Class Mail postage paid**  
**at New York, N. Y.**

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

<i>Из архива И. А. Бунина . . . . .</i>	5
<i>Николай Моршен — Стихи . . . . .</i>	8
<i>Евг. Замятин — Мученики науки . . . . .</i>	12
<i>Иван Елагин — Стихи . . . . .</i>	26
<i>Николай Ульянов — Сириус . . . . .</i>	30
<i>Вл. Корвин-Пиотровский — Стихи о звездах . . . . .</i>	64
<i>М. Иванников — Лорд . . . . .</i>	67
<i>К. Померанцев — Стихи . . . . .</i>	75
<i>Артур Лурье — Вариации о Моцарте . . . . .</i>	78
<i>Тамара Величковская — Стихи . . . . .</i>	97
<i>Петр Ершов — Символическая лирика на сцене . . . . .</i>	98
<i>Н. Берберова — Два стихотворения . . . . .</i>	118
<i>Н. Берберова — Фон Додерер и его романы . . . . .</i>	121
<i>Владимир Смоленский — Стихотворение . . . . .</i>	128
<i>Иосиф Мацкевич — О «сказочном» времени . . . . .</i>	129

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>В. Н. Бунина-Муромцева — То, что я запомнила о Нобелевской премии . . . . .</i>	136
<i>Ю. Анненков — Троцкий . . . . .</i>	141
<i>Н. Галин — Пик Сталина . . . . .</i>	162
<i>Дневник П. Н. Милюкова . . . . .</i>	180

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Л. Кучеров — Правовой режим космического пространства и СССР . . . . .</i>	219
<i>Ю. Денике — За фасадом 22-го съезда . . . . .</i>	238
<i>М. Поливанов — Земство и демократия . . . . .</i>	253

### ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Р. Г. — Д. Ю. Далин . . . . .</i>	269
--------------------------------------	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Ек. Таубер — Борис Зайцев. Тихие зори. Н. С. Тимашев — С. П. Мельгунов. Мартовские дни 1917 г. А. Билимович — Проф. А. З. Архимович. Растениеводство СССР. Вяч. Завали- шин. — Ирина Одоевцева. Десять лет. Е. Каннак. — N. Gour- finkel. "Dostoevski, notre contemporain". Д. Н. Иванцов. — В. Марченко. Основные черты хозяйства послесталинской эпо- хи. Роман Гуль — Борис Пастернак. Собрание сочинений . . .</i>	271
<i>Письма в редакцию . . . . .</i>	301

---

**PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 82 ST., NEW YORK 16, N.Y.**

# ИЗ АРХИВА И. А. БУНИНА\*

## МОДЕСТ

Южный сентябрь, на солнце жарко, сухо, везде всё блестит. На окраине города конная ярмарка. Он богатый лошажник, рыжий, шуплый, в чесучевом пиджаке, в черных штанах и высоких сапогах, в белом картузе, с золотым перстнем на указательном пальце. Он целый день на ярмарке. А в городе, в номере гостиницы с прикрытыми сквозными ставнями, в душном полусвете, лежит на диване, в одной розовой сорочке, его содержанка, крупная, полная, сдувает с потной верхней губы мух и белыми руками выбирает из воды в тарелке и ест крупный, размокший ивюм. Лицо девки широкоскулое, курносое, нежное, тело чудесного животного, руки и ступни прекрасные, с удлинненными пальцами, с тонкой блестящей кожей.

У него странное для лошатника имя — Модест. Сиплый, ласковый голос и необыкновенная деликатность. В седьмом часу вечера осторожный стук в дверь.

— Модест, ты?

— Я, Маньичка. Можно?

И входит потный, похудевший, вытирая платком веснушчатое лицо и весело говоря:

— Это же, ей Богу, кошмар! Там такая жара, пыль и такие жуки! Сплошная наглость! Ну, добрый вечер, голубка, живенько вставай и одевайся. Предлагаю немножко покутить

---

\* Эти рассказы из архива И. А. Бунина присланы нам Л. Ф. Зуровым. РЕД.

в «Тиволи». Что ты на это скажешь, золотишко? Надеюсь, довольна?

И с хитрым смешком треплет по розовой сорочке на ляжке.

16. 10. 44.

### ПАЛОМНИЦА\*

На пароходе, на пути из Палестины в Одессу.

Среди палубных пассажиров — множество русских мужиков и баб, совершавших паломничество в Иерусалим и на Иордань, и, как всегда, в числе их немало тяжко-больных «животом». Одну старушку «схватило» еще в Яффе. Жестокая холерина, все ждут — вот-вот умрет. Однако, она твердо решила умереть только в Одессе: ей было лет восемьдесят, не менее; мала и слаба была она, как ребенок, смерти ждала даже с радостью: шутка ли — сподобиться умереть тотчас после такого святого подвига! Но вот узнала, что будет брошена в море, если умрет в пути, — и решительно отказалась умирать до прибытия в Одессу. Так всем и сказала:

— Нет, подожду до Одессы.

И так и сделала: перекрестилась, скончалась только тогда, когда услышала, что входим уже в одесский порт...

В самом деле это всё не выдумка, а то удивительное самообладание, благочестие, с которым умирали когда-то русские

---

\* Рассказ написан в Париже, после войны, но подписал его Иван Алексеевич в последний год своей жизни (красным химическим карандашом). Когда-то рассказ назывался «Записи», но потом, когда Вера Николаевна перепечатала его на пишущей машинке, название было изменено. Кончался тогда рассказ словами: «с которыми они делали на смертном одре свои последние распоряжения». Сокращенный, перепечатанный рассказ, Иваном Алексеевичем не подписан. Поэтому я публикую его целиком, в первоначальном виде. Леонид Зуров.

мужики и бабы, то спокойствие, с которым они делали на смертном одре свои последние распоряжения, и высказывали уверенность в жизнь будущую.

Только не напрасно ли приписывать такие смерти каким-то особенным свойствам русской души... Вот умирает тоже крестьянка и тоже чуть не столетняя, но во французской деревне, у нас в Провансе. Очевидец рассказывает:

Elle était si calme et tranquille que je lui dis en toute simplicité:

— Vous irez au Paradis, ma bonne Julienne.

— Paradis, me répondit-elle, où voulez-vous que j'aïlle?\*\*\*

*Ив. Бунин*

---

\*\*\* Она была такая умиротворенная, спокойная, что я ей невольно сказал:

— Вы пойдете в рай, моя дорогая Жюльена.

— Рай, — ответила она, — а куда ж вы хотели, чтоб я пошла?

## ВСТРЕЧА С ЗАРЕЙ

Подглядел — вот теперь и рассказывай  
Про кудесницу, да про искусницу,  
Предвещавшую дымкой топазовой  
Полыханье огня в златокузнице.

Осыпавшую пылью рубиновой  
Напорхнувший снежок под откосами,  
Разводившую охру и киноварь,  
Щеголявшую гроздью рябиновой  
В светлой шали над рыжими косами.

Так сбываются в жизни пророчества,  
Так свершается всё, чего хочется,  
Всё, что было на картах разложено  
И цыганкой за грош наворожено.

Говорливою, неугомонною,  
Грудь в монистах, и брови подковою,  
Нагадавшею встречу червонную  
Мне да с дамой бубновою.

## ПОТОК И ЛУЖИ

Свалился ливнем с облаков,  
Как падший ангел, прямо в балку,  
В которой испокон веков  
Наш городок устроил свалку.

## С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Там, взбеленившись, бушевал,  
Так, что земля от страха мякла,  
Припомнив и девятый вал,  
И у конюшен тень Геракла.

Он начисто всё смыл и смёл  
Единым махом, без помарки,  
И засверкало дно, как стол  
Под тряпкой доброй куховарки.

И, пригибая край земли,  
Он скрылся с грохотом вдали,  
Землетрясению подобен,

А лужицы еще цвели,  
Вдруг очутившись на мели  
Среди промоин и колдобин.

Жаль, высохли. Они свои  
Дни прожили светло и просто:  
В них днем купались воробьи,  
А ночью отражались звезды.

## С Л О В А

Брал их штурмом, прорывом, битвой,  
Словно передний край.  
Брал послушаньем, постом, молитвой,  
Словно дорогу в рай.  
Было и счастье — реже и проще:  
Россыпи золота осенью в роще —  
Думай, ходи, подбирай.

\* \* \*

Среди туманностей цепных,  
Галактик здешних и иных,  
Спиральных и дискообразных,  
Комет, как скука, ледяных,  
Пространств, прилежных или праздных,  
Среди орбит, среди лучей,  
Среди отсутствия вещей,  
Среди космической глуши,  
Среди кладбищенской тиши,  
Среди молчанья мирового,  
Ни с кем страданий не деля,  
Летит, кружит, поет Земля,  
Окутанная дымкой Слова.

И мнится мне, что ей одной  
На долю выпал звонкий жребий:  
Быть первой клеточкой живой,  
Стать Вифлеемскою звездой  
В еще бездушном, косном небе.

\* \* \*

Не горюй, не горюй — ветер с юга идет,  
Поднимаются реки, ломается лед,  
Оставляют метели свою канитель,  
И капли несут дребедень про апрель.

Над землею звезда на востоке горит.  
Под землею мертвец мертвецу говорит:  
«Возвращается ветер на круги своя,  
Ну, а я?»

\* \* \*

Закат вчерашний не поблек,  
Не стаял прошлогодний снег,  
Не смолк далекий соловей  
В волшебной памяти моей.

Что ей пятнадцать лет назад?  
Что тридцать лет? Что сорок лет?  
Вдруг вспомнятся — то снег и град,  
То смех и грех, то свет и цвет.

О, памяти земной река,  
Ты здесь светла и широка,  
Но как найду я путь во тьму,  
Туда, к истоку твоему,

Где хлещет темная струя  
Из пропасти добытия?

*Н. Моршен*

# МУЧЕНИКИ НАУКИ\*

## 1

Начиная с Галилея, все они перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, СПб. 1901 г.). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода — и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом — пускать кольца из табачного дыма.

---

10-го марта 1962 года исполнилось 25 лет со дня кончины в Париже Е. И. Замятина. Печатаемый нами его рассказ «Мученики науки» впервые появляется по-русски. Нам передал эту рукопись проф. Ч. Л. Маламут, которому в свое время Е. И. Замятин прислал ее для перевода на английский. Вдова Е. И., Людмила Николаевна сообщает нам, что этот рассказ был одним из последних, написанных Е. И. в СССР, незадолго перед их отъездом за границу. РЕД.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка — пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку Анну и полковник Столпаков продиктовал ей:

— Пиши расписку: «Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких либо членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только на половину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через неделю после производства немецкий снаряд снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог уже пускать табачных колец, а стало быть и жить.

Газету с известием о безголовьи Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и геликонным голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» — вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

— Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III вернулась нежная женская душа, Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

— Ростислав, столпаченок мой, единственный...

С тех пор — был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпаковой — его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны — этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бушующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг. Гроыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг — заговорил. Никто до тех пор не слышал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась — Яков Бордюг вдруг произнес речь:

— Это выходить... Это, стало быть, я теперь вроде... это самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была — в очень сжатой форме — декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

— Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей — живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался — и пошел запрягать лошадей, как будто всё было по старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того

же рефлекса распрёг лошадей, засыпал им овса — и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаковский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в сэйфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сэйфы антисейсмической конструкции, как-то: самоварные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья. Поэтому всё содержимое сэйфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции — в мезонине у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день — в воскресенье. Вечером он, как каменный гость прогромыхал по лестнице на мезонин, — выложил перед Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки — и сказал:

— Ну... благодарим, прощайте.

В ответ — разгневанный императорский бас:

— Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню — самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами — он занимался в течение трех следующих глав.

## 2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных родителей дети — человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливаю-

щимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катстрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедная морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

— Дайте-ка мне, — сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута — и всё было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

— Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это, наконец, было сказано: профессор. Рукою бедного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, — в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела всех к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего профессора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стёганая солдатская безрукавка.

— Поди сюда! — вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сергеевна. — Стой... Снимай! — она ткнула пальцем в безрукавку. — Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем всё это было — пока никому непонятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря — упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром — с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то забытые руки из-под скамьи. Все руки — красные от зари и от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка Бордюга, густо простеганная... чем бы вы думали? Гагачьим пухом? Ватой? Нет: сахарным песком. Кроме того, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час — и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию...

Варвара Сергеевна осторожно запахла на груди безрукавку — так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичек неизвестного пола (бабья куцавейка и борода) понимающе взглянул на бюст, осенил себя крестным знаменем и сказал:

— Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Кооперативные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на станции запел петух — видимо молодой: он знал только полпетушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скомандовала:

— Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам,

мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже входили они, заградилорцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади — три бабовидных солдата с винтовками на веревочках.

— Ну-ну, граждане, веселей — растегивайся, распоясывайся! — крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал — и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и прищурясь глядел на одну из кооперативных гражданок.

Ты что, тётка, из Киева, что ли — из киевских пещер?  
— Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.

— А почему же у тебя глава мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

— Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе — у гражданки была прическа из сливочного масла в вощенной обертке...

— А у вас? — морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую кофровую сумку: там были только законные вещества.

— Это всё? — парень остановился и острым мышинным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и впустила его в себя, внутрь — как будто внутри ее не было ни сахара, ни...

Ку-кка-реkk... — опять запнулся начинающий петушинный поэт за окном.

— Да закройте же... — начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда — левого и правого — молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была, как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не знает о ней — но зато знает что-то другое.

Это другое — был сахар: стеганую сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

### 3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика — в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги, бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: «Ку-ккаре-ку!» — это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпою, над всеми головами — чью-то одну голову на тончайшей, жердяной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

— Вы меня помните? Я — Миша.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства — тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, казалось, что как во времена Марата — добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом — эта трагическая, окровавленная голова — кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сергеевну. Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава и подала Мише: — Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело — но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда всё поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стрекозы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна — перед раскрытым окном. За окном в сирени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены во 2-й ступени — и самый серьезный экзамен начался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы она увидела заткнутый за щеколду букет сирени, а к букету была приколота записка следующего содержания:

«Я к вам — с сиренью, а вы ко мне — с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.»

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М.» — Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом

с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май...

— Вы... вы чувствуете: мы — вдвоем? — задыхаясь сказал Миша.

— Да, — сказала Варвара Сергеевна.

— И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем навсегда... Я играю на трубе в Нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна — да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава единственного... Нет, уже не единственного! Несокрушимый, казалось, волнолом треснул, расселся на две половины, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

— Завтра вечером... Приходите... я вам тогда скажу, — ответила, наконец, Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен — политграмма. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

## 4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

— Студент ты мой! Столпаченок мой, един... — Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолки, он начал приветственную речь:

— Как, знычть, вы... вроде, например, лошадь на ярманке... и ежели благополучно продамши и, знычть, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

— Ладно, ладно, спасибо... Иди к себе на кухню... — сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая, как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна — и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она растегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосялся, но крикнул, умирая: «Мама!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

— Что ты? Что с тобой? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь, — прочла...

В газете была статья о том, что необходимо, наконец, изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном — робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

Да... Да! — отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. — Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, мадонну, мать — всё в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запело, но сейчас же, на полуфразе, оборвалось.

— Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если бы вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... — Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: — Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

— Варечка!

— Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда же пойдем...

— В Загс? — крикнул Миша.

— Как вы догадались? — удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где — как буржуазия и пролетариат — рядом живут мать и любовница, заключают временные соглашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже — с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

## 5

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Мор-

щинкер, а за ним — Яков Бордюг: Миша понял: свидетели для Загса. Морщинкер был в сюртуке, на Якове Бордюге был новый синий картуз — он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы — быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: «Просят отнюдь граждан на столах не разлагаться». И под плакатом сидел человек, в кепке, как судьба — одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим гражданским состояниям.

— Вступаете в брак? — сказал он, закуривая папиросу. — Невеста? — Он взял у Варвары Сергеевны документ, перелистал. — Гм... Ростислав, семнадцати лет... Гм... Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

— То есть... это — вроде как мой...

— Как? — человек за столом даже выронил папиросу.

— Да, — твердо сказала Варвара Сергеевна. — Хотя он и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего... от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет в виду нового строя и вступления со мною в брак.

— Как? — крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

—...и вот эти двое граждан, — Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, — подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком, Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:

— Да... Подтвер... ждаю...

— Да, и я говорю тоже — да, — подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно — студент и будущий профессор.

Когда вернулись на мезонии (второе — Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

— Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди... Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

— Иди же, ставь самовар, — сморщилась Варвара Сергеевна.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, прогребил пятерней караковые лохмы и сказал:

— Иди ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

— Ты кто мне теперь, — жана. Ну, так и иди ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

*Евг. Замятин*

\*\*  
\*

Я на заре вечерней  
Стою перед харчевней.

Смотрю я вглубь витрины,  
Где ты перед жаровней  
Вращаешь кус свинины  
Огромный и неровный.

Где ты — король сосисок,  
Ты — царь окороков,  
Блистаешь среди мисок,  
Паришь среди горшков.

Ты создаешь еду,  
Ты тот, кто обессмертил  
Котел, прославил вертел,  
Внес в мир сковороду!

Жир со свинячей кожи  
Ты так умело льешь,  
Должно быть ты и рожей  
На медный чан похож.

Но осторожно пятась,  
Ты повернулся вдруг,  
В лице твоём и святость,  
И бледность и испуг!

Твои глаза с ознобом,  
Под ними темный кант,  
Акварелист должно быть,  
Должно быть музыкант.

Как ты зрачками юркнул!  
Мышонок, а не царь.  
Как ты устал от буркал,  
От рожь, от рыл, от харь.

Они ежевечерне  
Толпятся у окна,  
Из глубины пещерной  
Встают как муть со дна.

И отсвет шевелится  
На каждом кровяной,  
Как будто эти лица  
Все куплены в мясной.

Сюда ежеминутно  
Заносит их прилив,  
И я расплылся мутно,  
И я к стеклу прилип.

\*\*  
\*

Наскучила косность  
Привычной орбиты.  
И рвемся мы в космос  
До блеска умытый.

Там — в междупланетной,  
Светящейся стуже

Убогость заметна  
Звезды неуклюжей.

Звезда там угласта,  
Тускла и шершава,  
Как будто угасла  
Вулканова лава.

Там прутья из стали  
Сгибались, ломались,  
А мы называли  
Ее Стелла Марис!

Как будто из кузни  
Обломки металла,  
Беспомощно грузны,  
Поникшие вяло.

Видать, что клепал их  
Какой-то Вакула,  
Скреплял как попало  
И вешал огулом

Гигантские гвозди,  
Большие антенны,  
Там выкачан воздух  
Из целой вселенной.

Там грешному телу  
Дышать даже нечем,  
Так что же там делать  
Мечтам человечьим!

Уже ли же ради  
Вот этой химеры

Вдыхали Саади  
И пели Гомеры,

И август, что флёром  
Звездился искристым,  
Был просто жонглером,  
Иллюзионистом?

Кто яму прославил  
Названьем нелепым,  
Кто звал эту заваль  
Божественным небом?

В провал безымянный,  
В глубины вот эти  
Летят обезьяны  
В турбинной ракете.

Лети обезьяна!  
Ты наш чичероне  
В глуши первозданной  
И потусторонней!

*Иван Елагин*

# СИРИУС\*

\* \* \*

— А мы думали, тебя в Сибирь сослали, — встретил его дядя.

— Совсем напротив.

— Ну, значит, произвели в генералы.

— Не в генералы, а в графы.

Тетка с глуповатой улыбкой слушала захлебывающуюся речь поручика. Дядя мрачно хмыкал в бороду.

— Вот и говори после этого, будто в наше время невозможны всякие там... похождения. Какой Дюма сочинит подобную ахинею? Однако, граф, ваше сиятельство, мы уже который час не спим по вашей милости!..

Час был поздний, но дядя оборвал разговор не по этой причине. Ему не понравилось, что племянник, приметивший во дворце каждую светлую пуговицу, не обратил внимания на забастовку рабочих, по возвращении в Петербург. Только после дядиных расспросов он припомнил, что, в самом деле, по выходе с Балтийского вокзала не видел ни одного горящего фонаря. Забастовщики выключили газ и электричество.

— Так то, вот, всегда... Главного в судьбах России мы не замечаем, а кричать ура, да шапки вверх кидать — сколько угодно...

---

\* Отрывок из готовящегося романа.

\* \* \*

Утром, к одиннадцати, поручик уже стоял на Фрейлинском подъезде, и был проведен к управляющему Зимним Дворцом генералу Комарову. Генерала накануне предупредили о приезде необыкновенного посетителя; все же случай показался совершенно небывалым. Он смотрел на Дондуа, как на явление трансцендентальное, как на вещь в себе и, видимо, убедившись в ее непознаваемости, приказал отвести в галерею 1812 года. Из нее не видно было, как на Адмиралтейской пристани, городской голова граф Толстой встречал Пуанкарэ хлебом-солью, как президент под эскортом уральских казаков проехал перед самыми окнами дворца в Петропавловскую крепость — возложить венок на гробницу Александра III.

Пока он отдавал дань дружбе двух народов, поручик рассматривал памятник их вражды. Со стен глядели сотни орлиных глаз, задорно взбитых коков героев Бородина, Лейпцига и Кульма. Во весь рост стояли Кутузов, Барклай, Багратион и «он» — северный Тальма, превративший Россию в подмости для своих выступлений перед Европой.

— Любуется отечественной славой, поручик?

Дондуа оглянулся: — Так точно, господин полковник!

Полковник лет сорока смотрел на него ласково-насмешливо.

— Нехорошо мы поступили с Наполеоном. Неправда ли?

Он улыбнулся, взглянув на растерянное лицо молодого человека.

— Были бы мы сейчас европейцами, не грозила бы нам опасность другого нашествия. Как будет отомщен Бонапарт, если мы станем добычей немцев, например!

— Этого никогда не будет, господин полковник.

— Ого! Да вы, я вижу, орел! Спасибо за ответ. А вот, что касается Бонапарта, так я бы очень хотел, чтобы нашим союзником нынче был он, а не этот президент, с которым вам предстоит такой интересный разговор. Боюсь, однако, что се-

годня напрасно вас вызвали. Его уже дожидается куча дипломатов.

Посмотрев на часы, полковник заторопился: — Вот он, кажется, и грядет.

Пуанкарэ, в самом деле, прибыл. Он сразу начал прием, как только поднявшись по Иорданской лестнице, вошел в просторный кабинет.

Первым приглашен был старшина дипломатического корпуса, германский посол граф фон Пурталес. Говорили о французском происхождении рода Пурталесов, о поездке графа по югу Франции. Ни слова о политике. Потом явился уютный японец барон Мотоно. За ним сэр Джордж Бьюкенен, которому тонно дружеской укоризны было сказано о двусмысленном поведении Эдуарда Грея, не желавшего возвысить голос с целью воздействовать на австро-германцев. Бьюкенен разделял чувства президента, но высказал опасение, что Англия вообще останется в стороне от конфликта, по причине сильной рабочей оппозиции в парламенте.

После итальянца и испанца, принятых вслед за Бьюкененом, вошел венгерец граф Сапари. Президент сказал ему несколько слов соболезнования по поводу убийства эрцгерцога и потом спросил, что нового в Сербии. Ответ был сух: расследование идет своим порядком.

— Результаты этого расследования не перестают тревожить меня, господин посол. Мне помнится, что два подобных расследования не улучшили ваших отношений с Сербией. Вспомните дело Фриджюнга и дело Прохаски.

— Мы не можем терпеть, господин президент, чтобы иностранное государство создавало на своей территории заговоры против нашего суверенитета.

После Сапари никто не был приглашен. Президент сам вышел в зал к дипломатам, выстроившимся в ряд. Он ограничился простым рукопожатием с каждым из них, и только возле

серба Спалайковича задержался на мгновение, чтобы сказать слово симпатии и ободрения.

После этого, Пуанкарэ покинул Зимний Дворец, чтобы посетить французский госпиталь.

\* \* \*

На другой день поручик отправился снова в Петергоф, но бродил там неприкаянный. Президент был утомлен вчерашней поездкой в Петербург, обедом во французском посольстве, русско-французским балом в городской думе. Теперь он запросто гостил у государя в его маленьком дворце. Зато к вечеру предстояла поездка в Красное Село на зорю с церемонией.

Около четырех часов, весь Петергоф в колясках, верхом, в автомобилях и поездом, двинулся в Красное.

Когда Дондуа прибыл на правый фланг Большого лагеря, в зоне расположения первой гвардейской пехотной дивизии, все пространство отведенное для зрителей было уже заполнено нарядами дамами, солидными мужчинами в котелках и чиновничьих фуражках. Тут собрался весь Петербург.

Священной скинией белела царская ставка, полная мундиров, звезд и аксельбантов. Когда поручика проводили мимо, он физически ощутил исходившие от нее волны власти и респекта. Стоял сдержанный сановный говор.

В местах для публики разговаривали вольнее. Спорили об исходе процесса мадам Кайо, убившей редактора «Фигаро», говорили об ограблении артистки Тимэ петербургскими дэнди, о путешествии императора Вильгельма в Норвегию, о заносчивости австрийцев.

— Ну какая там война! Господь с вами! Моя жена в Бад-Наугейме, пишет, что все разъехались в отпуск — и канцлер, и фон Ягов... А вы: война!..

— Немцы хитры. Но хитрость у них на лице написана. Не слишком ли много отпусков в Германии?

— Вы чересчур далеко смотрите. Моя жена в Бад-Наугейме... Нет, этого не может быть...

Часто произносилось имя Пуанкарэ.

— Думаете, время для визита выбрано случайно? Нет, тут что-то есть!

Как только солнце спустилось к лесу и стало красным, показался царский конвой. По всему полю прокатилось необъятное ура. Императрица с президентом и двумя старшими дочерьми сидела в открытой коляске а ля Домон, а государь верхом ехал возле. Они проследовали вдоль всей линии войск.

Над лесом, на месте ушедшего солнца, поднялась заря — одна из вещей петербургских зорь четырнадцатого года.

Объехав фронт, императрица и президент остались сидеть в коляске; государь же направился к шатру. Он был бледен. Никогда солдаты не смотрели ему в глаза так, как сегодня. Как будто ночью заглядывал кто-то в окно с улицы.

Началась церемония.

К шатру направился дежурный по караулу, чтобы испросить разрешения государя подать повестку. Потом вышли горнист и барабанщик. Публика затихла, услышав гулкую дробь и скрежещущие звуки меди. Взвившиеся одна за другой ракеты на фоне зари, вызвали взрыв пушечных выстрелов со стороны расположения артиллерийских частей. Соединенный оркестр всех полков заиграл «Коль славен».

— Как страшно! — услышал поручик женский шопот и почувствовал, что в самом деле, страшно.

Огненное крыло накрыло поле так, что нельзя было разобрать — на земле или на небе стояла бесчисленная рать, заполнявшая равнину.

Велик ты в небесах на троне! — зывали трубы.

В былинках на земле велик! — вторили барабаны.

— Кто это? — шепнул стоявший поблизости господин, указывая на офицера в иностранном мундире. Он прислонился

головой к дереву и казался близким к обмороку. Открытые широко глаза уставились на русское воинство, горевшее в генерале заката.

— Это князь Гогенлоэ, австрийский военный аташэ, — ответил представительный господин.

Раздался крик: На молитву, шапки долой!

Вышел штаб-горнист и ставши лицом к государю, громко начал в наступившей тишине:

Отче наш, иже еси на небеси.

\* \* \*

После церемонии был дан обед у великого князя Николая Николаевича, в саду, под навесом. Цветы из Ниццы, устрицы из Остенде, столетние вина и необыкновенно изобретательные блюда делали великокняжеский пир богаче царского.

Всем бросились в глаза зеленые листья, вроде чертополоха, покрывавшие стол президента. Великая княгиня Милица шепнула Палеологу, что они выращены в ее саду, но семена вывезены из Лотарингии, с родины Пуанкарэ.

Вокруг павильона толпились придворные чины, офицеры с таким счастливым видом, будто были не зрителями, а участниками пира.

Наскучив одиночеством в их обществе, поручик потихоньку отошел к той стороне, где деревья в кадках образовали рощу и где можно было скрыться от электричества. Но едва очутившись в тени, он увидел рядом офицера без фуражки. Выставив вперед, по-хозяйски, ногу и засунув руку в карман, офицер задумчиво курил.

Дондуа вздрогнул, узнав государя.

— Кто? — спросил государь, повернув к нему голову.

— Сто сорок пятого пехотного Новочеркасского полка поручик Дондуа, ваше императорское величество!

У государя под усами шевельнулось что-то вроде улыбки.

— А, это ты?

Он докурил папиросу и неспеша пошел к павильону.

По окончании обеда, отправились в красносельский театр на балет. — Но Дондуа отпустили домой, рассудив, что сегодня президент вряд ли будет иметь возможность разговаривать с ним.

\* \* \*

Сидя в тускло освещенном вагоне и стараясь сдерживать расхолодившиеся нервы, он несколько раз замечал на себе чей-то взгляд.

После Лигова, к нему подсел черный господин с бородой и приподняв шляпу извинился: — Мы с вами встречались, неправда ли?

— Мне тоже кажется. Но никак не припомню, где это было.

— Месяца четыре тому назад, в Гранд Отеле... Мы добрых полтора часа сидели друг против друга в приемной...

Поручик покраснел. — Ах да! У этого шарлатана...

— Помилуйте! Какое у вас основание так называть?.. Я знаю многих почтенных людей и все они расценивают его очень высоко.

— Может быть. Но я стыжусь, что ходил к нему.

— О, в таком случае, вы представляете для меня особенный интерес. Если вы сегодня никуда не торопитесь, не согласитесь ли, по приезде в город, отобедать со мной? Мы спокойно побеседуем и я с большим удовольствием выслушаю ваше суждение.

Поезд в это время подходил к Балтийскому вокзалу.

— Вы ничего не имеете против Пивато?

Поручик, никогда не мечтавший о таком роскошном ресторане, был немало смущен, но спокойно ответил, что ему

все равно. Всю дорогу, пока ехали на извозчике, он терзался страхом: хватит ли у него денег?

Судя по улыбкам и поклонам лакеев, по непринужденному виду, с которым спутник входил в зал, поручик понял, что он здесь завсегдатай. Заметив, что в зале много народа и все укромные уголки заняты, черный господин попросил лакея провести их в отдельный кабинет. Он сам выбрал меню, заказал вино и только для вида посоветовался с молодым человеком.

— Так вот, — начал незнакомец, когда они выпили по стакану бордо, — вы меня крайне обяжете, если скажете откровенно ваше мнение о человеке у которого мы оба тогда были. Судя по вашему замечанию, вы относитесь к нему отрицательно. Должен сказать, что это первый случай. До сих пор я слышал о нем самые восторженные отзывы. Вас, вероятно, постигло разочарование?

— Нет... То есть, как вам сказать... Я и не был очарован с самого начала... А после того, как он сказал мне глупость...

— Глупость? — говорите вы... Я не имею права интересоваться тем, что он вам предсказал, но позвольте задать один вопрос: то, что он предсказал — не сбылось?..

— Конечно не сбылось и не сбудется. Мне это стало ясно, как только он выпалил свое пророчество.

— Разрешите еще вопрос. Говоря «не сбылось», вы основываетесь на совершившемся факте, или, так сказать?..

— Да что там! — разгорячился поручик, — вы сами можете судить. Я не делаю из этого секрета. Он мне предсказал карьеру при дворе. Ну не глупость ли?..

Собеседник удивленно поднял брови.

— Никак не могу понять, почему это глупость. Ведь со дня вашего визита прошло месяца четыре, не больше. Как можно делать такие поспешные заключения?

Нет, это вздор! Вздор!

— И это все, что вы можете сказать не в его пользу?

— Да... То есть... Я вообще не верю в гадания и предсказания...

— Вот это уж непонятно. Зачем же вы, не в обиду будь сказано, ходили к нему? Ведь не от скуки же? Да и берёт он знатно. Меньше чем с полсотней к нему и соваться нельзя. Если вы человек богатый, то и тогда трудно предположить, чтобы ради простого развлечения... Нет, уж позвольте не поверить. Все мы, люди просвещенные, стараемся не отставать от века, смеемся над предрассудками, а подойдет на улице цыганка — протягиваем ей руку для гаданья. Посмеиваемся, шутим, а все-таки протягиваем. И двугривенный даем, и слушаем ее галиматью, не пропуская ни одного слова. Нет, ваше благородие, не так то это просто! Самый передовой и образованный человек, если он не доктринер и не позитивист, подвержен этой слабости. Я, лично, верю в существование невидимых тайных сил и в возможность заглядывать в будущее. Только не каждый это может. Господин Перэн, как будто, обладает этим даром. Когда вы назвали его шарлатаном, я, признаться, встревожился, думал убедилесь воочию в несостоятельности его гаданий. А теперь очень рад и за себя и за вас. Пью за исполнение всего вам предсказанного.

Поручик, задетый тем, что пожилой и более чем он интеллигентный человек назвал его в интимной беседе «вашим благородием» — насупился и хмуро бормотал: Нет! Не верю... Все это вздор!..

— Ну хорошо, — сказал незнакомец, съев свой бифштекс и вытирая усы салфеткой, — подойдем к этому с другого конца. Не будет ли с моей стороны нескромностью спросить вас: угадывал ли он имена ваших родных, которые вы писали на записочке и держали зажатыми в руке?

— Угадывал... Но ведь это похоже на цирковые фокусы.

— Может быть. Только пусть сделает что-нибудь подобное хоть один циркач. Кроме того, он удивительно верно описывает весь ход ваших мыслей, когда вы у него сидите. Дочь мою он привел прямо в трепет такой прозорливостью. Делал ли он что-либо подобное с вами?

Да, — нехотя ответил молодой человек.

Ну вот видите! А кроме того он еще лечит. Дочь мою успешно лечил от нервного насморка. Нет, я глубоко уверен, что скоро вы перемените ваше мнение о нем.

Когда обед кончился и подали счёт, поручик стал доставать бумажник. Но любезный незнакомец решительно остановил: — Надеюсь, вы не обидите меня и не откажетесь считать себя моим гостем. — На прощанье он сердечно поблагодарил юношу за доставленное удовольствие, крепко пожал руку и под конец сказал: — Не спрашиваю ни вашего имени, ни кто вы такой, но об одном прошу: в тот день, когда начнет сбываться его предсказанье, дайте мне хотя бы короткую весть об этом.

Он вручил свою визитную карточку и раскланялся самым приятным образом.

Подходя к дому, поручик вынул карточку и прочел: «Александр Димитриевич Протопопов. Член Государственной Думы».

\* \* \*

Предстоял еще один день. Поручику стало известно, что из-за тревожного положения, вызванного сараевским убийством, срок пребывания президента в России сокращается. Сегодня вечером его эскадра покидает кронштадтские воды.

Садясь утром в вагон Балтийской железной дороги, Дондуа почувствовал грусть и усталость. Три минувшие дня, выпавшие, как три карты из колоды, выиграли такое богатство, какого не стоила вся его предыдущая жизнь. Но сегодня дама пик насмешливо подмигнет и видение потухнет так же внезапно, как возникло.

— Вот когда я посмеюсь над Перэном.

Поезд опять привез его в Красное Село. В этот день был парад с участием шестидесяти тысяч войска. Поручика, как вчера, поставили среди штатской публики, неподалеку от царского валика, где сидели президент с императрицей.

Он поразился роскоши дамских нарядов, выписанных из Парижа от Бернара, Ревердо, Дреколля, Жанны Ланвен, либо сшитых в Петербурге у Леспинас по журналу *La femme chic à Paris*. Царил модный тальер с баской и узкие книзу юбки. Вакханалия перьев на шляпах. И сколько прекрасных, счастливых лиц!

Под Лотарингский марш, под марш Самбры и Мёзы, полки колосистыми нивами проплывали перед сидевшим на коне императором. Публика перешептывалась при виде походной формы войск. Какая-то женщина потихоньку крестилась каждый раз, когда марширующая колонна проходила, сотрясая землю.

\* \* \*

А вечером опять Петергоф, пристань, две яхты, попыхивающие едким дымком, подкатывающие коляски великих князей и министров.

Поручик тосковал. Скорей бы все кончилось. Он уже думал, как вернется в полк и будет с усмешкой рассказывать приятелям о странном приключении. Расскажет и про сегодняшний вечер, про экипаж похожий на корзину цветов, что вот приближается к пристани. Хотя из-под четырех белых шляпок, украшенных эспри, выглядывали совсем простые девичьи лица, в публике произошло движение, которое нельзя было истолковать иначе, как величайшую почтительность.

— Великие княжны! — осенило поручика.

Он вспыхнул маковым цветом, узнав в одной из царских дочерей ту барышню, что третьего дня разговаривала с ним в Большом петергофском дворце.

Ни отступить, ни скрыться в толпе. Надо было с прочими военными вытянуться и отдать честь. По лицам великих княжен он понял, что его узнали. Вспомнил вчерашнюю улыбку государя и покраснел еще больше.

Последними приехали император с императрицей. С их прибытием на пристани собрался царствующий дом, двор и правительство.

Государь милостиво разговаривал то с тем, то с другим и не спешил с отъездом. Началась посадка на «Александрию». Когда она отошла от пристани, «Стрела» стала принимать своих пассажиров. Там было тесно. Дондуа, никогда не бывший в обществе важных лиц, не знал куда себя деть. Всю дорогу норовил забиться в угол, но везде видел величественные подбородки, недоуменно уставленные на него глаза.

На палубе «Франции» уже стояли шпалеры матросов, державших ружья на караул. Играли «Боже царя храни». Августейших гостей встречал сам президент, в Андреевской ленте, с орденом. Остальных принимали Вивиани, Палеолог и адмирал Ле Бри. Палуба сверкала чистотой дубовых планшеток, ярко начищенной медью и густой, как дамское боа опушкой из цветов окаймлявших мостик. Боевая машина походила на стального рыцаря, увенчанного нарциссами.

Стол расставили под дулами двенадцатидюймовых башенных орудий. Даже скептически настроенный Фредерик пришел в восхищение.

— Дорогой посол, неужели мы дожили до времени, когда спокойно есть и пить можно только под сенью этих... сигар?

— Зовите их трубками мира, любезный граф, — ответил Палеолог.

Он очень боялся, как бы после петергофских и красносельских обедов прием на корабле не показался бледным. Но галльская живость хозяев, превосходное шампанское и ленты ордена Почетного Легиона, которыми президент украсил груди великих князей, генералов и государственных деятелей, произвели наилучшее впечатление. Палеолог сегодня искренно гордился своим президентом. Каким ребенком казался царь рядом с этим парламентским барсом, закаленным в бесчисленных избирательных схватках, в партийных интригах, в свержениях министерств! Он опять произнес речь, от которой у

многих засверкали глаза. Великая княгиня Анастасия, посмотрев на Палеолога, высоко подняла бокал.

Празднество оживилось с наступлением темноты, когда зажглись огни. Их императорские высочества, великие княжны, соблаговолители танцовать на корме мазурку с офицерами французского флота.

На Мориса Палеолога возложена была трудная миссия дирижировать разговорами, гуляньем по палубе и, в то же время, выполнять важные дипломатические поручения. Под звон бокалов сочинен был отчет для прессы о встрече глав двух государств и незаметно представлен на одобрение Сазонова и Вивиани. С игривой ловкостью пробегались глазами телеграммы, искусно подаваемые офицерами корабля. Из Парижа шли тревожные вести. Президента торопили с возвращением. Чего-то опасались, к каким то неожиданностям готовились. Надо было при мимолетных встречах возле трапа или у якорной цепи успеть сообщать об этом с улыбкой Вивиани, занятому болтовней с великой княгиней Милицей. И надо было не спускать глаз с императрицы — единственного человека, сидевшего с плотно сжатыми губами.

Палеолог усердно занимался русской историей и теперь раздумывал: на которую из прежних цариц похожа Александра Федоровна? Трудно было представить, чтобы она, как Екатерина II, вставши во главе гвардейских полков, могла свергнуть с престола мужа. Нельзя вообразить ее и царствующей. Но из нее вышла бы хорошая регентша при малолетнем сыне.

Французское искусство разговора разбивалось об нее, как о скалу. Усадив посла рядом, она его совершенно заморозила. На другой день, при занесении беседы в дневник, он ничего не мог припомнить из ее речей, кроме: «Я довольна вашим сегодняшним вечером... Я очень боялась бури... Как великолепно украшение корабля!.. Вышедшая из туч луна сделала ее мрачной».

Оркестр, поблизости, начал ужасное аллегро. Императрица поморщилась. Закрыв руками уши, умоляюще посмотрела на Палеолога, — *Ne rougissez-vous pas?..*

Он быстро усмирил ярость кларнетов и геликонов, и вернувшись употребил весь жар, чтобы рассуждениями о прелести морских путешествий, оживить царственную собеседницу. Его слушали молча.

Посол был бесконечно благодарен случаю, позволившему оставить «царицу снегов» и не приближаться к ней до конца вечера.

Зато он старательно наблюдал за государем и президентом. Боялся, как бы не последовало удаления их в каюту для прощальной конфиденциальной беседы. Дипломатический стиль Палеолога не допускал такого бесвкусия. Он искренно возблагодарил императора, когда тот предложил подняться на мостик. Там, среди цветов, на виду у всех, произошел их последний разговор.

Палеолог находил неизъяснимую прелесть в таком соединении высокой политики с блеском бала. Вдыхая запах резеды и свежести взморья, он испытывал род сладострастия при мысли, что эфир в это время дышит предчувствием мировой драмы.

\* \* \*

Из пассажиров «Стрелы» один Дондуа не был взят на корабль. Уныло разгуливая по пустой палубе, он думал о несправедливости случая, смотрел на черные привидения эскадры, притаившейся во мгле, на горевший, как люстра в небе, броненосец. Там гремела музыка, мелькали флотские фуражки, дамские шляпы, платья. Было видно, как в темном углу, на корме, то разгорался, то потухал огонек папиросы.

Он будет это помнить всю жизнь.

На отдаленных судах забили склянки. Обед подходил к концу. К одиннадцати часам яхтам был дан приказ подойти к броненосцу.

Опять воинская команда с ружьями, русский национальный гимн, Марсельеза. Гости спустились веселые, довольные.

По мере того, как они покидали корабль, огни на нем гасли. Остались одни сигнальные.

Месяц то скрывался, то выплывал из-за туч.

«Франция» тихо тронулась. Посылая прощальные приветы «Александрии», провожаемая напутственными пожеланиями, она стала таять в луне и в море.

\* \* \*

На утро Петербург только и говорил, что об австрийском ультиматуме. Газеты с возмущением писали о великой державе, предъявившей маленькому народу требования неслыханные в истории дипломатии. Говорили, будто граф Берхтольд, сочиняя ультиматум, заботился о его неприемлемости.

В министерстве иностранных дел о нем узнали еще ночью, в четвертом часу, когда пришла телеграмма из Белграда от русского поверенного в делах. Прочтя ее, начальник канцелярии барон Шиллинг вскочил с постели. Он понял коварство австрийцев, выбравших для предъявления ультиматума тот час, когда на борту «Франции» император и двор прощались с президентом. Чья-то трезвая голова на Балльплаце так рассчитала время, чтобы весть об ультиматуме дошла до Петербурга после отъезда Пуанкарэ.

Первым делом барон вызвал к телефону послов Извольского и Шебеко, потребовав, чтобы они, прервав свой отпуск немедленно возвращались в Париж и Вену. Потом разослал известия товарищу министра Нератову и виднейшим чиновникам министерства, находившимся тоже в отпуску.

К десяти часам приехал Сазонов. — *C'est la guerre européenne!* — воскликнул он, выслушав рассказ Шиллинга, и прямо из кабинета барона позвонил в Петергоф.

— Это возмутительно! — услышал он голос императора. — Прошу вас Сергей Дмитриевич держать меня *au courant* всего, что последует.

За чаем государь рассказал семейству о полученном известии.

Две младшие великие княжны весело шептались о чем то замеченном во время вчерашней поездки на корабль. У старших слово «ультиматум» связывалось с отношениями между министрами и Думой. Первая мысль их была о роспуске Сербии.

Только императрица пристально-испытующе поглядела на государя. Через полчаса она вошла к нему в кабинет.

— Что же ты намерен делать?

— Не знаю. Посмотрим, как все обернется...

Она замолчала тяжелым угнетающим молчанием.

— Дорогой мой, обещай, что ты не сделаешь ни одного неосторожного шага. Ведь ты не хочешь войны?

— Видит Бог!..

— Войны не должно быть! Никак не должно... Ты ее не допустишь, Ники. Обещай мне...

— Ты хорошо знаешь, что я не хочу ее, и если интересы России...

— Ах! — восторженно вскрикнула она. — Как я боюсь, что тебе теперь начнут со всех сторон говорить об этих интересах!..

После некоторого молчания она проговорила совсем тихо: — Нашему бэби опять плохо, сходим к нему. — Он поднялся и пошел за нею в спальню наследника.

— Папа, неужели мне так и нельзя будет прокатиться на лошади?

— Конечно прокатисься.

— Я хочу, чтобы меня никто не держал в седле и, чтобы править мог я сам.

— Да мой милый. А вот не хочешь ли посмотреть на своих алексеевцев? Они тебе прислали.

Николай показал фотографию лихо марширующего отряда крошечных матросиков — детей севастопольских моряков. Всего два месяца назад наследник в сопровождении государя

обходил их фронт в Крыму и хорошо помнил сотни обожавших его детских глаз.

— Здорово молодцы алексеевцы! — сказал, он еле слышно и услышал: — Здравия желаем, ваше императорское высочество!

Пришла Мария Николаевна, за нею Анастасия. Они поцеловали Алексея, потом родителей, а Анастасия, взяв руку отца, прижалась к ней щекой.

— Вот твое царство, Ники, — сказала императрица, обнимая сразу его и детей, — неужели ты еще не понял? Во всей империи нет уголка, кроме этой комнаты, где бы твое сердце было дома. Помолимся, чтобы Бог нас спас и сохранил.

Она опустила перед образом и Николай с дочерьми последовал за нею. Припадая головой к обитому сукном полу, страстно шептала молитвы.

Когда поднялись, наследник спал, сжимая в руках фотографию молодцов-алексеевцев.

В коридоре императрица обняла Николая за плечи и над самым ухом прошептала:

— Ники, спроси совета у него.

— У кого? — недоуменно обернулся Николай, и сразу понял свою вину.

— Ты неблагодарный, Ники. Как можешь ты забывать о нашем спасителе? Обещай мне поступать, как он скажет.

Через полчаса была послана телеграмма в Тюмень:

— Опасаюсь войны. Что скажешь?! Не оставляй своими советами. Молись за нас.

\* \* \*

Старец Григорий Ефимович лежал в Тюмени в больнице по случаю нанесенной ему раны в живот.

— Кака-то стерва пырнула меня ножом, но с Божьей помощью остался жив, — писал он друзьям. Хотя после опера-

ции сделанной врачами присланными из Петербурга здоровье его улучшилось, царица продолжала тревожиться. Сначала ее просто огорчало несчастье приключившееся с другом, но как только заговорили об австрийском ультиматуме, ей открылась зловещая связь между этими двумя событиями. Закрывшись в спальне, молилась о его спасении и о том, чтобы он скорее был здесь.

\* \* \*

В тот день непрерывно звонил единственный телефон во дворце. Он висел внизу, возле лестницы, так что государю приходилось каждый раз спускаться из своего кабинета. После одного разговора он повесил трубку и вместо того, чтобы снова подняться к себе, надел фуражку и направился к выходу.

— Ничего не будет, вот поверь мне! — услышал он голос Чемодурова. — Так, пошумят, пошумят, да и затихнут. Ну сербам, может быть, надерут... А чтобы там казус белли или конгресс какой, этого не будет.

Император знал страсть своего камердинера к внешней политике и любил притаившись слушать его рассуждения. Все министры иностранных дел, являясь во дворец, считали нужным вести с ним разговоры о европейских интригах. Один Сазонов делал это неохотно, зато и не пользовался расположением.

— Жидковат больно. Не министр, а присяжный поверенный какой-то. Разве сравнишь его с Лобановым-Ростовским или с Извольским? Вот были министры!

Терентьич и сейчас расцветал при виде Извольского. Не далее как вчера спросил его: — Ну что, Александр Петрович, дела-то наши?

— Скучно, братец, скучно. Никакого движения. Дохнем с тоски.

— Да неужто? А что же сербский то казус?

— Обойдется! — махнул рукой Извольский.

После такого заявления, Чемодуров усвоил снисходительный взгляд на австро-сербский конфликт и, теперь разбивал все опасения своего коллеги Волкова. Но Волков слышал разговор государя с Фредериксом по телефону и понял, что друг его безнадежно отстал от событий.

— Кабы все так просто было, так зачем же Александра то Петровича отправлять?

— Куда отправлять?

— Известно куда — в Париж.

— Как так?

— Да так. Его и Шебеку велено воротить к служебным должностям. Говорят, ни свет, ни зоря позвонили. Кабы никакого трусу не было, так не пороли бы горячку. Вот, когда Боснию и Герцеговину забирали, так сразу было видно, что ничего не будет. А тут чем-то паленым пахнет.

Чемодуров был сражен. — Вот оно что! Дело дрянь.

Улыбнувшись, император направился к выходу, но проходя через крошечный вестибюль, остановился. На круглом столике лежал свежий выпуск «Нового Времени». Уж десять лет, с самого начала японской войны, во дворце принимали меры, чтобы ни клочка этой газеты не попадалось на глаза государю. Это после того, как там появился пасквиль заученный наизусть всем Петербургом.

Что за мучение адское!  
 В сердце моем всё раздвоено.  
 Чую в себе я и война,  
 Чую я нечто и штатское;  
 Страсти имеют двоякую  
 Власть над душой моей хрупкою,  
 Брежу и мира я трубкою,  
 Жажду немного и драки я.

Чемодуров при виде своей оплошности стоял бледный, готовясь принести повинную, но Николай, к удивлению, не сказав ни слова, взял газету и начал читать. Он оглушен был га-

лочным граем заголовков: — «Спасите Сербию», «Тевтонский орел над Балканами», «Доколе же терпеть?», «Франция с нами!», «Немецкие планы», «Восстань же Русь!»... Сообщалось, что петербургские рабочие, бастовавшие несколько дней тому назад, теперь отрезвились и единодушно выражают готовность встать на защиту национальной чести. Газета призывала и всю страну объединиться вокруг своего «бранного воеводы». В каждом столбце мелькали: «помазанник божий», «державный вождь», «белый царь». Положив газету, Николай бодрой и твердой походкой вышел в парк.

На повороте аллеи к нему подошел великий князь Николай Николаевич. Он только что прибыл верхом из Новой Знаменки, расположенной неподалеку от Петергофа. Не желая, чтобы его приезд был замечен во дворце, он упросил Николая по телефону, принять его в парке во время прогулки.

— Я бесконечно рад твоему бодрому виду, Ники. Только так и должен встречать русский царь известия о вражеских кознях. Прости, что отнимаю твое время, но ты мой характер знаешь: не могу сидеть спокойно, когда над нами тучи.

Государь ответил, что тучи, как всегда, сгущает сам Николай Николаевич. Небо, конечно, не безоблачное, но о грозе говорить рано. Самое главное, что он, Николай, не хочет войны и сделает всё, чтобы помешать ее возникновению.

Великий князь горячо одобрил его миролюбие, но прибавил, что лучший способ сохранить мир — это звякнуть саблей.

— Интересно, как ты представляешь себе это звяканье?

— Я солдат, Ники, я бы просто объявил мобилизацию нескольких военных округов и, верь мне, лучшего ответа на австрийское нахальство нельзя придумать.

Государь провел рукой по усам, что означало у него волнение или раздумье.

В это время в аллее показался скороход, несший императору спешную телеграмму от сербского королевича-регента. Александр умолял не оставить Сербию, жаловался на неслы-

ханные притязания австрийцев, на сорокавосемичасовой срок, данный для принятия самоубийственных условий.

— Австро-венгерская армия сосредоточивается около нашей границы и может нас атаковать по истечении срока. Мы не можем защищаться.

Николай ясно представил печальное лицо милого королевича, которого хорошо знал в бытность его воспитанником Пажеского Корпуса. Он показал телеграмму великому князю.

— Это голос самой невинности, Ники. Подумай только, никого ведь у них нет в целом мире, кроме тебя. Как возликуют наши враги, если пронесется слух, что русский царь остался глух к их мольбе!

— С чего ты взял? Я никогда не позволю раздавить Сербию.

— Еще бы! Ты бы покоя себе не нашел. Да и не хочешь же ты превратиться в государя второстепенной державы. А это непременно случится, если уступишь и дашь дорогу немцам. Тогда от их претензий житья не будет, пинков и окриков не оберешься.

— Да, ты быть-может прав, и нам придется звякнуть саблей. Но подождем, что скажет совет министров.

\* \* \*

Александра Федоровна хотела знать все о чем говорилось в совете.

Предложение Сазонова просить Австрию о продлении срока ультиматума, дабы позволить великим державам ознакомиться с данными судебного следствия о сараевском убийстве, ей понравилось. Она благосклонно отнеслась и к другому его предложению — посоветовать Сербии не принимать боя с австро-венгерскими войсками, оттянуть свои силы и обратиться к державам за посредничеством.

Но когда узнала, что совет решил испросить высочайшего указа о мобилизации четырех военных округов, а также Балтийского и Черноморского флотов, она пришла в сильное волнение.

— Какой же это мудрец посоветовал?

— Все сошлись на этом.

— Как это опасно!

— Четыре округа, это не вся армия, и потом...

— Ах нет, нет, нет!.. Не говори мне чужими словами! Я знаю, что это не твое... Бедный! Тебе стараются внушить... Это все от Николаши, от его черных женщин... Им надо, чтобы ты взялся за оружие.

Губы ее и ноздри задрожали, как перед слезами.

— Sunny! — встревожился Николай, — Как это можно? Ведь моего согласия еще нет.

Он прижал к груди ее голову и почти плачущую провел в будуар, где она устало опустилась в кресло.

— Если бы ты знал, дорогой, как мне тревожно!.. Ты не допустишь никакой мобилизации. Я на тебя полагаюсь, Ники.

Через полчаса она снова вошла и положила бумагу на стол.

— Он не хочет.

Это был телеграфный ответ старца: —

— Ума-то. Ума-то. Господь не покинет. Ох не могу. Да кто это голову крутит. Известно нельзя.

— Нельзя. Ты понимаешь, Ники? Нельзя! Нельзя!..

Она так часто стала повторять это слово, что Николай с беспокойством посмотрел и опять ласково, как ребенка, отвел в комнату.

Поздно вечером — новая телеграмма.

— Господь и Троица. Не поддавайтесь. Кабы я сам да с вам.



Один Дондуа не знал об ультиматуме. Отправляясь в Петергоф, он не замечал оживления на углах улиц, где продавались газеты, на приподнятый тон разговоров в вагоне. Он думал о новом вызове во дворец. Что могло означать теперь, после отъезда президента?

— Вдруг да к самому государю?..

Явившись в знакомую приемную, он был намеренно холодно встречен дворцовым комендантом.

— Спасибо за службу, поручик.

Потом, посмотревши в какую-то бумагу, совершенно ледяным тоном:

— Его императорское величество приказали мне спросить вас, поручик, не пожелаете ли вы служить в частях дворцовой охраны?

Воейков с явной неохотой выполнял высочайшее повеление. У него на столе лежала полицейская справка из которой было видно, что хотя сам поручик ни в чем плохом не замечен, но дядя его, думский депутат, у которого он проживает, находится на большом подозрении. Не принадлежа формально ни к какой партии, он тяготеет к левому крылу, ведет дружбу с Милюковым, с кадетами, и высказывает суждения, близкие к социалистическим. Воейкову этого было достаточно, чтобы самого поручика считать революционером. У него оставалась слабая надежда на отказ молодого человека или просто на неудачный ответ, который можно было бы истолковать как отказ. Застигнутый врасплох поручик сам не знал, что пролепетал в ответ. Видел только нескрываемое неудовольствие на лице дворцового коменданта и услышал сухое приказание, отданное в полуоборот: — направляется в железнодорожный полк и должен явиться к командиру полка генералу Цабелю.

Цабель, пожилой, но необычайно статный, принял его тоже сухо, по начальнически.

— Значение вашей новой службы и требования, которым должен отвечать офицер нашего полка, вы узнаете от своих непосредственных начальников. Все переговоры и формальности связанные с вашим переводом сюда, будут проделаны нашей канцелярией, а пока они длятся, можете устраивать свои дела. Вас вызовут.

\* \* \*

— И ты согласился? — спросил дядя, когда поручик вернувшись домой, рассказал обо всем.

— Ну, что ты, Петя! — заступилась тетка, — не мог же он отказаться от царской милости! Это бы сочли за манифестацию.

— Вот тебе на!.. Телохранителем сделался!..

Дядя закипал медленно, как самовар. Поручик только теперь сообразил в какое положение он поставил его. Какими глазами на него посмотрят в редакции «Речи»? Как у него повернется язык бранить «придворную свору» в кулуарных разговорах с Чхеидзе?

Было ясно, что Дондуа не может больше оставаться в его доме.

Эта мысль повергла молодого человека в уныние. Он был круглый сирота. Кроме тетки и ее мужа Петра Семеновича Лучникова у него никого не было. И любил он обоих, как отца с матерью.

К счастью, никакого объяснения в этот день не последовало. Позвонил телефон и дядя втянулся в длинный разговор. Речь шла, конечно, об австрийском ультиматуме. Таких разговоров, сегодня было без счета. Петр Семенович, как представитель общественности, не считал себя вправе скрывать от простых смертных собственного суждения о событиях. Он очень гордился тем, что его точка зрения совпадает с точкой зрения Милюкова и газеты «Речь».

— Мы с Павлом Николаевичем единомышленники. Русское правительство не должно вмешиваться в балканскую кашу. И вообще, пора ему перестать разыгрывать ненужную и опасную для России роль покровительницы славян. Время покончить с этим реакционным наследием царской политики девятнадцатого века!

В разговорах со своими коллегами-думцами он считал русскую дипломатию истинной виновницей тревожного положения создавшегося на Балканах. Значительную долю вины возлагал на Думу и на себя, как одного из ее членов.

— Хороши и мы! Тоже хороши! Ведь знали, что Гартвиг душой и телом работал над разжиганием пожара, а сделали хоть один запрос, произнесли хоть одну возмущенную речь? Знай-себе привязались к бюджету, да к стачкам... А смотреть-то надо было вон куда!

Не успел кончиться телефонный разговор, как в передней раздался звонок. Вошел белый, как лунь, старичек. Проковыляв в гостиную и опустившись в кресло, он сразу же обратился к Петру Семеновичу.

— Я к вам с миссией. Не напишете ли статью в «Русскую Молву» по поводу балканского казуса? Имейте в виду, я выполняю просьбу редакции. Сам я глубоко убежден, что от вас ничего кроме чепухи и банальщины, в духе вашего Павла Николаевича, не произойдет. Говорю это не в хулу, а в честь, потому что вся политическая знать сейчас несет невероятную чепуху. Никого даже издали не осеняет мысль, что все эти рецепты безболезненного разрешения конфликта, спасения мира, ругательства по адресу Австрии — глупая болтовня, затемняющая суть величайшего события мировой истории.

— Хм! Вот как! А что же это за событие такое, которого мы грешные не в силах понять?

Дядя должен был прокричать свой вопрос в самое ухо старичку.

— А событие это — война, вернее, ее неизбежность. Если ее не начнут, она сама начнется.

— Вот как!

— Да-с! Этого требует возраст европейской цивилизации. Шапки долой, господа! Мы присутствуем при начале гибели нашего мира.

— Эк хватили! Скажите лучше, — при очередной балканской авантуре Сазоновых и Извольских, — прокричал ему в другое ухо дядя.

— Недалеко смотрите, Петр Семенович. Русское министерство иностранных дел занимает последнее место в игре, оно состоит из олухов, да и игры никакой не ведет, существует для того, чтобы его обыгрывали.

— Совершенно с вами согласен, но олухов надо одергивать. Тогда и положение окажется не таким страшным. Голос русской общественности может его спасти. Мы обязаны осадить ретивую тройку, несущую нас к войне.

— Поздно, Петр Семенович, поздно! Да и не нам ее осаживать... Ни кони, ни кучер не наши. Это в полном смысле мировая колесница, и управляет ею мировая экономика. В ней вся мистика... Смейтесь! Смейтесь!.. Ни вам, ни вашему Павлу Николаевичу не остановить этой махины... Никто не хочет этого понимать. Только один вот этот фельетон спасает честь русской журналистики.

— Ну-ка, дайте взглянуть на этого спасителя.

Старичек начал усердно рыться в листках и брошюрах, пачками торчавших у него из карманов.

— Вот слушайте: Небывало жаркое лето. Горят леса. Невиданный урожай грибов. Слухи один другого диковиннее. Какие закаты полыхают! Умолкните просвещенные и образованные! Не ваши предсказания сбудутся. В дыме лесных пожаров, в апокалипсисе вечерних зорь, больше правды, чем в вещаниях газетных пифий. Грядет война, страшнейшая из всех...

Дядя крутил бороду и боясь рассмеяться, поглядывал на племянника. Похоже было, что он забыл о неприятном разговоре.

Выбрав удобную минуту, поручик вышел.

\* \* \*

На другой день в летнем дворце великого князя Николая Николаевича, в Красном Селе, состоялся опять совет министров под председательством императора. Как только все собрались, государь в форме своего гусарского полка вышел в сопровождении дяди и немедленно открыл заседание. Первое слово было предоставлено министру иностранных дел. Вся его полчасовая речь посвящена была вызывающему поведению венского кабинета. На Балльплаце мечтают столько же о порабощении Сербии, сколько о сокрушении русского престижа.

— Наша защита Сербии есть самозащита России. Но у нас не осталось дипломатических средств, наши ноты и увещания не действуют. Одна военная демонстрация способна поставить на место закусившую удила австрийскую дипломатию. К этой демонстрации я и предлагаю прибегнуть. Высказанная вчера мысль о мобилизации четырех военных округов представляется мне целесообразной. Преимущество частичной мобилизации в том, что не поднимая вопроса о войне, она обладает способностью охлаждать не в меру горячие головы.

Совершенно неожиданно, с возражением выступил военный министр.

— Мобилизация не такое средство, к которому можно прибегать в дипломатических целях. Она — мероприятие военное и годится только в случае войны. Не должны ли мы воздерживаться от него, пока есть хоть какая-нибудь возможность говорить иным языком?

На Сухомлинова посмотрели с недоумением. Всем были памяты его выступления в печати.

— До сих пор мы привыкли слышать от военного министра совсем другие речи, — сказал Сазонов. — Впрочем, я понимаю Владимира Александровича; мобилизация — сильное средство. Только что ж из этого? Если она остановит противника, во что я верю, — наша цель будет достигнута. Если же

австрийцы пойдут напролом — мобилизации все равно не избежать.

— Очень прискорбно, — вмешался Горемыкин, — что мы так поспешно настраиваем свой ум и психологию на военный лад. Мне кажется, нет необходимости употреблять грозные термины. Все мы еще живем не надеждой только, но уверенностью в нерушимость мира. Даст Бог, нашему государю удастся его сохранить.

Горемыкина дружно поддержали. Один великий князь нервно курил и не проронил ни слова. С самого начала балканского конфликта он ближе всех принял его к сердцу. То был «его» конфликт. По необъяснимой причине все, вплоть до государя, молчаливо признавали его особые права в этом деле. И сегодня, казалось, что ораторы обращаются не к императору, а к сидевшему рядом с ним Николаю Николаевичу. Как только все высказались, император поблагодарил министров за труды. Он согласился, что австрийская дипломатия зашла слишком далеко, не отвечает даже на миролюбивые предложения. Пришло время прибегнуть к чрезвычайным мерам для сохранения мира. Он одобрил частичную мобилизацию, но полагал, что предварительно надлежит использовать еще одно средство — объявить с сегодняшнего дня начало «подготовительного к войне периода». Если после этого австрийцы не опомнятся, то прибегнуть к мобилизации.

Все были довольны. Только великий князь, переставший было курить во время речи государя, разочарованно пустил клуб дыма.

После заседания, в той же круглой столовой, был подан завтрак и тут же, по предложению Николая Николаевича, государь ознаменовал начало подготовительного к войне периода отданием приказа о производстве пажей и юнкеров в офицеры и о возвращении войск лагерного сбора на зимние квартиры.

Весть об этом облетела весь лагерь. Когда император в сопровождении великого князя и генералов проследовал в распо-

ложение лейб-гусарского полка, чтобы раздать призы за лучшую во всей кавалерии стрельбу, повсюду гремело ура, сияли восторженные лица вновь произведенных юнкеров.

После лейб-гусар состоялось посещение лагерного лазарета, потом смотр Астраханскому гренадерскому, девятому драгунскому Казанскому и двенадцатому гусарскому Ахтырскому полкам. Прямо с поля они отправились в казармы.

Обедал государь в Кавалергардском полку.

Он всегда чувствовал себя дома среди военных. Тут он обретал свободу и уверенность, которых не хватало ему в штатском мире. Многих командиров знал еще в бытность свою наследником и офицером Преображенского полка, вспоминал с ними лагерные анекдоты. Вспомнили того ротмистра, что среди ночи вышел из палатки неподалеку от лагерной черты и чем-то нарушил тишину. Чуткое ухо дежурного услышало.

— Что там за сукин сын?

Стоявший поблизости часовой, обязанный передавать по линии команду, рывкнул:

— Что там за сукин сын?

Соседний его подхватил, за ним другой, третий. И так вдоль всей десятиверстной черты. Спohватившийся дежурный закричал: «Отставить!»

— Отставить! — крикнул часовой.

Разбуженный лагерь долго следил, как «отставить» безуспешно гналось за «сукиным сыном», не будучи в силах настичь его.

После обеда — спектакль в красносельском театре. Государь и великий князь были в красных доломанах. Театр дрогнул от оваций. «Боже, царя храни» заглушило нескончаемое ура.

\* \* \*

Сумерки еще не спустились над Петербургом, как через Нарвскую и Московскую заставы, в город начали вступать войска. По Екатерингофскому проспекту ехали к своим казар-

мам на сытых лоснящихся конях конногвардейцы. По Забалканскому, Загородному, Литейному, с музыкой — кавалергарды и конно-артиллеристы.

Публика запрудила тротуары.

Царицу глубоко взволновал рассказ графа Ностица о том, как военные атташе и корреспонденты газет, услышав про возвращение на зимние квартиры, устремились на телеграф.

— Кто же посоветовал ему так сделать?

Когда Николай вернулся, она задала ему тот же вопрос.

— Но разве я всегда должен поступать непременно по чьему-нибудь совету?

По тому, как он это сказал, она догадалась, что он был сегодня самодержцем. Подала ему телеграммы. В одной было:

— Крепость духа вославицца, будь достойным.

— Я никогда не в состоянии бываю понять смысла изречений нашего друга, — проговорил Николай.

Это оттого, Ники, что ты недостаточно веришь.

— Но при всей вере, ума не приложу, кто имеется здесь ввиду?

Он показал вторую телеграмму, где стояло: Гони дураков.

Царица мрачнела с каждым его словом.

— Я одно знаю, Ники: нам придется расплачиваться за пренебрежение к его советам и за нежелание понимать их.

Потом она стала умолять принять Фредерикса.

— Он здесь. Я с ним сегодня много говорила. Я хочу, чтобы ты знал, что он думает.

Фредерикс вошел смущенный. Ему не нравилось выступать в роли политического советника.

— Я буду вам очень признателен, Владимир Борисович, если вы изложите мне все, что говорили сегодня ее величеству.

— Вашему императорскому величеству хорошо известно то, о чем я имел честь доложить государыне. Это не мои собственные мысли. Я только напомнил содержание того доку-

мента, с которым вашему величеству угодно было познакомиться меня в феврале этого года.

— Да? Что же это такое?

— Я разумею записку Петра Николаевича Дурново, предостерегавшую вас от войны с Германией и Австрией.

— Да, правда. Он, кажется, не очень верил в возможность нашей победы.

— Он убежден в нашем поражении, ваше величество и что еще хуже, в неизбежности революции, как следствия поражения.

— Да, да. Припоминаю. Но неужели вы думаете, что это всё возможно?

— Признаюсь, государь, эта записка у меня из головы не идет. Еще тогда, полгода тому назад, я читал ее с волнением. Но тогда все мы поняли ее, как попытку вернуть Россию на старый путь союза с Германией. Мы тогда думали о направлении политики, а не о войне. Теперь ее страшные предсказания не дают мне покоя. Представьте на минуту, государь, повторение всего, что случилось в 1905 году. А ведь будет худшее... Мне страшно и подумать, что ждет нас в случае неудачной войны.

— Но я не хочу войны.

— Другие ее хотят, ваше величество. Нас могут втянуть против воли.

— Что вы имеете в виду?

— Прежде всего, безумную игру Австрии и Германии. Опасаюсь также нашего собственного общественного мнения. Все так воспитаны в духе защиты балканских братьев-славян, что, конечно, горой встанут на помощь Сербии. Дай Бог вашему величеству, противостоять этому страшному давлению.

Государь закурил папиросу и молча прошелся по кабинету.

— Спасибо, Владимир Борисович, я очень рад, что вы мне всё это сказали. Конечно, нам нельзя воевать, и мы всё

сделаем, чтобы предотвратить войну. Пока что ни в чем плохом не можем себя упрекнуть. Все пограничные посты я приказал отвести вглубь на пятнадцать верст от германской и от австрийской границ, так, чтобы исключить возможность недопониманий. А от мобилизации, которую вчера постановили в совете министров, мы сегодня отказались.

\* \* \*

На другой день императрица пришла к чаю расстроенная.

— Ах этот Николаша! Я так и знала! Ты всегда попадаешь в его сети. И самое возмутительное, что всё это делается с намерением, с заранее обдуманном планом.

— Что такое?

— Всё они, его зловещие женщины! Наградил нас Бог этими черногорками! Давно ли Милица вымогала у Коковцева, в бытность его министром финансов, субсидии для Черногории? Теперь они трезвонят о предстоящей войне, делают иностранным послам намеки, которые им никто не разрешил...

— Ничего не понимаю, — проговорил Николай.

— Ты их распустил, Ники. Они дошли до форменной дерзости — открыто расставляют ловушки своему государю.

— Какие ловушки?

— А чем же прикажешь считать вчерашнюю поправку к постановлению о недопущении мобилизации?

— Да что, наконец, случилось?

Императрица, волнуясь и сбиваясь, передала рассказ, слышанный только что от графа Ностица. Оказывается, сегодня в военное министерство явился германский военный агент майор фон Эггелинг и просил приема у Сухомлинова. Не успев переступить порог кабинета министра, он спросил: действительно ли Россия мобилизуется? Он будто бы собственными глазами видел гвардию в полном снаряжении и с обозами на Марсовом поле, готовой к походу.

Министру с трудом удалось убедить его, что никакого повеления о мобилизации не было и никаких приготовлений не ведется.

По уходе немца Сухомлинову захотелось узнать, что послужило причиной тревоги. Генерал Янушкевич сказал, что во исполнение вчерашнего постановления совета министров, в войсках Санкт-Петербургского гарнизона идет поверка походного снаряжения обозов и вооружения и, что лейб-гвардии Павловский полк выкатил для этого свои обозы на Марсово поле, расположенное перед его окнами.

— Дорогой мой, — взмолился Сухомлинов, — нельзя ли их убедить избегать таких демонстративных мер?

На это Янушкевич, будто бы, ответил, что его императорское высочество, как начальник округа, будет обижен таким вмешательством.

Государь слушал рассказ с задумчивым видом, помешивая чай ложечкой.

— Да, конечно, это неосторожно, но что я могу сказать, если в Германии происходят гораздо более возмутительные демонстрации против нас? Мне передали письмо, посланное прямо с границы. Пишет дама, жена военного, только что приехавшая, вернее, бежавшая из Киссингена. Вот, прочти пожалуйста.

Он бросил через стол листок великой княжне Ольге Николаевне и та громко, как на уроке русского языка, начала читать.

В письме рассказывалось о разукрашенном гирляндами и флагами киссингенском парке, о шумном гулянье и о небывалом фейерверке. На главной площади парка возвышался московский Кремль с башнями, с соборами, с Василием Блаженным. Толпа ахала при виде грандиозной декорации. А вечером, как только стемнело, Кремль осветился и все оркестры заиграли «Коль славен» и «Боже царя храни». Тысячи ракет посыпались с окружающих гор на площадь. Кремль вспыхнул. Башни, купола, кресты, падали в огонь. Русская святыня горела и рассыпалась огненными струями под звуки увертюры Чайковского

«1812 год», под аплодисменты немецкой публики. Когда рухнула последняя башня, загремел германский национальный гимн, встреченный исступленным ревом толпы. Все русские на другой день покинули курорт.

— Как тебе это нравится? — хотел спросить жену Николая, но не спросил. Лицо императрицы было красно от гнева.

— Кто тебе подсунул это письмо? Это сплетня! Это гадость!... Ты должен наказывать таких!..

Она встала и ушла.

*Н. Ульянов*

## СТИХИ О ЗВЕЗДАХ

*Посв. Л. Росс*

1

Бессоница и задыханье, —  
Тебе курить запрещено, —  
Последней ночи трепыханье  
Разрежет молнией окно.

Там ливня ложного потоки  
На лбу холодном иль в окне,  
Дождя расплывчатые строки,  
Стихи о гибели вчерне —

А ты следишь сквозь кольца дыма,  
Как оперенная стрела,  
Нацелясь, пролетает мимо  
Над скользкой плоскостью стола,

Над этой жизнью, сердцем этим,  
Над всем, что мы когда-нибудь,  
Прощаясь, наскоро отметим,  
Чтоб позже, разойдясь, вздохнуть,

Позвать, прислушаться, и снова  
Ломая спички на ходу,  
Забуть от слова и до слова  
И зажигать звездой звезду, —

Большой Медведицы и Малой  
Две тени слить на потолке  
И, надрываясь грудью впалой,  
Их взвесить медленно в руке.

## 2

И всё о нас, и всё о нас, —  
Прощальной темы нарастанье,  
Вечерней пены клокотанье  
(Виолончель и контрабас).  
И море в лунном обрамленьи  
Каким крылом перечеркнуть?  
Последний парус в отдаленьи  
(Когда-нибудь и где-нибудь)  
Но звезды первые блеснули,  
И нежным сумракам в ответ  
Две скрипки дрогнули, — иль нет —  
Два сердца кажется вздохнули  
О том, что поздний вздох — не тот, —  
Обрывок ноты безымянной,  
Пометка в партитуре странной  
Длиннот предельных иль высот,  
Иль ускорений знак туманный,  
Души быть может нежеланный,  
Но неизбежный переход  
Вот в этот вечер, в эти звуки  
Иль в отраженье (навсегда)  
Звезды, запевшей в час разлуки,  
Слезы, скользнувшей как звезда.

## 3

Когда окно в саду тревожном  
Взойдет, как дальняя звезда,  
И сад в порыве невозможном  
Все ветки выплеснет, — когда,

Как в сердце ночи, лист огромный  
Прильнет к туманному стеклу,  
И осень в грусти вероломной  
Пилой ударит по стволу,

И задыхаясь, птица стонет  
И умирает на лету,  
А буря беспощадно гонит  
Ее в такую высоту,

Где нет падений иль снижений,  
Где падать некуда, — и вот,  
Смотри, — от долгих поражений  
Лишь этот остается взлет.

*Вл. Корвин-Пиотровский*

# ЛОРД

Мне он полюбился с первого взгляда. Он был хорошего роста, очень сух, но не тощ, дьявольски горд и неприветлив, как настоящий бродяга, который знает цену человеческой ласки, и предпочитает кусок холодного, сыростью и кровью пахнущего мяса небрежному щекотанию под брюхом или между ушами. Глаза у него были тяжелые, желто-табачные, с продолговатыми бликами в зрачках, и глядели с сумрачной недоброй усталостью. Вероятно, много грубого и грустного перевидал он на своем веку.

Где он жил, я не знал, вероятно, нигде. Приходил он утром, — думая о чем то другом, мягко прыгал на кровать и, заложив за ухо длинную лапу с круглой щепотью когтей на конце, начинал лизать брюхо и ляжки, а потом, передохнув, прилизывал серую, сухую, в черных тигровых полосках морду всё это с привычной споростью, вкусом и уважением к своему занятию и к себе самому.

Я глотал по-утреннему крепко-сладкий дым папиросы, глядел на кота и думал, что он очень похож на англичанина — только англичане могут так уважать себя, уважать в деловом бюро, на охоте, за едой, за бритьем, и даже в уборной, бесконечно и не смешно. И я назвал гордого и равнодушного ко всему на свете, Лордом. Дружбы у нас, однако, не выходило: по вине Лорда, конечно. Он хоть и польщен был моим вниманием, но как своевольный с надломленным самолюбием кот на сближение шел туго, и делал вид, что не замечает моих заигрываний с ним, или отвечал на них с хамской небрежностью.

Разъяренный его безобразным кривляньем, я думал:

— Чорт возьми. Кажется, джентльмен и не ночевал в нем!

Однажды, когда я хотел почесать ему горло, он, до того вялый и медлительный, вдруг вихрем шарахнулся к стенке, бешено блеснул желтыми глазами и плюнул-фыркнул совсем по-человечески. Это было так неожиданно и грубо, что я огорчился. После этого внешне я начал относиться к нему много холоднее и равнодушнее, но в глубине души был окончательно пленен его дьявольской гордостью и бессердечием.

И так мы жили бок-о-бок и, наверное, в конце концов, сдружились бы, если бы в нашу жизнь не вошел, не ворвался очаровательный и легкомысленный враг, обжора и певец котик Тимошка.

Всё полетело к чорту.

Очень старая и грустная кошка, когда ей пришла пора котиться, забралась под старый, внутри светлый и желтый от солнца, ящик из-под слив, и там в тишине и холодке чуть влажной земли, кротко, почти без мук, родила шестерых котят. Все они были снежно-белые, в черных чулочках, как один. Они дрожали и тонко, по цыплячьи ныли — жалкие и большеголовые.

Услышав их писк, хозяин турок, недобрый и тупой человек, принес старое помятое ведро с водой, открыл большой зубастый рот и, сопя, побросал в воду пятерых, а шестому посмотрел под хвост, и решил оставить для себя. Положил его под ящик, покачал башкой и прокуренными пальцами завернул ус в кольцо.

Старая кошка, упершись передними лапами о край ведра, смотрела вниз и раздувала белые и влажные ноздри тревожно. Турок оставил усы, закрыл рот, и тоже нагнулся к ведру. Там, в холодной воде, отражалось помятое рябью бледное небо, круглая, зеленым зонтом, ветвь орешника, головы турка и кошки, и белели мерзкими обрубками уже дохлые котята. Они колыхались, покруглевшие, с огромными разинутыми ртами, кучей.

Турку стало скучно: он взял ведро в правую руку, а левую вытянул в сторону, и засеменял ногами в желтых расшнурованных башмаках к помойке — выплеснуть ведро. Кошка понюхала живого котенка, поворочала его лапой и, замученно вздохнув, привалилась к нему грудью с белыми длинными сосками. Котенок оживился и припал к соску.

Это и был Тимошка.

Впрочем, я не знаю, как звал его турок; так прозвал его я, когда он, недели три спустя, взъерошенный и наглый, с поднятым кверху хвостом и внимательными бисеринками черных навывкате глаз, прибежал ко мне в комнату.

Я налил ему в блюдечко теплого густого молока. Он вылакал два блюдечка и, широко расставив ноги, почти волоча брюхо по полу, прилег возле моего сапога, а потом, когда я положил его на плечо, шершаво лизнул ухо и затем: ахру, рху, ахру...

Каюсь, в эту минуту я уже изменил Лорду, и Лорд — он только что пришел — понял это. Быстро съев свою долю мясных обрезков, он утерся лапой, мельком взглянул на мое плечо, где нежно и доверчиво лежал Тимошка, и вышел во двор, уверенный и легкий.

— Лорд! — крикнул я виновато, с нарочитой бодростью, но он не обернулся и шел попрежнему плавно и быстро. На буграх ломалась его угольно плоская тень.

Я назвал его Тимошкой, назвал потому, что к нему, к этому легкому, прелестному коту, никак не подходило это растрепанное плебейское имя, и именно поэтому все находили кличку забавной, и она пристала к нему крепко. Вскоре он и сам стал отзываться на нее.

Вообще, освоился он удивительно скоро. Через три дня он знал всё: что харч дается утром и вечером, и что вначале дается колбаса, которую можно и не есть, а потом сиреневое, тугое, прокрученное на машинке мясо для котлет, не в пример колбасе более питательное и вкусное; что, наевшись, пола-

гается влезть кому-нибудь на плечо и немного попеть; что не следует делать луж в комнате — лучше выскочить наружу и там проделать всё необходимое; что нельзя лезть на стол, ибо за это берут за шиворот и секутжигающей тонкой веревочной плетью. Всё это он знал твердо.

Отношения между Тимошкой и Лордом были враждебные. Они ненавидели друг друга: Тимошка не очень остро, но открыто, а Лорд с ленцой и ядовитым презрением к такому ничтожеству. Тимошка никогда не пропускал случая повозиться с хвостом Лорда или, подпрыгнув, кинуть его за ухо, когда тот дремал, или просто утащить из-под носа кусок мяса, если кот ел слишком не спеша и рассеянно. Гордый Лорд спускал ему из-за его молодости многое, даже воровство, и, если Тимошка был уже слишком гнусен, то он только яростно скреб пол выпущенными когтями и поскорее уходил куда-нибудь, чтобы не поддаваться искушению вздуть маленького мерзавца.

Но однажды Лорд не выдержал — не хватило сил.

Отобедав, он сидел на краю кровати и, скучно сгорбившись, глядел в темный теневой угол тяжелым думающим взглядом. А сзади скоком, поваливая задом, упругий, верткий и лукавый крался к нему Тимошка, и глаза его смеялись. Он не заметил, что правое ухо Лорда чутко дрогнуло и стало торчком. Вдруг Лорд мягко и мгновенно встал на задние лапы, повернулся к опешившему Тимошке, и точно рывками, два раза смазал его по морде. Тимошка без стопа упал навзничь и сложил лапки на груди, как покойник. Взбешенный Лорд рванулся, было, к котенку, но я, сорвав с крюка полотенце, ударил его, и он одним махом пал с кровати в коридор и исчез, шипя и отплеываясь с отвращением. Ожил и Тимошка: он скатился в угол, округлил глаза, пискнул два раза, и медленно и изумленно поставил свечкой черненький хвост. А потом сделал лужу.

К полуночи с Дуная потянуло свежим и ровным ветром. Крупная и гладкая луна белела высоко в пустом небе, и свет ее, мертвенный и волшебный, томил котов любовной мучительно-сладкой мутью.

Как всегда, коты собрались на моей крыше. Их было трое: Лорд, черный, словно вымазанный сажей, пакостник и вор Радомир, и мордастый забулдыга Тарас. Они рядком, с подобранными под себя хвостами, сидели на деревянном гребне крыши и негромко, еще без настоящей ярости, переругивались. Ждали старую кошку, Тимошкину мать. Вскарабкавшись по орешнику, она спрыгнула оттуда на крышу, рядом с Тарасом — он закатил глаза — и тогда коты разом заорали истошными горловыми голосами и выпростили из-под себя хвосты. Вялая и заморенная кошка подобралась и вскрикнула нежно и полумно. И во всем том, — долгом и жутком, похожем на детский плач, вое, в мертвенном сиянии луны, было что-то томительно-древнее, сладковато гнусное, от болотного мира леших, вурдалаков, сов, наваждений.

А когда гам на крыше стал, наконец, совсем невыносимым, и я выбежал на двор, чтобы запустить в котов камнем, наверху что-то загремело, застучало, что-то блеснуло — началась драка.

Я никогда не видел такой лихой кошачьей битвы.

Начал Лорд: он первый бросился на Радомира, сбил его с гребня, и пока Радомир полз на брюхе к желобу, сцепился с Тарасом. Очень выдержанный и опытный боец, он дрался сегодня, как простой желторотый кот, впервые попавший в общество забияк, — вдохновенно, безрассудно, молодо. Он дрался с Радомиром и Тарасом.

Крепко вцепившись друг в друга, бойцы, наконец, скатились с низенькой крыши мне под-ноги и порскнули потом в разные стороны.

— И-их... — крикнул я бешено.

Я яростно посопел, поругался, и уже собирался идти досыпать, как вдруг опять заметил на крыше кота. Это был Лорд. Он шел по облупленному гребню, по змеиную длинный и бесшумный, с опущенной головой, и казался на бледном с бледными звездами небе плоским, словно вырезанным из тонкого листа железа. Дойдя до края, он сел, как давеча, сгорбленный

и скучный, и сидел так долго и неподвижно, пока я не ушел в комнату. Я понял, что он был болен тоской.

На другой день Лорд не пришел, как обычно, за утренним куском мяса, и Тимошка жадно сожрал и свою и его долю, очень довольный. Потом долго лежал в истоме тугим, как каучук, животом кверху и пел. Выпученные глаза его мерцали счастливо и лукаво.

Прошло еще три дня, неделя, другая, а Лорда всё не было, и дома говорили, что, вероятно, его загрызли коты. И точно: все эти ночи коты бились с необыкновенным азартом, и, может быть, уязвленный Лорд и сложил там свою буйную голову. И его начали понемногу забывать.

А Тимошка попрежнему много жрал, пел, ярясь, как бешеный, носился по комнатам и рос, обещая быть разбойником и богатырем. От вольной и сытой жизни он был статен, дерзок, не по возрасту силен, и начинал звереть. Всё чаще и чаще любил, как бы невзначай, вдруг крепко закусить палец, или впиться в кожу безобидными на вид коготками, и глаза его тогда становились такими же холодными и умными, как у Лорда. Между нами начиналась борьба: кто сильнее. Крепко стиснув зубы, я брал его за шиворот и с жалостью и наслаждением драл его веревочной плетью, драл до тех пор, пока он не обмякал и не повисал без движения, с выпученными глазами — кроткий. И вскоре он понял, что со мной надо сдерживаться, — и сдерживался.

А однажды, выйдя во дворик покурить, я так и замер с зажженной спичкой в пальцах: Лорд был тут.

Он ленивенько лежал под просвеченным солнцем теплым и рыжим кустом отцветшей сирени и смотрел на меня одним глазом. Другого не было — аела наполовину прикрытая веком дыра. Через всю морду его шел красный, уже затянувшийся нежной новой кожей рубец. И лежал он как-то неловко и осторожно, словно у него была перебита лапа или ушиблен бок. И тут же возле него, бесясь от молодости, силы и глупости, чортом скакал Тимошка. Он щекотал лапами протяну-

тый полукругом на стриженной траве серый хвост Лорда, отскакивал в сторону, озабоченно горбился, хмыкал, и опять бросался к Лорду, якобы потеряв голову от бешеного восторга. Лорд пошевеливал хвостом безучастно, как чужим, и, против обыкновения, не злился.

Я покурил, почесал спину Лорда, загнул салазки Тимошке, и умиленный нашей общей приятелью, ушел к себе.

И в тот же день Тимошка исчез, исчез навсегда. Я сразу же с неожиданной уверенностью подумал о том, что мстительный Лорд, коварно заманив его в чужой двор, бросил там одного, одуревшего от свободы и ужаса, а сам юркнул в знакомую по ночным похождениям подворотню и был таков. Потом Тимофея, вероятно, подобрали, ибо был он краснв, доверчив, молод и, главное, был в нем великий талант очарования. А, может быть, полюбилась ему вольная крученая жизнь бродяги, и стал он холодным и сильным прохвостом, налетчиком и обольстителем жадных до любви кошек. Одним словом, он исчез, легкий и прелестный обжора и хулиган, и оставил у меня на сердце такую же, как он сам, легкую, подобно тающему табачному колечку, память о его проказах, выпученных лукавых глазах, задорном нраве. И еще осталась твердая уверенность в том, что погубил его Лорд.

Этим вечером Лорд, за всё время впервые, не пошел бродить и озорничать по крышам, — остался дома. Он со вздохом лег на подогнутые лапы, уткнул морду в одеяло, и показался мне совсем измотанным суровой и беспорядочной жизнью стариком. Он вздыхал, щурил свой мудрый и холодный глаз, и думал о чем то важном и нужном.

А ночью вдруг похолодало; в непроглядном и грузном, по осеннему, небе что-то могуче гремело, рвалось на части, перекатывалось, полыхало белыми спящими огнями, и лил густой студеной дождь. По черному в водяных разводах стеклу стучали тугие струи дождя, а вниз к побуревшей раме ползли легкие пузырьки. Я раздул ноздри — пахло сыростью, ненастьем, далями, Россией.

Я тоскливо похрустел пальцами, разделся и лег спать.

Уже засыпая, почувствовал, как Лорд заворочался, встал, и, невидимый в темноте, добрался до подушки и привалился к моему уху большим теплым и ребрастым телом. Я вынул горестно подложенную под голову ладонь и погладил кота. Он вздрогнул от стыда и наслаждения, выгнул спину и, вдруг, неловко и чудно захрипел песню о том, что он стар, что человек, который ласкает его, очень хороший и добрый человек, и о том, что хорошо, укрывшись от ненастья в теплой уютной мгле, греть больной бок и петь песни.

*Мих. Иванников*

## ОПЯТЬ НА ДОРОГАХ ИТАЛИИ

Опять на дорогах Италии, —  
Порывисто дышит мотор,  
Венеция, Рим и т. д.,  
Помпеи, Миланский собор. . .

Блаженствует вечер каштановый,  
Над Лидо в пол-неба закат,  
Совсем, как в стихах у Иванова,  
Сгорает и рвется назад.

Но мне ли теперь до Венеции,  
До кружев ее базилик,  
Когда оборвавшись с трапеции  
В бессмыслицу, в старость, в тупик,

Я вижу: в конце траектории,  
Над стыком дорог и орбит,  
Огромное небо Истории  
Последним закатом горит.

## ВЕНЕЦИЯ

Ну вот, я в Венеции снова,  
Хотя и неведомо мне,  
Зачем прикоснулся Канова  
К ее запрещенной весне.

Зачем захотелось Беллини  
Тосканские ночи забыть,  
И музыкой красок и линий  
Неверье свое подменить.

Зачем покачнулись каналы,  
Зачем? . . . — Но не всё ли равно? —  
Потухли старинные залы,  
Как перед сеансом кино.

И буря прошла по Парижу,  
И где-то запели в трубу. . .  
Так я сквозь Венецию вижу  
Свою и чужую судьбу.

И нет ни каналов, ни зданий,  
Ни снов, ни видений. . . И вот  
По лунным волнам, на экране  
Ночная гондола плывет.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Солнце, море, мечты и дороги. . .  
Гулкий сумрак резных кампанил. . .  
Счастье было совсем на пороге,  
В дверь стучалось, но я не пустил.

Мимо, мимо. Мелькают пейзажи.  
Задышается мотоциклет,  
Ветер вскинется, грудью наляжет,  
Отшвырнет фиолетовый след.

И невольно глаза закрывая, —  
Сто, сто-десять, сто-двадцать. . . А вдруг?  
Над Флоренцией ночь кружевная  
Начертила серебряный круг.

Захлебнулась неоновым блеском,  
Провалилась сквозь тысячи лет,  
И под утро очнулась на Невском,  
Поджидая февральский рассвет.

Так, под нервную дробь ундервуда  
Возникают былые года,  
Появляются из неоткуда  
И, срываясь летят в никуда.

Исчезая кривым силуэтом  
За мазками оранжевых крыш. . .  
Под косым электрическим светом  
Вижу стрелку и надпись:

ПАРИЖ.

*К. Померанцев*

## ВАРИАЦИИ О МОЦАРТЕ

В центре музыкального искусства Европы стоят три фигуры: Палестрина, Бах и Моцарт. Через всю историю музыкальной культуры от Ренессанса и до наших дней, все линии музыкальной мысли ведут к этим трем непревзойденным мастерам и не выходят из их сферы. Подлинное значение любого музыкально-исторического периода всецело зависит от его контакта с Палестриной, Бахом и Моцартом, и отклонения от характерных особенностей оставленного ими наследия являлись ничем иным, как отходом от самой музыки. Подобный отход происходил или благодаря крушению и распаду чистых и абсолютных форм музыкальной мысли, или же благодаря установлению связи с категориями ценностей экстра-музыкального порядка.

Музыка Палестрины синтезирует латинский архаический период (если возможно рассматривать эру, предшествовавшую Средним Векам, как архаическую), Средневековье и период промежуточный между Средневековьем и Ренессансом. Моцарт и Бах определяют последующее музыкальное искусство не только 19-го века и первой части 20-го столетия, но также и искусство будущего так, как мы видим его в аспекте абсолютной чистоты музыкальных форм, в гностическом смысле музыкального сознания и познания.

Палестрина, Бах и Моцарт проявляют себя также как высшие, наиболее значительные выразители музыки в идее чисто-христианской культуры. Таким образом, можно установить прямую связь и органическую преемственность в отношении материального и духовного плана между Моцартом и Палестриной, чья музыка является выражением католической культуры. В другом смысле существует прямая связь между Моцартом и Бахом (исключая все протестантские концепции Баха, столь ему свойственные), поскольку последний положил основание для конструктивизма, сформировавшего новое музыкальное сознание преимущественно в инструментальной области. Эта область была неизвестна мысли и сознанию Средневековья и Ренессанса, музыкальная культура которых яв-

лялась в основе вокальной. Моцарт, следовательно, находится между Палестриной и Бахом.

Несмотря на всё внутреннее различие между музыкой Палестрины и Моцарта, нетрудно установить между ними и некоторое внутреннее сходство, особенно проявляющееся к концу жизни Моцарта. «Дон Жуан», «Волшебная флейта» и Реквием указывают на прямую и непосредственную связь Моцарта с Палестриной со стороны вокальной. Что касается Баха, то инструментальная его связь с Моцартом настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах. Инструментальный конструктивизм несомненно сближает обоих мастеров; музыка Моцарта является идеальным синтезом инструментального и вокального принципа, органическим сочетанием вокализма Палестрины и инструментализма Баха. Моцарт гармонически примирил две очень различных, не связанных между собою культуры: фламандский, итальянский и испанский духовный вокализм с пластическим рационализмом германской и французской инструментальной музыки того-же периода.



Звезда Моцарта засверкала над Парижем весной 1928 года, когда на фестивале, посвященном композитору, собрались авангардные музыканты всех толков. Ослепительный успех «Волшебной флейты» был в те дни поистине замечательным событием, но удивительнее всего была его полная для нас неожиданность. Что же мы переживали, слушая этот шедевр, существующий 140 лет? Исполнились ли мы пиэтетом? Подавляли ли мы зевоту или снисходительно улыбались? Нет, мы слушали «Волшебную флейту» почти со священным ужасом, словно присутствуя при... катастрофе. Мы были потрясены пафосом расстояния между тем, что когда-то создала индивидуальная и капризная воля артиста и тем, что достигнуто в области музыкальной культуры сегодняшнего дня. С первых тактов увертюры «Волшебной флейты» мы вступили в музыкальный простор подобный обетованной земле, совсем для нас неизвестной: «Волшебная флейта» звучала, как откровение, как нечто только что созданное. Сквозь патину времени, покрывавшую страницы партитуры, нам открылся мир музыки полный магической красоты, мир конкретный, гармонический в пропорциях своей формы и насыщенный субстанциональной реальностью, находящейся на грани фантастического. Это бы-

ло таинственным сочетанием между музыкальной фантазией и неизменностью источника впечатлений; и сочетание это сохраняло равновесие, которое было достигнуто почти нематериальными средствами. Это было как бы танцем на краю пропасти с чувством притяжения к ней при невозможности в нее броситься. Перед нами раскрывались во всей полноте воплощение музыкального идеала и тайные надежды нашей эры. То, что мы лишь смутно угадывали, предстало перед нами, как ослепительное видение, выраженное с беспредельной простотой, свободой и силой. «Волшебная флейта» примирила все враждующие между собою лагери передовых музыкантов; она стала символом мира и спокойствия среди путаницы эстетических лозунгов и дисгармонии различных голосов. «Волшебная флейта» вызвала вспышку живой любви, чистых и возвышенных чувств, поставленных выше профессионального опыта с его ежедневной злостью и пошлостью. Любовь к Моцарту как бы всех очистила, и это живое чувство связало всех нас.

\* \* \*

Когда Ницше искал аполлонический идеал для того, чтобы противопоставить его дионисийскому идеалу Вагнера, он выдвинул «Кармен» Бизэ, музыкальную драму второго сорта в сравнении с драмами Вагнера. Любопытно, что Ницше, бывший одним из лучших музыкантов 19-го столетия (хотя и не написавший ни одной страницы сносной музыки), совершил такую серьезную ошибку. Ницше исследовал окружавшую его обстановку, но музыка эпохи была далека от его идей; Ницше был принужден оглядываться назад, что являлось для него компромиссом. Поэтому возможно, что он не заметил живой формы Моцарта. Восхваления «Кармен» были для Ницше попой, порожденной интеллектуальным снобизмом. В действительности, он вряд ли мог придавать «Кармен» такое серьезное значение, и жест этот показывал лишь полное презрение Ницше к Вагнеру, ставшим для него *bête noire*, и желание уязвить врага самым грубым способом. В данном случае, Бизэ служил лишь предлогом для идеологической битвы; в основе, теория Ницше правильна и его оппозиция Вагнеру, бывшему в то время предметом всеобщего обожания, была справедлива, но Ницше должен был строить свои теории не на основании «Кармен», а на основании «Женитьбы Фигаро», соответствовавшей его аполлонизму и его «солнечному югу».

Рационализм 18-го века, сквозь который Ницше рассматривал Моцарта хотя и затемнил последнего, но не превратил его в мумию, как это сделала официальная музыкальная оценка. Ницше был одним из немногих, кто не представлял себе Моцарта в пудреном парике, с неизменной, приторной улыбкой на губах. Ницше не ошибался в своей оценке композитора, говоря о нем: «Моцарт — это нежная и любящая душа, но он принадлежит 18-му столетию даже тогда, когда он серьезен». Ницше, заявлявший, что романтическое искусство есть ничто иное, как паллиатив «неудавшейся реальности», должен был понять, что мир, созданный Моцартом (жившим до начала германского романтизма и бывшим в музыке источником романтизма) не был иллюзией, но подлинной реальностью, осуществленной как в эстетически-материальной сущности, так и в конкретной форме. Вслед за этим пришла романтическая музыка, основанная на создании призрачных миров и лишенная реальности. Музыкальная субстанция стала постепенно искажаться и, по словам Ницше, «музыканты романтического периода могут лишь рассказывать о том, что с ними сделала романтическая литература».



В русской музыке с Моцартом связаны Глинка и Чайковский. Моцарт находится вблизи от них, но в различном аспекте. Глинка являлся прототипом русского Моцарта, но на несколько провинциальный лад; сам он никогда не подозревал о своей близости к Моцарту, которого он выражал в образах русской жизни и русской национальной культуры. Влияние Моцарта очень заметно и в «Жизни за царя», и в «Руслане»; песенная лирика Глинки также очень близка к Моцарту по многим данным. Общее наследие 18-го века объединяет обоих композиторов; в отношении к Моцарту оно сказывается прямо и непосредственно, в отношении же к Глинке принимает форму запоздалого перехода, впоследствии нарушаемого иным влиянием, — бетховенизмом, итальянцами и первым периодом франко-германских романтиков.

Несомненная близость Моцарта к Глинке явствует из его чувства пропорции, мелодического изящества, изобретательности гармонических и инструментальных приемов, привязанности к эстетическому канону, а также из формального и эмоционального равновесия Глинки. Эта близость ясна, несмотря на

вкусы Глинки и на его артистическую чувствительность, мешавшую ему достойно оценить Моцарта и понять исключительное его значение в музыке. Возможно, что Моцарт казался Глинке педантичным; во всяком случае, второстепенные величины, например, Глюк, заслоняли Моцарта от Глинки. О Глюке он писал: «Для драматической музыки: Глюк, первый и последний, безбожно обкраденный Моцартом, Бетховеном и т. п.» (Письмо к Булгакову, 8 ноября 1855 г.).

Серов в своих «Воспоминаниях о Глинке» рассказывает: «Когда разговор заходил о Моцарте, Глинка неизменно заявлял: ‘Хорош, но куда ему до Бетховена?’ Находясь в сомнении, я однажды спросил его: ‘И в опере?’ — ‘Да’, ответил он, ‘и в опере. Я не променяю «Фиделио» на все моцартовские оперы вместе взятые’».

Что касается Чайковского, — он любил Моцарта страстно. Любовь Чайковского к Моцарту проходит красной нитью почти во всех его сочинениях; помимо «Моцартианы», отраженное влияние Моцарта чувствуется на всем творчестве Чайковского и влияние это сказалось, главным образом, в его инструментальной технике. Конечно, музыка Чайковского никак не походит на музыку Моцарта, но в основном форма заимствована у него Чайковским непосредственно. Мы видим это по точности чисто-инструментальных приемов, и по развитию выражения инструментального мышления. Для Чайковского наследие Моцарта всегда было главным фактором для нейтрализации 19-го века, в котором он жил, и для освобождения от безудержного романтизма, имевшего над ним такую безграничную власть. Любовь Чайковского к Моцарту бессознательно превращалась в волю к творчеству и действию, и помогала справляться с тоской и славянским изнеможением, так свойственным Чайковскому. Но в основном Чайковский не имел ничего общего с Моцартом; в то время как последний с неизменным успехом искал совершенное равновесие и считал невозможным и невыносимым для музыки выходить из границ («Даже при самом ужасном положении музыка не должна оскорблять слух, но чаровать его и, таким образом, всегда оставаться музыкой», пишет Моцарт своему отцу 26 сентября 1781 года.), — Чайковский никогда не мог заставить себя находиться в границах хотя бы относительного равновесия. Чайковский не умел справляться с собой, его постоянно «заносило» и музыка его — это бесконечное преувеличение. Эмоциональная стихия, владевшая Чайковским, неизбежно вела его к преувеличенному выражению чувств. Пафос Чай-

ковского становится экстазом и приобретает характер не музыкальной экспрессии, но почти патологической аберрации питаемой психологией, бывшей абсолютно чуждой Моцарту. У Моцарта — всегда прямое действие как в страданиях, так в радости; у Чайковского — пассивный опыт, неспособный ни к какому реальному действию. Но в мире формальной красоты, столь дорогой нам у Чайковского и плохо понятой в его время (слава его покоится именно на отсутствии равновесия и на психологизме), — в этом плане связь Чайковского с Моцартом очень близка.

В русской музыке существует также неестественная связь между Моцартом и Римским-Корсаковым, который намеренно и насильственно утверждал ее как профессор и педант. На этом факте не стоит задерживать внимание, т. к. в своей погоне за утверждением профессионального канона Римский-Корсаков вообще имел тенденцию к формализму, как таковому. Таким образом, связь Римского-Корсакова с Моцартом сводилась к академическому засушиванию последнего.

Любопытно, что Моцарт был пленен экзотической особенностью русской музыки: «Я разыскал народные русские песни и могу теперь играть к ним вариации», пишет он отцу 25 ноября 1781 года.



18-ое столетие дало в наследие Моцарту свой рационалистический формализм. Те из сочинений Моцарта, где формализм этот появляется без тени чувства, имеют скучный отенок. Спасением Моцарта был его свободный дух, его легкий и страстный темперамент и его приподнятость. Моцарт никогда не ограничивает себя голой схемой и не позволяет себе пользоваться стереотипными приемами эпохи без того, чтобы не вносить в них свое личное к ним отношение, изменяя их. Иногда это лишь еле заметное отклонение от общепринятого метода, но в этом едва заметном отклонении от безличного и общепринятого и заключается вся жизненность и всё очарование того, что создает Моцарт.

В основном, вся инструментальная музыка Моцарта, несмотря на ее поразительные качества и совершенство, есть ничто иное, как подготовительная работа для его ТЕАТРА, являющегося единственной и подлинной страстью композитора. Театр Моцарта не имеет себе равного в музыке; возможно, что только в Моцарте театр нашел свое высшее воплощение.

Моцарт был всю жизнь страстно привязан к театру, и оперная сцена была для него такой же реальностью, как сама жизнь. «Прежде всего, с моей точки зрения, — опера», пишет он отцу 17 апреля 1782 г. «Только слышать разговор об опере, только быть в театре и слышать пение... О! И вот я уже вне себя!» Во всем музыкальном искусстве нет ничего более магического, чем театр Моцарта. Это — совершенный и населенный мир, имеющий в искусстве только одну параллель с миром театра, созданным Шекспиром.



У Моцарта форма рождается, конечно, от пропорции. Не пропорция строит форму, как принцип измерения, соотношения частей, подробностей и пр.; но от врожденного у Моцарта чувства пропорции, форма кристаллизуется как бы сама собой подобно кристаллам в природе. Каждая звуковая частица порождает следующую, которая возникает за ней произвольно, без всякого усилия мысли или воли. Здесь осуществляется органический процесс развития формы, как процесс гармонический, а не интеллектуальный или волевой.

Таковыми кристаллами у Моцарта являются не только его симфонические или инструментальные эпизоды, но и вокальные ансамбли его опер. Например, квинтет из «Женитьбы Фигаро» («*Conoscete, signor Figaro*»). В этом ансамбле пять голосов являются пятигранными кристаллами. Такое же волшебство кристаллической игры мы слышим в трио басов в «Дон-Жуане» (Командор, Жуан, Лепорелло) или там же в трио масок (донна Эльвира, донна Анна, дон Оттавио).

В инструментальной музыке Моцарта всегда выражен театральный элемент: инструменты в оркестре — это как бы действующие лица. В этой музыке почти никогда не «работают», в ней «играют», только играют, но от времени до времени театральная игра останавливается и начинают решаться математические задачи, т. к. издавна повелось, что музыка должна быть сродни математике. Традиция эта идет от греков, но у них и математика была игрой, а музыка стояла наряду с гимнастикой.

Если инструменты у Моцарта играют роль действующих лиц, то голоса у него ничто иное, как инструменты. Вокальные партии Моцарта — это инструментальное пение.

Интонация музыки Моцарта — это кошачья интонация и кошачья пластика. В этом и заключается парадокс: самый серафический из музыкантов Европы был... волшебной кошечкой. Это — Кот-Мур Гофмана; кошка, ставшая сверх-гениальным музыкантом. Итак, «кошачий концерт», т. е. готовая фраза, произносимая неискушенным слушателем в осуждение самого анти-музыкального, в случае Моцарта является ноуменальным преобразованием кошачьих звуков и прыжков, ставших серафическими. Определение это мною не придумано; кошачью природу моцартовской музыки можно пояснить хотя бы примером трио из «Фигаро», Графиня, Сюзанна и Альмавива, — это трио двух кошек и кота с царапаньем коготков в оркестровом сопровождении.

\* \* \*

Нет в музыке большего ужаса предсмертных томлений, чем у Моцарта. «Гуляке праздному» дано было выразить их в «Дон-Жуане». Вслед за изумительной веселой беспечностью, легкостью и игривой грацией, в которых развертывается музыка оперы, ощущение смерти дано в последней сцене с такой потрясающей реальностью, что становится тем более страшно, т. к. возникает она, как острый и неожиданный контраст со всем тем, что ей предшествует. Повидимому, сам Моцарт придавал сцене смерти Дон-Жуана доминирующее значение, т. к. на темах этой сцены и была им скомпанована увертюра, которую он, как известно, сочинил в последнюю минуту. Биографы рассказывают, что увертюра к «Дон-Жуану» была сочинена в ночь перед премьерой оперы, и переписчики нот пришли к Моцарту за листами партитуры еще не просохшими от чернил.

Моцарт отодвигал от себя увертюру до последней минуты, но приступив к ней он из всего мелодического богатства, которым насыщена опера, взял лишь мотивы смерти Дон-Жуана. Моцарт настолько повиновался чувству внутренней необходимости, что писал свою увертюру как бы в забытьи. В ту памятную ночь, для того, чтобы Моцарт не заснул от напряжения и усталости, Констанция развлекала его чтением вслух фейных сказок и, работая, Моцарт отвечал ей взрывами смеха.... Музыка увертюры созрела и отчеканилась для его внутреннего слуха в такой мере, что темам смерти не мешали веселые сказки жены.

Возникая в плане музыкальной комедии, творческое действие у Моцарта в «Дон-Жуане» разрешается в шекспировскую трагедию, с поразительной неизбежностью почти независимой от воли самого артиста, т. к. он подчиняет себя высшей силе, ведущей его по пути реальной жизненной правды, а не по прихоти художественного вымысла, которому артист так часто следует. В этом заключается значение «Дон-Жуана», и в этом и есть его трагическая сущность. Потрясает не столько чарующая прелесть музыкальной материи, ни с чем несравненная, сколько жуткая правдивость ситуации, выраженная здесь музыкой. Материальная красота этой музыки вносит таинственное очарование в эту ситуацию. Она — волшебный голос самого Моцарта.

«Дон-Жуан» делится на две половины темами, в которых упоминается о руках. В первый раз это: *La ci darem la mano* — самая прельстительная, самая вкрадчивая музыка, когда-либо существовавшая. В ней — безудержно смелая игра, пренебрежение опасностью в момент наиболее запутанной жизненной интриги, и уже на краю последней катастрофы. Но всё же легкомысленная самоуверенность настолько привычна, надежда на свои силы по инерции душевной настолько велика, что вызов судьбе брошен еще раз.

Музыка слепо остается в плену наслаждения, в котором. Дон-Жуан у Моцарта до последней минуты плетет паутину интриги, без тени предчувствия надвигающейся гибели. Не чувственный каприз служит поводом к сцене с Церлиной, а необходимость поставить всё на карту, проверить свои силы, и во что бы то ни стало, и на этот раз выиграть игру, иначе всё закончится гибелью. Но, как всегда в жизни, то, что прежде сходило безнаказанно, даже когда игра велась по самым высоким ставкам, и когда жизнь разрушалась сознательно, теперь, то что было случайностью, не имевшей никакой цены, оказывается последним звеном в цепи и служит последним толчком к развязке.

Второй раз то же упоминание о руках, в словах Командора: «*Dammi la tua mano in segno!*» В этих двух упоминаниях о руках — музыкальный контраст, на котором держится ось всей драмы. Вокруг обращения Дон-Жуана к Церлине вращается вся первая ее часть; вокруг обращения Командора к Жуану — завершение и развязка ее.

Удивительный хоральный мотив Командора: «*Da rider finirai pria dell'auroga*», как голос рока предвещает о насту-

пающей развязке, в то время, как вся музыка еще совсем далека от нее. Поразительно, как в последней сцене, с появлением Командора на ужине, меняется эта музыка. Самый воздух ее становится иным. Где вся развязность и ирония, вся танцующая грация этой самоуверенной свободы? Ведь главной основой этой «свободной воли» был лирический жар, не скованный конкретной привязанностью ни к кому и ни к чему; всё было только через себя одного и для себя лишь одного. А знаменитый последний ужин, с забавным «охотничьим» концертом на сцене, с которого этот ужин начинается? В музыке здесь игра с опасностью ведется до последнего момента, до последней жизненной точки. Моцарт подчеркивает наступление конца вплоть до того, что себя самого впутывает в игру; когда Жуан иронически спрашивает Лепорелло, нравится ли ему концерт, это сам Моцарт говорит в его лице; ведь «охотничий» концерт, с которого начинается ужин есть ничто иное, как первая ария Фигаро, обращенная к Керубино, и приобретающая зловещий смысл в «Дон-Жуане». Фигаро, высмеивая Керубино, как бы уже предчувствует судьбу Жуана, а Моцарт, взяв у самого себя эту арию и подменив собою Жуана, вместе с Лепорелло подшучивает над своей «двойной выдумкой», зная, что слушатели не расслышат и не сообразят в чем дело.

Как только Жуан начинает поединок со смертью — всё мгновенно меняется. Уже в том, как звучат первые слова Командора, обращенные к Жуану, ясное ощущение наступившего конца:



Безразлично-спокойным тоном сказаны музыкой эти слова, но так, как не звучит ни одно приказание, потому что здесь сразу ясно: возврата нет и быть не может. Жизнь осталась позади этой фразы, и наступает расплата. Итог подведен сразу, одним росчерком пера. Имеет ли значение то, что у Жуана нет согласия на покаяние и нет признания своего поражения? Он остается верен себе до конца, но теперь и ему становится ясно, что вся жизнь была только игрой и что единственная непобедимая для него реальность — это смерть.

«Настоящей серьезности человек достигает только, когда умирает. Неужели же вся жизнь легкомыслие? Вся». В этой фразе Розанова есть своего рода «донжуанство».

В сумасшедшем музыкальном диалоге с Командором уже нет и следа былого щегольства и самоуверенности: «Non più andrai, farfallone amoroso», как шутя пророчил Фигаро. Здесь уже не Жуан, а просто человек — обнаженный, беспомощный и жалкий. Поразителен контраст музыкального воображения у Моцарта между повестью о свободном Жуане, плясавшем над бездной и холодным, торжественным, почти до скуки монотонным финалом. Железная неизбежность этого конца еще более убедительна от того, что выражена она у Моцарта безразличным тоном, серым и беспощадно однообразным, «вечным». От ровного, безразлично-монотонного аккомпанимента смычков, тремолирующих в *pianissimo* и продвигающихся по светотени гармонических ступеней почти незаметно меняющих окраску, создается впечатление гаснущего света. От яркого тона — к полному угасанию, погружению во мглу, в ничто. На этом фоне властный рисунок басов в оркестре, как бы голос, — ровный, решительный, тоже монотонный, но уже потусторонний. Впечатление от этой монотонности беспощадное, страшное до дрожи. Впечатление жестокой пытки. Какое-то ломание костей и вывихивание суставов. Какое-то чудовищное уничтожение человека часть за частью, почти что с хрустом и обгладыванием, с необычайным аппетитом и спокойным гурманством. Не смерть, а утонченное обжорство! И, по контрасту, вновь вспоминается последний ужин самого Жуана. К концу «диалога» от Жуана ничего не остается. Нет больше следа человека на земле.

У кого, кроме Моцарта, существует еще такой музыкальный портрет агонии и смертных мук? И с каким непостижимым по тонкости артистическим ощущением это подано. Во всей музыке нет следа патологии или психологических эффектов. Всё до такой степени точно сделано и всё так спрятано в «чистую» музыку, что можно ведь и не заметить, пройти мимо, как это и делает большинство восхищающихся этой «веселой» оперой.



У Моцарта было волшебное слово, подобное слову из сказки: «Снай». Ключ к счастью. Слово это ничего само по себе не означает, но в то же время означает очень многое: радость,

детскость, беспечность, беззаботное веселье, любовь и душевный мир. Снай! Откуда происходит это слово? Только из чистого и неисчерпаемого источника, сохраненного Моцартом до конца дней, т. е. из христианской веры, врожденной, искренней, не допускающей возражений.

Этот архангел музыки на земле, — даже имя его имеет магический звук, — был подлинным христианином, и музыка его насыщена духом этой веры. Идеальное равновесие между материей и ее выражением, достигнутое им в искусстве, равновесие конкретного мира его воплощений, идеальный порядок организованный им в этом творческом мире, — вот фундаментальные основы христианства Моцарта, и та евангельская правда, которую он знал и носил в себе в простоте и наивности, детскости и чистоте. В этом заключается католичество Моцарта. И немедленным следствием его веры является творческое спокойствие и уравновешенность столь ему свойственные.

В вопросах, касавшихся его искусства, как и в вопросах веры, Моцарт не имел сомнений. Не знал он также мук творчества. Уверенность в том, что он делает была его лучшей наградой за все жизненные терзания. Искусство его было высочайшей эстетической добродетелью, как бы сопровождающей его религиозную природу и являющейся прямым следствием этой природы. Творчество Моцарта не было преодолением чего-либо; не было оно и выражением конфликта, в результате ведущего к постижению. Последнее, будучи целью, возникает только, как окончательное достижение того, что создано, и творческий процесс служит лишь попыткой просветления и освобождения, как это характеризует, например, Бетховена.

Моцарт создавал как бы в состоянии постоянного и непрерывного вдохновения. Творчество его являлось выражением постижения приобретенного заранее, без поисков; постижение совершается отдельно от Моцарта, который служит для него как бы пассивным спутником. Отсюда происходит ровность духовной температуры его музыки и его постоянное пребывание в состоянии благодати.

После Моцарта мы видим первые признаки раздора, которые привели в 19-ом столетии к разделению между эстетическим и этическим ощущением музыки, к разногласию между искусством и жизнью, между личным ощущением и обще-

ственными вопросами, между индивидуальным и коллективным, между артистом и толпой.

Сомнительно, чтобы значение христианского взгляда на мир было открыто для Моцарта; сомнительно также, чтобы Моцарт имел какие-либо определенные богословские суждения об этом вопросе; но он был по существу христианским артистом, он был им преимущественно в своей простоте, прямоте и наивной чистоте. Эта прямая и наивная простота являлась для него самозащитой от всех сложностей знания, от которого Моцарта освободила судьба.



Краткий путь жизни Моцарта начинается страстной любовью к жизни и заканчивается подчинением и смиренным сознанием конца, его ожидавшего. Вся жизнь Моцарта — это эстетический и моральный порядок, свободный от сомнений, детский в своей непосредственности. Искусство его отличается непостижимой легкостью воплощения; в музыке он — наследник инструментальной диалектики 18-го века. Это наследие дало Моцарту прочность и сопротивляемость времени; это же наследие защитило чувство формы композитора. И вдруг — неожиданный провал, ужасное сознание обреченности, гибели и катастрофы. «Волшебная флейта» и «Реквием» это рыдание отчаяния. Почему так случилось? Почему? Всё обваливается и рушится в бездну, и нет ни ответа, ни решения. Смерть. Смерть без очевидной причины, в загадочном окружении. Одиночество умирания, подобное таянию воска. Оставленность всеми. Ни одна душа не провожала его гроб, — шел дождь. Потерянная могила. А затем — неожиданная национальная слава, затем мировая слава и — заключение в паноптикум, т. е. в «классицизм», где всё живое в Моцарте и его искусстве было прилежно и методично уничтожено, где он был превращен в безличную величину, мертвую ценность общей культуры, ходячую монету.

Вот основные черты легенды о Моцарте. Она была создана вокруг его имени, которое дорого нам так же, как и его музыка. Мы любим Моцарта в его детскости, светлого и ангельски-нежного, умирающего молодым, похороненного в общей могиле. Мы любим трагический ветер вокруг Моцарта так же, как мы любим глухоту Бетховена, героическую на-

стойчивость его отказа примириться со своей судьбой и его сострадание к человечеству, которое ни один музыкант не чувствовал так, как Бетховен. Мы в равной мере любим непризнанность, мещанское величие и жалкую нищету Шуберта; сожженную жизнь и демонический бред Бодлэра; невысказанные достижения гения Рэмбо с его прорывом искусства в вечность; трагическое безумие ван-Гога, тоже христианского артиста, приближающегося к святости; пророческую одержимость Достоевского, ставшей реальностью в нашу эпоху. И так далее. Без этих условий никто из мучеников искусства не стал бы для нас тем, чем они стали.

Мы любим все эти легенды, потому что они помогают нам замкнуться в нашем благополучии; страдания других всегда прибавляют что-то к ощущению нашей собственной устроенности. Ведь так приятно сидеть дома, в теплой комнате, и размышлять о холоде за окном, или же вызывать в себе аппетит голодом ближнего. Это греховное чувство является одной из самых утонченных реакций искусства, но катастрофа должна, конечно, быть подлинной и настоящей, а не воображаемой — иначе мы не могли бы это оценить.



## ПИСЬМО МОЦАРТА К ЛОРЕНЦО ДА ПОНТЕ

Вена, сентябрь 1791 г.

Милостивый Государь,

Я хотел последовать Вашему совету, но как это сделать? Я потерял голову, обессилел и не могу прогнать образ этого незнакомца. Я вижу постоянно, как он меня преследует, уговаривает и нетерпеливо требует от меня мою работу. Я продолжаю ее, так как сочинение утомляет меня меньше, чем отдых. К тому же, я больше не хочу ничего принимать близко к сердцу. Я на краю гибели. Я заканчиваю прежде, чем наслаждался своим талантом. Между тем, жизнь была так прекрасна, и карьера начиналась так блестяще и при таких благоприятных условиях! Но своей судьбы нельзя изменить. Никто не знает меры своих дней: нужно смириться! Будет так, как угодно Провидению. Я умираю! Это моя похоронная песнь и я не должен оставить ее незавершенной.

Моцарт.



Любовь и смерть были главной темой Моцарта и он никогда не подходил к ним легко. Музыка для него была средством, при помощи которого он раскрывал значение своих мыслей в звуке.

Любовь в его жизни была грешной, т. е. земной любовью, хотя Моцарт и не сознавал ее греховности. Страстное томление в своей эротической концепции было доступно ему лишь в плане земной любви. И в этой концепции неизменно веет дыхание смерти, принося с собою трагическое расставанье с земной юдолью, полной прелести. В последние годы жизни Моцарту было даровано прозрение: всё страстное и земное было принесено в жертву сверх-личному и божественному. Доказательством этого служат «Волшебная флейта» и Реквием.

«Волшебная флейта» — это поединок между земным и небесным, между человеком и Богом; не в смысле богоборчества, но в смысле страстной привязанности к земному, в смысле защиты родного и любимого, тленного и конечного. Подчинение Высшему Существу состоит в том, что лишь путем молитвы можно получить земное счастье и право на страстную привязанность к естественной греховности, столь нам дорогой; привязанности к тому, что есть прах и тлен, что дано нам здесь, в нашей долине слез. Это не есть преодоление земного путем самоумаления для того, чтобы обрести Царство Небесное в любви к Богу, но принятие любого мученья и испытания до конца.

Подобно Орфею, Моцарт в «Волшебной флейте» очаровывает и закликает, творя мир необычайной, поразительной красоты и получает — через молитву — Эвридику, душу искусства, свободно рожденную поэтом, призванную в жизнь человеком, но явившуюся в мистическом порядке: пленницей Зороастра. Орфический миф греков возрождается, но получает новый смысл. Теперь этот миф превращен в проблему свободной природы искусства, созданного человеком, в проблему необходимости подчинения искусства Богу. Моцарт, который более, чем кто-либо может быть сопоставлен с Орфеем, показал нам в своем творчестве таинственное и удивительное откровение орфического мифа. Отсюда греховное очарование «Волшебной флейты», в этом смысле не имеющей себе равного в музыке. И отсюда же обольстительность ее непревзойденной красоты. Чистое в своей музыкальной субстанции, сочинение

Это в то же время является наиболее удивительным проявлением обольщения чарами самого искусства, как мира покоряющей и непосредственной красоты. Моцарт, христианнейший и кротчайший из артистов, создал мир, в котором мы делаем громадное усилие для того, чтобы добиться полной свободы. Моцарт пользуется магией, дарованной ему самим Богом, покоряется Его воле, но только для того, чтобы путем молитвы получить свободу собственного духа, человеческого, и утвердить счастье земное и временное, а не вечное и небесное. В этом заключается мифотворческий смысл этого таинственного сочинения, облеченного в наряд наивной детской сказки.

\* \* \*

Реквием был вершиной трагедии жизни и судьбы Моцарта и последней разгадкой его творческой проблемы. Реквием возник всецело в свете христианской идеи и находится в плане сверхъестественного. Реквием — это катарзис Моцарта, его покаяние и очищение. Здесь земное действительно отдано в жертву небесному. В Реквиеме мы находим примирение и подчинение, доведенные до крайности, до самоуничтожения. Творческая воля артиста не направлена более к утверждению чего-либо з д е с ь, но устремлена к тому, что находится т а м, в жизни вечной и нетленной.

Моцарт не заклинает и не получает земного счастья путем молитвы: он просит Бога о полном своем подчинении Ему и вся его жизнь, так страстно изжитая, тает, как воск. Тема смерти не является здесь абстракцией, но показана так, словно это дневник самого Моцарта. Он умер до того, как закончил свое сочинение, но еще до этого гармонии смерти были всегда остро выражены у Моцарта, — в «Дон-Жуане», и ранее. За редким исключением, почти во всех его камерных сочинениях, не говоря уже об инструментальных, мерцает светотень той музыки, которая может быть определена, как гармония смерти. Вот пример, показывающий с каким страстным волнением Моцарт говорит о смерти уже в «Похищении из сераля»:



Реквием построен всецело на гармониях смерти. Но она появляется здесь совсем в новом образе, чем тот, который Моцарт видел раньше. Может быть она и страшна, но Моцарт побеждает свой ужас: смерть для него является освобождением, разрыв с миром ему больше не страшен. Ведь он давно призывал смерть, ожидая ее, как утешителя, как «лучшего друга», по собственным его словам. Теперь он ни к чему не привязан, даже к искусству, которому служил с такой страстной преданностью. Достигнута настоящая свобода, высшая и последняя. Всё в нем обращено к Богу и только к одному Богу. В Реквиеме нет магии и очарования, бывших в «Волшебной флейте»; нет больше нужды в заклятиях и очаровании, т. к. нечего больше побеждать молитвой, кроме спасения собственной души. И взамен этих кротких, смиренных молитв артиста, ему посылается такое вдохновение, такая окрыленная легкость в творческом воплощении этих последних страниц его музыки, что нет сомнений в том, что молитвы его были услышаны. Никогда с начала существования христианской музыки не раздавался голос такой чистоты, полный такой покорности, кротости и глубокого религиозного чувства, как в этих предсмертных молитвах Моцарта.

\* \* \*

В иконографии Моцарта ему современной, особое место занимает один из портретов композитора, мало известный.

Этот портрет был написан в 1776 году в Зальцбурге неизвестным мастером, когда Моцарту было двадцать лет. Моцарт отправил этот портрет падре Мартини и находится он в Музыкальном Лицее Болоньи. Портрет не нуждается в комментариях: необычность его говорит сама за себя. Работа эта не может быть рассматриваема, как результат воображения портретиста и нет нужды рассуждать о том, схож ли оригинал с портретом. Сам Моцарт считал его наиболее сходным и наиболее его выражающим. «Я отвечал ему со всей серьезностью, с какой я изображен на своем портрете», пишет Моцарт отцу 23 сентября 1777 года.

Как прямое доказательство того, что относится к Моцарту, этот портрет гораздо значительнее, чем весь исторический материал тех, кто участвовал в создании мифа о Моцарте и кому мы обязаны ложной концепцией о нем. Портрет неизвестного зальцбургского художника — это часть легенды о Мо-

царте. В этом портрете мы видим будущего творца «Дон-Жуана», «Волшебной флейты» и Реквиема; мы видим того, кто выразил страдание человеческого сердца. Мы видим носителя страстного восторга и смертельной скорби вместо того Моцарта, которого историческая оценка превратила в безличного классика, и которого академики и профессора Консерватории за 150 лет обезкровили и сделали мумией.



Равноценным таинственному портрету Моцарта является литературное свидетельство нашего поэта, — Моцарт и Сальери» Пушкина. Поэт, родственник Моцарту более, чем кто-либо из всех живших в мире искусства, создал в нескольких стихотворных монологах такое же таинственное воплощение образа композитора. Пользуясь легендой и историческим анекдотом о Сальери, Пушкин достигает откровения, основанного на теме Моцарта, — откровения о проблеме искусства в его высочайшем аспекте, его эстетическом и этическом единстве.

К такой же категории ценностей принадлежит литературная фантазия Э. Т. А. Гофмана, в особенности бредовые страницы из его «Биографии капельмейстера Крейсlera», и новелла «Дон-Жуан». Эти вдохновенные свидетельства говорят нам правду о Моцарте. Сплетая реальность с поэтическим вымыслом (где, возможно, и находится самая величайшая правда), эти свидетельства указывают нам путь к тому, кто —

«Как некий херувим  
Он несколько занес нам песен райских,  
Чтоб возмутив безкрылое желанье  
В нас, чадах праха, после улететь».



В письме о Моцарте, напечатанном как приложение к биографическому этюду о нем Стендаля, последний говорит: «Моцарт, рассматриваемый с философской точки зрения, еще более удивителен, чем автор совершенных произведений. Никогда жизнь не являла в более обнаженном виде душу гениального человека. Тело сводилось почти ни к чему в том удивительном сочетании, которое называют Моцартом и которое итальянцы определяют как «*quel mostro d'ingegno*».

Стендаль ошибался, думая, что в Моцарте было мало телесного и что он представлял собою почти исключительно выражение эмоционального и духовного в природе искусства. Стендаль, как и Ницше, был восхищен необычайным, духовно-чистым миром Моцарта; неиссякаемым источником чувства, которым этот мир был наполнен; дивной прелестью и нежностью его музыкального языка. Но Стендаль не разгадал поразительного единства духовного и материального мира, неделимого единства, без которого музыка Моцарта теряет всё свое значение. Если бы в Моцарте отсутствовало материальное, то музыка его была бы вдвое более эмоциональной, т. е. сентиментальной, а этого и следа нет. Моцарт был наделен исключительной страстностью, но вовсе не был сентиментален. Материальное в его искусстве было необычайно реальным; он обладал им в высшей степени, и именно материальное выражало себя в его победе над темным началом, как началом ведущим к преувеличению и эмоциональной взвинченности, появившейся в музыке после Моцарта, отчасти у романтиков и получившей свое полное выражение у Вагнера.

Моцарт является высшим носителем равновесия и гармонии наиболее совершенной материальной формы и наивысшего эмоционального выражения в музыке. Мир его музыки был идеально конструктивен и идеально мужественен. Чувственная его нежность не пассивно-женственна, но принадлежит к мужскому началу. Искусство его не пассивно-созерцательно, но лирически-активно. Лиризм его не пассивно-страдающий (как лиризм Шопена), но всегда драматически-действенный. Эта динамика создана столкновением между подлинным ощущением трагедии и реальностью. Исключительный аристократизм творческой природы Моцарта, утонченность формы, удивительное чувство пропорции, равновесие между духовным состоянием и его творческим воплощением, — всё это создало мир музыки в самой себе, цельной и гармоничной, за внешним покровом которой живут горящие страсти и двигаются странные тени. Для того, чтобы явственно услышать живой язык этой музыки и проникнуть в живое ощущение этого мира, следует обладать хорошим слухом и пристальным вниманием. Прежде всего, необходимо освободить музыку Моцарта от коры мертвого традиционализма, которой она покрыта. В этом заключается едва ли не главная трудность, и поэтому Моцарт в настоящее время доступен лишь немногим; для большинства он просто скучен.

*Артур Лурье*

\*\*  
\*

На мареве заиндевелом  
Замерзших доверху окон  
Запечатлен туманно-белый  
Увиденный природой сон...

Листва тропических растений,  
Алмазов порванная нить  
И ряд причудливых видений  
Которых не определить...

Но всходит солнце. Иней тает  
И в круге синей пустоты  
Всё неподкупней проступают  
Земли правдивые черты.

И сердце преодолевая  
Мучительный холодный бред  
За мутью стекол прозревает  
Спокойный милосердный свет.

\*\*  
\*

С годами осыпаются могилы,  
Темнея накрываются кресты  
И над могильной надписью унылой  
Склоняются случайные цветы.

Под этим камнем позабытым мертвый —  
Исчезло имя, сохранился год  
Наполовину, — остальное стерто,  
Осталось только «тысяча семьсот...»

И бьется сердце с непонятной силой,  
Душа бескрайность чувствует свою —  
Как будто не над старою могилей, —  
Над колыбелью новою стою.

*Тамара Величковская*

# СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЛИРИКА НА СЦЕНЕ

«БАЛАГАНЧИК» АЛ. БЛОКА\*

## 1

Развернем новогодний, 1907 г., номер суворинского «Нового Времени». Прежде всего взор задержится на высочайшем рескрипте императора Николая Второго П. А. Столыпину, в котором ему, как председателю совета министров, поручается работа «о восстановлении после роспуска первого состава Государственной Думы общественного порядка, нарушенного революционной смутой». Затем, в отделе телеграмм читатель найдет сообщение из Тифлиса, о том, что недавно, в «год смуты и анархии» (1906), было покушение на священника Городцова, а в Батуме скончался раненный злоумышленниками купец Райгородский, к этому прибавляется, что единственная надежда восстановить местный порядок — это прибытие на Кавказ сильного администратора ген. Куропаткина; далее — телеграмма из Севастополя о том, что в выходявшего среди публики из цирка пристава Славинского брошены три бомбы, к счастью, вреда не причинившие... А что делается в Москве? Там деятельная подготовка к выборам в городскую думу и борьба из-за этого разных групп... Дальше, среди более интересных новостей: затмение солнца, как раз 1-го января. А вот и искусство: заметка о Федоре Ивановиче Шаляпине: он дал свою подпись под циркуляром о запрещении артистам императорских театров участвовать в оппозиционных партиях и прибавил при этом, что он вообще никогда ни в каких партиях не состоял...

Ну, а что нового в петербургских театрах? В заметке «Драма в 1906 г.» сообщается: «ежегодный обзор драматических произведений настоящего года на этот раз очень краток. Начиная с января и до мая русская драма во всех петербургских театрах влечила весьма скромное существование. Политические события,

---

\* Отрывок из работы «Театр русских символистов».

приготовления к первой Государственной Думе, агитационное движение захватило массу... После лета, целиком отданного делам Гос. Думы, счастье неожиданно улыбнулось театрам. Публика валила в театры, казенные и частные, и везде были полные сборы... В октябре месяце открылся театр Коммиссаржевской, переехавшей из Пассажа на Офицерскую в бывш. театр Неметти. Талантливая директриса и ее режиссер Мейерхольд объявили самый декадентский репертуар и показали все крайности стилизованной постановки...»

Дальше — перечисление пьес («Гедда Габлер» Ибсена, «В городе» С. Юшкевича, «Сестра Беатриса» Метерлинка, «Вечная сказка» Пшибышевского), а среди них только что показанный «Балаганчик» Блокка (так через два «к» и напечатано).

На первой странице газеты среди разнообразных объявлений — Театр В. Ф. Коммиссаржевской оповещает о спектакле-новинке, первое представление которого уже состоялось за два дня до нового года.

В спектакле — две небольшие пьесы: «Чудо св. Антония» Метерлинка и «Балаганчик» Ал. Блокка.

Слухи о скандале, разыгравшемся на премьере 30 дек. 1906 г., уже разнеслись по Петербургу, и, как известно, это всегда делает рекламу, разжигает любопытство и даже неискупенных людей побуждает подивиться ошеломляющему новаторству.

## 2

Итак рядовой петербуржец, заинтригованный слухами и газетными заметками, решает «забыться» в новаторском театре от обступившей его со всех сторон политики. Он отправляется смотреть «Балаганчик»...

Уютно было у Коммиссаржевской и нарядно в новом помещении на Офицерской. Зал заново оборудован (истрачено около 70 тысяч рублей); эффектный, стилизованный занавес работы Бакста: элизинум.

Началу спектакля предшествует протяжный, гулкий стон гонга, освещение сцены модернизировано, и вообще все как-то необычно в этом театре.

«Чудо св. Антония» баюкает своеобразной ритмикой речи, полутонами, таинственностью, но не вызывает недоумения, — разве кое-кто из зрителей зевнул. А вот «Балаганчик»... Если бы

не рецензия А. Кугеля, прочитанная посетителем через несколько дней после спектакля, вряд ли бы рядовой зритель разобрался в этом представлении:

«Какое странное, немножко рассчитанное на дикость произведение. Под видом «балаганчика», очевидно, должно разуть мир, под обликом Пьеро — шутовскую роль человека. Это должно разуть, но это не разумеется, потому что символы, уподобления, аллегории, намеки автора так неопределенны, так туманны, так неуловимы, что получается впечатление какого-то танца снежинок. Г-н Блок все пародирует и ко всему — включая глупость — относится серьезно. Может быть потому, в общем, выходит серьезная глупость, на которую публика имела полное право сердиться... Не хочет ли г. Мейерхольд и иже с ним в символической аллегории потешиться над публикой, которую они вот уже два месяца угощают серьезными глупостями. На большой сцене, какой должна быть сцена настоящего театра, воздвигнут маленький балаганчик. В балаганчике, вытянувшись в одну линию, сидят «мистики», но это не «мистики», а деревянные куклы в раскрашенных масках, делающие совместные движения, потому что механик, стоя за кулисами, дергает за ниточку... Прошла процессия ряженных кукол-актеров, напоминающих оловянные фигуры и безропотно делавших соответствующие глупости, а затем появляется г. Мейерхольд-Пьеро, с длинным носом, которым играет на сопелочке уныло, бездарно и безнадежно...»

Скорее всего именно так раскрывался «смысл» «Балаганчика» для неискушенного в символических аллегориях зрителя. Однако, были отзывы и «покрепче»: напр. московский критик Сергей Яблоновский, увидев эту постановку во время гастрольной поездки театра Коммиссаржевской, писал в московской газете «Русское Слово»: «Если это не притворство, не заигрывание, которое в искусстве нечестно в высшей степени, то это безумие. Даны схемы человеческих страстей. Заинтригованная мысль вылавливает из сумбура намеки, недомолвки, творит сама то, чего, может-быть, нет и у автора, и получается чуть ли не трагическая сатира на весь космос... О, новатору-режиссеру тут есть что делать... Но... «Балаганчик» был сделан так реально по-балаганному, исполнители так необыкновенно точно превратились в марионеток, что первые две-три минуты это было очень интересно, как зрелище. Через три минуты интерес к внешности пропал, а содержание?.. Содержания не было. За бутафорией г-н Мейерхольд проглядел его... И потому был сумбур, была бессмыслица, пошлость, был Петрушка и не вспоминалось красивого стихотворения Блока...»

Здесь обвинения идут по адресу режиссера. Между тем «вина» (непонятность, сумбур) была двусторонняя — и автора и постановщика, тем более, что Блок был очень доволен работой Мейерхольда, считая ее вполне воплощающей замысел автора. Замысел? С. Ябловский вспомнил стихотворение Блока «Балаганчик», но что есть общего между стихотворением и пьесой?

История возникновения «лирических сцен» известна, и о ней не трудно найти сведения: стихотворение «Балаганчик» было написано в июле 1905 года, оно впоследствии вошло в отдел «детских» стихов книги Блока «Нечаянная Радость» (изд-во «Скорпион», декабрь 1906 г.):

Вот открыт балаганчик  
 Для веселых и славных детей,  
 Смотрят девочка и мальчик  
 На дам, королей и чертей,  
 И звучит эта адская музыка,  
 Завывает унылый смычок.  
 Страшный чорт ухватил карапузика  
 И стекает клюквенный сок...

. . . . .

В финале:

...Вдруг паяц перегнулся за рампу  
 И кричит: — Помогите!  
 Истекаю я клюквенным соком!  
 Забинтован тряпицей.  
 На голове моей — картонный шлем!  
 А в руке — деревянный меч!  
 Заплакали девочки и мальчики,  
 И закрылся веселый балаганчик.

В обстоятельной книге об А. Блоке К. Мочульский раскрывает символический смысл этого стихотворения: «Все на свете — игра, мир — кукольный театр, люди — паяцы; их страдания, страсти, сама их гибель — бутафорские. Это — не рыцари, а марионетки в картонных шлемах, с клюквенным соком в жилах. Только дети могут принимать всерьез балаганное представление жизни и оплакивать смерть паяца».

Это стихотворение, с вариацией еще шекспировского — «Мир — сцена, люди — актеры» — привело в восторг Г. И.

Чулкова, который в то время «неистовствовал» мистическим анархизмом, нашел единомышленника в лице Вяч. Иванова и на средах последнего с пылкой фантазией задумал устройство особого театра «Факелы». Чулков предлагает Блоку превратить «Балаганчик» в драматические сцены. Блоку идея понравилась, и уже 23 янв. 1906 г. он пишет Чулкову, что «Балаганчик» — лирические сцены — кончен, но требует еще отделки.

Из театра «Факелы» ничего не вышло, а родился в начале 1906 года альманах мистиков-анархистов «Факелы», где и была впервые напечатана первая пьеса Блока.

Остались черновые наброски Блока, и по ним можно восстановить некоторые варианты писавшейся пьесы, — многое было в конце концов вычеркнуто, исходное стихотворение мало соответствует «лирическим сценам», которые приобрели большую углубленность, новых действующих лиц и покрыты новыми вуалями; вуали эти с трудом снимаются, а то и не снимаются вовсе, — под ними таятся очень сложные *личные* переживания, раздумья автора, находившегося в периоде нелегкой «переоценки ценностей». Блок в это время начинал «ставить крест» на своем увлечении мистикой, уходил все дальше от содружества («союза») с А. Белым и С. Соловьевым: с ними он недавно еще экзальтированно принимал культ «Прекрасной Дамы», верил в мистичность своей любви и женитьбы на Любови Дмитриевне Менделеевой; но постепенно он устал от «мистических радений», разочаровался в них (о них — в 1904 г. происходивших — вспоминает в мемуарах А. Белый), да и жену его начал стеснять этот «культ».

В дневнике своем Блок прямо говорит (15 авг. 1917 г.): «Балаганчик» — произведение, вышедшее из недр департамента полиции моей собственной души».

Молодой — 25-ти-летний Блок запальчиво называет мистиков в черновиках пьесы «Балаганчик» дураками и дурами. Уже в стихотворении слышится нео-романтическая «трансцендентальная ирония», ирония горечи и отчаяния: «все неподлинно в этом мире»; насмешка поэта над своими чувствами, стыдливость сердца, нервность тона, подобно гейневской автоиронии.

Все эти глубоко скрытые намеки, признания, жгучие в душе автора, может быть, в какой то степени были понятны его близким, его друзьям (А. Белый, напр., был до крайности обижен «изменой» союзу), но как для читателей, так, в особенности, для *зрителей* пьесы — всё это было за семью замками. Воз-

можно ли к символическому произведению давать авторский комментарий — в книге или перед спектаклем?

Вот почему с несомненным основанием М. А. Бекетова (тетка поэта) в биографическом очерке о Блоке признает: «'Балаганчик' шел много раз с переменным успехом... Вокруг пьесы шли нескончаемые толки и ахи. Всех побеждала лирика, но *смысл был безнадежно непонятен и темен*».

Тем не менее, разгадки смысла пьесы неоднократно производились с привлечением даже интимных сведений о жизни Блока в тот период.

Что же, все-таки, представляла собою структура «лирических сцен?»

«Балаганчик» состоит из двух сцен-актов и связующего их монолога Пьеро, который рассказывает о событиях, но события не драматизированы, а даны «через субъект».

Первая сцена — собрание «мистиков», пародия на «радения» мистиков, которые — по метерлинковскому рецепту — говорят приглушенными голосами обрывочные фразы о таинственном событии — о приближении девы из дальней страны; они неким *сверхчувством* воспринимают то, что обычным чувством не улавливается.

Неожиданно появляется у стола «мистиков» прелестная девушка. «Мистики» принимают ее за Смерть. Пьеро благоговейно преклоняет перед ней колени, но, взглядевшись, ликующе восклицает: — Господа! Вы ошибаетесь! Это — Коломбина! Это — моя невеста.

«Мистики» продолжают уверять его, что это Смерть. Пьеро не знает, кто сошел с ума — он или они. Он уходит «одиноким, непонятый вздыхатель, но Коломбина следует за ним: — Я не оставлю тебя». (К. Мочульский видит в этом эпизоде несомненные автобиографические отголоски и намеки: вышеупомянутый назойливый культ Вечной Женственности в лице жены Блока).

Вторая сцена: улица, фонарь, вьюга. Арлекин подходит к Коломбине и называет ее *своей* подругой, Пьеро от прикосновения руки Арлекина падает навзничь. Арлекин уводит Коломбину за руку: «она улыбнулась ему». Пьеро в монологе повествует о любви Коломбины и Арлекина, но странно: когда последний посадил Коломбину в сани, она вдруг падает в снег... Почему же? Да она *картонная!*

Теперь Арлекин с Пьеро неразлучны, они вспоминают о картонной невесте... Внезапно появляются — одна за другой — три пары влюбленных (по остроумному предположению Мочульского, это три символа разных «любвей»: любовь мистическая, любовь рыцарская и любовь-страсть, все пережитые Блоком); тут же и паяц, истекающий клюквенным соком... Арлекин в экстазе, он поет песню о жизни — веселом весеннем празднике:

Здравствуй, мир! Ты вновь со мною!  
Твоя душа близка мне давно!  
Иду дышать твоей весною  
В твое золотое окно.

Он прыгает в это «золотое окно». «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту»... Однако, пустота не пуста: на фоне занимающейся зари чуть колеблемая дорассветным ветром — Смерть, вид ее повергает мистиков в ужас, который превращает их в кукол (символика этого эпизода вероятно раскрывается так: пустота и смерть — одно и то же).

Бесстрашный Пьеро идет медленно через сцену, простирая руки к Смерти и движением своим утверждает жизнь... и, по мере приближения, Смерть становится... прекрасной Коломбиной. Пьеро почти у цели. Автор (действующее лицо в пьесе) спешит традиционно соединить руки влюбленных, а тут наступает истинно-театральный конец пьесы: «Внезапно все декорации взвиваются и улетают вверх. Маски разбегаются. Коломбины нет... Остается один беспомощный Пьеро — в белом балахоне своем с красными пуговицами»... Все показанное — своеобразный хоровод, в сущности, незримых переживаний Блока. «Пьеро, все потерявший и ничего не нашедший, — вот итог... кризиса реальности, запечатленный Блоком в его пьесе».

Очень хитроумный в подыскании объяснений туманных символов Н. Волков, автор книги «А. Блок и театр», не видит в образах Пьеро и Арлекина изображений двух соперников в любви к Коломбине, — по его мнению, эти образы — две грани одного и того же субъекта, Арлекин — это двойник Пьеро, это две ипостаси раздвоенного душевного состояния, это борьба в душе одного человека и, как можно понять, — самого Блока: «все 'превращения' 'Балаганчика' — в плане их психологического объяснения рисуются, как образные проекции наших душевных переживаний и наших кризисов реальности», как напр., в факте

превращения Коломбины в картонную куклу: «наше представление о вещи и вещь сама по себе не одно и то же». «Мелодия Арлекина — мелодия нового реализма Блока, лишь намеченного «Балаганчиком», но внутренне еще не оправданного», — говорит Н. Волков.

Н. Волков занимательно подыскивает раскрытие множества символов в пьесе (напр., паяц — двойник рыцаря, или — скрытый смысл красно-черного вихря плащей, деревянный меч и картонный шлем и др.), удивляя иной раз неожиданными догадками... Но эти догадки сами по себе весьма субъективны, и от психологии читателя зависит принять их или нет, — могут родиться и другие толкования, комментарии же самого Блока нет ни в дневниках, ни в письмах, если не считать таковыми его предисловие к отдельному изданию «Лирических Драм» («Шиповник», 1908): «Лирика не принадлежит... к областям... творчества, которые учат жизни», «переживания лирики хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть немножко в этом роде».

Не менее догадлив и смел в своих домыслах К. Мочульский. Он считает, что «никакие литературные анализы не объяснят основной загадки «Балаганчика»: в волшебном зеркале «лирических сцен» отражено *будущее*, события, которые в действительности еще не наступили»... И опираясь на факты дальнейшей биографии Блока, а также его жены, Андрея Белого и демонической красавицы-актрисы Н. Н. Волоховой (из театра Коммиссаржевской), Мочульский видит в мечтательном, расстроенном и бледном Пьеро — авто-ироническое отображение самого поэта, в стремительном, танцующем Арлекине, призывающем на весенний пир жизни и... проваливающимся в пустоту — насмешливую зарисовку Андрея Белого, — «в колдунье» в черной маске символизирующей угарную страсть, — Волохову, будущую героиню стихов «Снежной Маски», а в превращении красивой девушки с простым и тихим лицом в «картонную подругу», т. е. в театральный персонаж, — «предчувствие актерской карьеры Любови Дмитриевны».

Что же такое «Балаганчик», рожденный в январе 1906 г.?

Во-первых, ироническое изображение двух пережитых уже Блоком периодов: мистики периода стихов «Ante Lucem» (около 1900 г.), рыцарского служения эпохи «Стихов о Прекрасной Даме» (1904); во-вторых, — *ясновидческое предугадывание того, что должно было наступить*: Андрей Белый попытается разрушить семейную жизнь своего друга Блока и увлечь за собой

Любовь Дмитриевну, что, несмотря на неудачу Белого, навсегда оставит глубокую трещину в отношениях Блока с женой; Волохова одурманит Блока, он попадет в пожар неумной страсти..., словом всё то, что *будет*. В каких-то неясных эмоциях-предчувствиях поэт (по утверждению некоторых в нем были отголоски наследственной и личной психопатологичности) «видел» грядущее, оно, возможно, предсказывалось уже намечавшимися в интимной жизни сдвигами, подготавливалось уже изменявшимися взаимоотношениями, о чем мы вряд-ли когда-нибудь можем узнать, т. к. всё это слишком интимно, и от этого не остается словесного следа, да и невыразимо это зачастую обычными словами.

Не найдем ли мы у одного словоохотливого участника семейных перипетий каких-либо сведений о значении «Балаганчика», — у Андрея Белого?

Он откликнулся спустя полтора года, уже после того, когда были пережиты его неистовая влюбленность в Любовь Дмитриевну, ссора с Блоком, — раньше он не считал себя вправе выступить против бывшего своего друга. В 1908 г. в изд-ве «Ипполит» вышла книга лирических драм Блока. А. Белый в том же году пишет рецензию о ней в московском символистском журнале «Весы» (№ 5), касаясь не только «Балаганчика», но и других блоковских пьес: «Символ» — соединение; символизм — соединение образов созидающей воли — для чего? Все равно, для здешней или будущей, старой или новой жизни, но жизни. Чем глубже внутренний путь, тем новее, загадочней образы, тем более усилий затрачиваем мы, современники, для опознания и переживания созданной ценности... Но есть символизм и иного рода: соединение обломков когда-то цельной действительности (той или этой), соединение первичных ассоциаций души, безвольно сложившей оружие перед роком... За первого рода символизмом — рождающаяся действительность будущего, предощупаемого, как грёза. За второго рода символизмом: — небытие, великий мрак, пустота... Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души: красота «оторопи», а не красота созидания ценности... Драмы Блока — обломки рухнувших миров (того и этого)... Лирика Блока, разорванная в клочки драма, не перешла в драму; драма предполагает борьбу или гибель за что-то: в драмах Блока гибель ни за что, ни про что: так, гибель для гибели... Вы говорите, нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать: их надо пропустить сквозь себя: ведь это обломки ценностей, которым, быть может,

молился поэт. Захватывающая сила этих драм есть беспечная тризна поэта над своей душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь... пустоты... Блок — незабываемый изобразитель «пустых» ужасов... Блок оказался мнимым мистиком... Розы-стихи распустились, и в каждой розе — гусеница...»

Конечно, Белый лучше других мог знать, чем терзалось сердце его бывшего друга Блока, но и в его, Белого, душе были перемешаны «рай» и «ад», он не мог простить Блоку измены мистике, которая все больше овладевала его так же тронутой психопатологией, истерически-растерванной душой, отсюда «роза» с «гусеницами».

Другие «посвященные» и близкие к Блоку литераторы хвалили «Балаганчик»: инициатор инсценировки Г. Чулков, Вяч. Иванов, поддерживавший в то время чулковскую злободневную (рожденную революцией 1905 г.) выдумку — «мистический анархизм», и даже Корней Чуковский в московском журнале «Золотое Руно», сообщая новости петербургской театральной жизни, писал о постановке на сцене «Балаганчика»: «Это изящное богохуление, нежное проклятие мировой пустоте... У Блока салонная пародия на человеческую комедию — равнодушие отчаявшегося. 'Балаганчик' — единственный, ведомый мне акт богоборчества в современной поэзии, это — истинный мистический анархизм. Это очень сложная, очень утонченная эмоция — у воспринимающего зрителя».

Чем же, в таком случае, отличался мистический анархизм от мистики, которую как будто бы исповедывал Блок до 1905 года? Почему он, окариатурировавший «мистиков», отдал Чулкову в «мистико-анархический» альманах «Факелы» свою первую пьесу?

Или, может быть, он все-таки не ушел от мистики?

Теория мистического анархизма при теперешнем ретроспективном взгляде, на расстоянии полувека, представляется более чем сомнительной. Как раз в сборнике «Факелы» (весна 1906 г.) была помещена программная статья редактора Г. И. Чулкова:

«Стоустный вопль — *так* жить нельзя — находит созвучия в сердцах поэтов, и этот мятеж своеобразно преломляется в индивидуальной душе. «Факелы» должны раскрыть, по нашему плану, ту желанную внутреннюю тревогу, которая так характерна для современности. Мы стремимся к единогласию: лишь одно сближает нас — непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных норм. Мы полагаем смысл жизни

в искании человечеством последней свободы. Мы поднимаем наш факел во имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на любви к будущему преобразованному миру».

Довольно обширная группа литераторов и художников (Брюсов, Блок, Л. Зиновьева-Аннибал, А. Ремизов, С. Рафалович, Ф. Сологуб, Н. Тэффи, А. Белый, К. Сюнненберг, К. Сомов, Б. Билибин, М. Добужинский, И. Грабарь, Л. Галич, Вяч. Иванов, Г. Чулков и др.) в начале 1906 г. увлеклась мыслью Чулкова — возродить театр мистерии, как его начал пропагандировать В. Иванов, побуждаемый мыслями о «действиях Диониса» Ницше. «Дионисово соборное действо» предполагалось осуществить в мистическом театре «Факелы». Легенда о страдающем боге у Вяч. Иванова — символ мировой драмы: «наш эмпирический земной мир символизируется растерзанным Дионисом, вечным богом; сознания отдельных существ — это ключья божеского сознания; Дионис должен воскреснуть; процесс воссоединения этих «отдельностей», процесс их собирания и слияния — есть история воскресения Диониса».

— В чем основной трагизм нашей жизни? — спрашивал популяризатор этих идей — Леонид Галич — и отвечал: — в необозримом одиночестве человека; «мечта о воскресении Диониса есть мечта о преодолении одиночества... Музыкальное исступление, гипноз ритмов и звуков» — средство разбить такое одиночество. В мистериях создается как бы волшебное сверх-индивидуальное единение, приводящее хотя бы к тому что все вместе видят ту же галлюцинацию. «Символы мистических исступлений встают в оргийных видениях... Истинный поэт тот, кто знает тайну внушений. У Иванова родилась мысль отвести театр к его источникам, чтобы воскресить в нем дионисиевское начало; вернуть зрителю древнюю активность в мистериях».

Вяч. Иванов предлагал в театре сделать первый шаг — сломать стену между сценой и публикой; устроить зрительный зал «непринужденный», без скучных рядов стульев; создать новые мистерии с хором, одеть зрителей в особые наряды, создать «сон золотой» на сцене, дать зрителям возможность «сотворчества».

Повидимому, режиссер Мейерхольд с молодыми актерами-новаторами готов был образовать зерно труппы театра «Факелы». Даже писатели из реалистического «Знания» — М. Горький, Л. Андреев и И. Бунин обнаружили в тот момент заинтере-

сованность новым начинанием где уже намечались «члены-учредители».

В узких литературных кругах завязался спор, для широкой публики и неинтересный и мало понятный. Ознакомившись с этими идеями, сначала заинтересовавшийся Брюсов уже в майской книжке «Весов» (1906) трунил над претензиями Чулкова и иже с ним и предостерегал от «символизма, выращенного в оранжереях мещанской культуры», от «жалкого декадентства», смешным Брюсову казался призыв «найти новый мистический опыт»; А. Белый (в том же № «Весов») заявлял: «мистический анархизм единственный ответ живой личности на все неудовлетворяющие нас теории о смысле жизни, органическое противоядие нашей личности против возможных ядов, которыми ее отравляют. Но мистический анархизм, провозглашенный, как теория, как осознанный и принятый метод жизни, не выдерживает никакой критики. Религиозные переживания, предопределяющие анархический бунт, раз они осознаны, превращаются в теории религий и культур, налагающие на нас бремена и узы...»

В защиту Чулкова в тех же «Весех» (№ 6, 1906) выступил «сам» В. Иванов во всеоружии философских терминов, от чего вопрос не стал яснее; он «любомудро» ставит знак равенства между мистическим анархизмом и сверх-индивидуализмом или «мистическим энергетизмом», под анархизмом предлагает понимать синтез индивидуализма и соборности, а под мистикой — «свободу и святое безумие»...

Спор разрастался и становился даже как-бы литературным скандалом, описание которого выходит за пределы этого очерка.

Повидимому, мы не сделаем ошибки, если, переводя всю эту «литературно-философскую» путаницу на обычный язык, скажем, что «Факелы» и другие подобные им литературные явления были отражением некоей революционной и пореволюционной взбудораженности, которая захватила тогда всю Россию.

Да, но Блок? Он, напечатав в «Факелах» «Балаганчик», тоже повернул в мистический анархизм? Вероятно, не в большей степени, чем Бунин и Аллегро, отдавшие свои произведения Чулкову, т. е. не задумываясь всерьез над его теорией. По крайней мере, письмо Блока Чулкову от 26 авг. 1907 г. свидетельствует о неприятии Блоком этой «теории»: «Я и отказываюсь решительно от мистического анархизма, потому что хочу сохранить «душу незыблемой»... Я прежде всего — сам по себе и хочу быть все проще».

Самое же главное — никто (кроме голословно восхищенного Чуковского) не был в состоянии объяснить, где же именно и в чем обнаруживается в «Балаганчике» мистический анархизм?

Одно ясно, что «лирические сцены» Блока гармонировали с настроениями многих из элиты: «так дальше жить нельзя», но это «так» — в «Балаганчике» касалось прежде всего *личной* жизни поэта, правда, — личная жизнь сплеталась и с общественной жизнью, и субъективная неудовлетворенность, разочарованность как-то подогревалась общей атмосферой разочарованности 1905/6 годов.

Так или иначе, но можно сказать, что общий тон «Балаганчика», при пестроте и шуме его нарядного, но загадочного хорова масок, — тон меланхолический, а финал — пессимистичен. Все подвергнуто сомнению, душа еще на путаном пути, в исканиях, и не видно света верного маяка. Только к 1913 году, как можно судить по дневнику Блока, он окончательно разуверится в символизме: «По всему литературному фронту идет очищение атмосферы... Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его». Но такие мысли оформятся у Блока только через 7 лет после постановки «Балаганчика».

Если так сложно, с явной неуверенностью воспринимался текст пьесы при «чтении глазами», то насколько трудна была задача сценического воплощения одной из первых русских символических пьес. Помогла ли постановка в театре Коммиссаржевской прояснению текста при помощи особых театральных средств? И — вообще — возможна ли «лирика на сцене», именно символическая лирика?

### 3

Необычайная трудность спектакля легла на плечи смелого и капризного режиссера — Вс. Эм. Мейерхольда.

Недолго пробыв актером Моск. Худож. Театра (1898-1902), он жаждет самостоятельности, организует провинциальную труппу (Херсон, Тифлис), в 1905 г. возвращается в Москву и, по предложению К. С. Станиславского, приступает к руководству Театром-Студией, своеобразным филиалом МХТ, который попробовал в 1904 г. поставить одноактные пьесы шумевшего тогда Метерлинка, однако, не нашел нужных приемов для символического спектакля. Станиславскому казалось, что Мейерхольд в про-

винции интересно экспериментировал в этой области и что у него есть «новое театральное слово».

Действительно, Мейерхольд следил за новыми западными театральными течениями и теориями, был образован, читал иностранную литературу, в тому же была у него «жилка» эпатировать публику, поражать неожиданностью, оригинальностью. Очень нелегко определить, во что он искренно верил и что шло от своеобразного озоретва, но нельзя отрицать, что многие его «инвенции» были талантливы. У него уже был опыт в постановке Ибсена, Гаупмана, Метерлинка, Пшибышевского (пьесу последнего «Снег» он интерпретировал с такими непривычными «фортелями», что последовал скандальный провал); в Театре-Студии он взялся за метерлинковскую «Смерть Тентажиля», стремясь сделать «условный» «стилизованный» спектакль при содействии художников Сапунова и Судейкина, заменивших обычный театральный макет импрессионистским эскизом. Как раз именно от этих художников Мейерхольд мог узнать очень для него интересные подробности о замысле, возникшем весной 1905 года в Москве и который не был осуществлен из-за революционных событий; об этом замысле в журнале «Весы» (1905, № 4) была интригующая заметка:

«Необходимо создать, в противовес реалистическому театру, «Театр мистической трагедии»... Если прежней задачей искусства был день и его сумерки, то теперешняя задача — преобразование ночи. Создать «неподвижный» театр священной фантазии, родственной античному... Умножить (не усложняя) способы воздействия на зрителя, чтобы он по ступеням ощущений ассоциаций уходил туда, откуда падают случайности... Если нет на прежней палитре красок, то добиваться, усиливать, уточнить их, может быть, запахами живых цветов, может быть, звуковыми ассоциациями». (Заметка добросовестно указывала, что запахи и звуковые ассоциации экспериментально уже испытывались в 80-х гг. прошлого века на парижских сценах). На первом собрании организующегося общества участвовали С. А. Поляков, Н. Сапунов, С. Судейкин, В. Гофман, князь П. Гутунава и др.

Мейерхольд не шел так далеко, — он на этот раз отказался от обычной декорации, заменив ее однотонным фоном-задником; использовал в больших порциях сопровождающую музыку, в чем ему очень помог И. Сац; тренировал актеров в пластических движениях, т. к., по его мнению, «слова в театре — это только узор на канве движений». После всех этих усердий Ста-

ниславский не принял этой постановки и разочаровался в режиссерской манере Мейерхольда, который, в свою очередь, обиделся, но, пожалуй, в то же время почувствовал, что «неудача» развязала ему руки. Он едет в Петербург, завязывает дружеские знакомства с «модернистами», собиравшимися на знаменитых «средах» у Вяч. Иванова, а в начале 1906 г. получает очень лестное предложение В. Ф. Коммиссаржевской вступить в ее театр режиссером и актером, что и произошло в сезон 1906/7 г.

На первых порах авторитет Мейерхольда был очень значителен: он, в конце концов, решал вопрос о выборе репертуара.

Г. Чулков, подружившийся с Мейерхольдом и пытавшийся завлечь его в группу мистических анархистов, познакомил его с Блоком. Прослушав в чтении «Балаганчик» и «Короля на площади», Мейерхольд безоговорочно включил их в репертуар и почти не медля приступил к постановке «Балаганчика», декорации для которого поручил уже по Москве знакомому и «созвучному» Сапунову, а музыку М. Кузмину.

Что прежде всего увидел режиссер-новатор в «Балаганчике»? Русскую «комедия дель арте», с ее эффектными масками, сплетение живых фигур с марионетками, возможность великолепного *зрелища* — прежде всего!

Театральным глазам уже виделась чудесная пантомима.

Блок присутствовал на репетициях и давал кое-какие указания. Может быть, он с глазу-на-глаз с Мейерхольдом комментировал отдельные эпизоды, приоткрывая хотя бы некоторые свои интимные переживания, определившие завуалированные образы? Возможно, но сомнительно: позже Мейерхольд, после смерти Блока, и находясь в зените своей славы, обронил бы по этому поводу словечко, когда о Блоке так много и внимательно писалось. Вернее думать, что задача создать необычайное зрелище была главной для человека, шедшего против «литературирования» театра и за возвращение театру его «специфики» (ту же цель преследовал, но иными путями Н. Н. Евреинов).

Сохранилась короткая, сделанная самим Мейерхольдом экспозиция «Балаганчика»: «Вся сцена по бокам и сзади завешена синего цвета холстом: это синее пространство служит фоном и оттеняет цвета декораций маленького «театрика», построенного на сцене... Перед «театриком» на сцене вдоль всей линии рампы, останется свободная площадка. Здесь появляется

Автор (роль, исполняемая актером, П. Е.), как бы служа посредником между публикой и тем, что происходит на маленькой сцене. Действие начинается по сигналу большого барабана: сначала играет музыка и видно, как суфлер влезает в будку и зажигает свечи. На сцене «театрика», параллельно рампе, длинный стол, до пола покрытый черным сукном. За столом сидят «мистики» так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук: оказывается, это из картона были выкроены контуры фигур и на них сажей и мелом намалеваны были шуртуки, манишки, воротнички и манжеты. Руки актеров просунуты были в круглые отверстия, вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь прислонены к картонным воротничкам... Арлекин впервые появляется из-под стола мистиков. Когда Автор выбегает на просцениум, ему не дают договорить начатой тирады, за фалды шуртука кто-то невидимый оттаскивает его назад за веревку, чтобы не смел прерывать торжественного хода действия на сцене. Когда Пьеро кончает большой свой монолог, скамья и тумба с амуrom, вместе с декорациями, взвивается на глазах публики вверх, а сверху спускается традиционный колоннадный зал.

Здесь нет ни слова о «смысле» зрелища, «видение» режиссера полно трюков, ловких приспособлений, неожиданных «превращений», близких к цирковой практике.

Ну, а как же играли актеры?

Создавая стилизацию кукольного театра, Мейерхольд заставил и живых актеров, в комбинации с картонными персонажами, превращаться в механизированных кукол, говорить неестественными голосами. Сохранилось описание роли Пьеро в исполнении самого Мейерхольда, — об этом пишет его поклонник С. Ауслендер:

«Он несколько не похож на тех знакомых, притворно слащавых, плаксивых Пьеро. Весь в острых углах, *сдавленным голосом* шепчущий слова нездешней печали, он какой-то колючий, пронзающий душу, нежный и вместе с тем дерзкий... Это Мейерхольд играл блоковского Пьеро и играл его необычайно...»

По этому отзыву совершенно очевидна крайняя неестественность игры и голоса. Известно, что Мейерхольд был не очень удачливым актером, и если сопоставить этот хвалебный отзыв Ауслендера со злым описанием той же («бездарной») игры у Кугеля (оно приведено выше), то истину придется искать где-

то посередине: игра Мейерхольда, конечно, не была бездарной, но и восхищать она могла разве только сторонников изломанного, стилизованного театра.

Блок в те дни благодарил Мейерхольда: «Дорогой Всеволод Эмильевич! Пишу Вам наскоро то, что заметил вчера (т. е. после репетиции без декораций). Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые перспективы на «Балаганчик»: мне кажется, что это уже не одна лирика, но есть уже и в нем остов пьесы».

Удивительное признание: Блок, стало быть, нарочито делал свою пьесу лишенной необходимых драматургических элементов, если не считать слабо намеченной борьбы (да и борьба ли это?) Пьеро со своим соперником Арлекином (любопытно: в дальнейшей своей семейной истории он готов был без видимой борьбы уступить свою жену А. Белому). Почти невозможно уловить так называемую «завязку» пьесы, «перипетии», трудно определить момент кульминации, если же считать таковым мнимый счастливый конец — соединение рук Пьеро и Коломбины, — за чем следует утрата счастья и растерянное одиночество Пьеро, то кульминация становится в то же время и развязкой...

Уж кто-кто, а Блок-филолог и любитель-актер в юности знал классические законы драматургии, однако, и «Балаганчик» и следующие лирические драмы 1906 г. — были книжны, сугубо литературны и нуждались в режиссере-истолкователе, помощнике автора. *Тогда* Блоку казалось, что Мейерхольд помог ему, а спустя сравнительно короткое время, в марте 1908 г., тот же Блок в петербургском Театральном Клубе прочел лекцию о театре и раздраженно подверг разносу и писателей и режиссеров: «Писатели презирают сценическое воплощение», «кто такой режиссер? Это то незримо действующее лицо, которое отнимает у автора пьесу, указывает автору ближайший выход из-за кулис, а вслед за тем истолковывает пьесу по собственному разумению», «актер ныне только лицедей», «авторы разучились говорить с актерами на театральном языке».

Это не непосредственно о театральной судьбе своего «Балаганчика», это вообще о театре, но это и о неудаче, в конечном счете «Балаганчика», которому был создан триумф немногочисленными поклонниками, но который широкими кругами зрителей не был понят, не был принят и резонанса не получил: Москва и провинция не повторили опыта театра Коммиссаржевской.

Недавно сделанная характеристика этой постановки Ю. Елагиным нам представляется сомнительной: утверждается, что «Балаганчик» «законченное воплощение символизма в формах сценического искусства», что будто бы «никогда символическая драма не была поставлена на театральной сцене с такой художественной убедительностью, с таким проникновением в сущность и в дух своеобразного русского импрессионизма» (символизм это импрессионизм?! П. Е.).

Почему же в таком случае «законченное воплощение символизма» не стало образцом для подобных опытов в дальнейшем, почему «художественная убедительность» не убедила и видных символистов, которые, как напр. А. Белый, рассуждая о символическом театре в 1908 г., приходили к следующему выводу: «В символизме реальная связь за пределами видимости, т. е. *символизм на сцене немислим*» (иначе говоря, театр — *зрелищное искусство*, оперирующее материальными объектами, оно «вещно» и по природе своей не в состоянии выразить невидимое, неосознаваемое — интимнейшие движения духа), т. е. нет и помина о «законченном воплощении символизма» в постановке «Балаганчика».

Впоследствии Мейерхольд еще раз сделал попытку поставить «Балаганчик», а вместе с ним впервые попробовать на сценической площадке «Незнакомку» того же Блока. Это было в последний спокойный год — 1914-ый. В это время Мейерхольд был уже режиссером петербургских императорских театров, и многим казалось, что он «утомился». Однако, хорошо приспособившись к приемлемому на казенной сцене новаторству, он оставался на стороне, в «частном студийном порядке», искателем новых «откровений» под именем «доктора Далпертутто», попрежнему увлекаясь «коммедиа дель арте». Ему пришлось в голову вернуться к блоковской лирике на сцене, экспериментируя в своей студии. Пробный спектакль был показан в концертно-лекционном зале Тенишевской Аудитории, т. е. в мало приспособленном для театральных спектаклей помещении. Он нашел в лице художника Ю. Бонди пламенно-сочувствующего ему помощника.

Актер-новатор А. А. Мгебров в своих очень ценных воспоминаниях рассказывает о своем участии в этой работе и передает общее впечатление от этих экспериментов. Он удивляется изобретательности Мейерхольда и Бонди, восхищается декорацией для «Незнакомки» — тоже лирической пьесы, драматизи-

ровавшей 5 стихотворений из блоковского сборника «Нечаянная Радость», — пьесы о падучей звезде, превратившейся в «незнакомку» и, подобно шемаханской царице из пушкинского (и Римского-Корсакова) «Золотого Петушка», сказочно исчезающей в финале неведомо куда. Опять — образы — проекции душевных состояний поэта, то же раскрытие себя в зыбких очертаниях персонажей, и чтобы хотя приблизительно их понять, опять-таки необходимы комментарии.

Мгебров, восхищаясь выдумками режиссера, все-таки осторожно спрашивает: «Возможно ли театрализовать произведения, подобные блоковской «Незнакомке» и «Балаганчику»?» И отвечает: «Мейерхольд верил, что «да». Прав он был или не прав — об этом возможно кто-либо скажет в далеком будущем... для современного актера, в условиях обычной театральной работы, преодолеть «Незнакомку» почти невозможно, а «Балаганчик» еще более фантастичен по преломлению».

Судя по описанию Мгеброва, Мейерхольд и в 1914 году эту блоковскую лирику превращал в эффектное зрелище прежде всего; напр., для «Незнакомки» зал был украшен пестрыми фонариками, пышно разодетые «слуги» на глазах у публики расставляют декорации, в антрактах с эстрады (занавеса нет!) в публику летят апельсины; «за выпуклым и тонким мостом» (легкое конструктивное сооружение) «на длинных пестах две маски, именно маски, от фантастики того же Бойди, подхлестнутой Мейерхольдом, держали небо... По голубому, воздушному тюлю Бонди рассыпал крупные, золотые, блестящие звезды, и в свете голубых огней эти звезды на волнующемся тюле действительно дрожали и горели как-то совсем по особенному... Сцена в ресторане и последняя картина в салоне были поставлены в причудливо-красочных ширмах, в содружестве с тайной пленительностью света».

Актеры же волей режиссера были лишены права расцвечивать интонации: «Мейерхольд добывался почти беззвучного, однотонного, но одновременно насыщенного произношения» для «подчеркивания музыки стиха».

«Балаганчик» же был поставлен с усилением — по сравнению с постановкой 1906/7 гг. — кукольности: «По Мейерхольду — «Балаганчик» — это преображенный картон, каскад картона».

В конце концов, этот студийный эксперимент был предложен весьма узкому кругу театральных гурманов, и широкий зри-

тель никогда его не увидел, т. к. это было «угощение» для избранных. И опять Мгебров оговаривается: «...Вся эта трилогия (он имеет в виду и непоставленную третью лирическую драму Блока — тоже 1906 г. — «Король на площади») — дело очень личное, очень интимное и, как и при жизни автора, так и теперь в особенности (Мгебров писал на грани 20-30-х гг.), доступное пониманию только очень ограниченного круга лиц, способных настроить себя мыслить и чувствовать «по-блоковски».

Короче говоря, обнаружилось, что символическая лирика русского поэта в драматизированной форме — только *Lesedrama*, а театр был бессилён её интерпретировать так, чтобы она завожила, зачаровала, «художественно заразила» зрителей.

*Петр Ершов*

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### 1

Есть нити, есть сети,  
Есть тяжести счастья,  
Чугунные узы, —  
Но я ухожу, не оставив узлов.  
Оковы ношу, как запястья,  
И тернии — как тиару,  
И все оскорбленья, обиды и боли  
На шее цыганки монистом звенят.

Друзьям моим милым  
Дано долголетье,  
Врагам — только день. И — нет дня!  
Меня бы сожгли  
Фердинанды, Карлы, Филиппы.  
Смотрите: я выросла в парку,  
А была я  
Обыкновенною ведьмой,  
Когда вы знали меня.

Есть сети, есть цепи,  
Все есть у колодников счастья,  
Прикованных к миру,  
Закованных в мир.  
Гремят кандалы слаще звуков Моцарта,  
Железа горят изумрудами,  
Гвоздь в ладони — сапфир.

Есть искры, есть молнии,  
Огненный ток наших прихотей,  
Костры вожделений, пожары желаний,  
И тайный закон.  
Но легки мне чугунные узы,  
И час расставаний,  
И ночи сомнений,  
И призрак, тревожащий сон.

## 2

Ни о вазе. Ни о розе в вазе:  
Запретили. Нельзя!  
Постановили единогласно  
И я сама голосовала «за».

А что ж о черепках? Забыли?  
Разбили вазу,  
Цветок сломали,  
А черепок?  
О нем-то есть постановление?  
— Конечно, запретили тоже,  
И я сама голосовала «за».  
(Читатель, я тогда моложе...)

Как жаль! А то по черепку восстановить бы  
вазу,

А там, глядишь, в горшке знакомом  
Репейник бы зацвел опять, —  
Наперекор, читатель, и тому  
И этому. Наперекор всему,  
Наперекор голосованью моему  
И тем, кто любит запрещать.

Что делать нам с запретным сим рельефом?  
Куда его? Куда прикажете девать  
Посудину? Опять разбить? Зарыть?  
Закинуть за три моря?  
(Морей у нас кругом не перечесть).

— Забыть об этом безобразии!

Но кто-то есть, кто ждет осколок:  
Он по нему восстановит  
Меня, —  
Наперекор всему,  
Наперекор желанью моему,  
Наперекор и вашим, и моим голосованьям.

*Н. Берберова*

## ФОН ДОДЕРЕР И ЕГО РОМАНЫ

В романе фон Додерера «Бесы» («Die Dämonen») — 1400 страниц. Он почти в три раза длиннее «Доктора Живаго». В нем так же, как и в романе Пастернака, люди встречаются как бы случайно, только не на пространстве огромной страны, а на венских улицах и перекрестках, в венских кафе, на набережных Вены. Одна из частей книги посвящена событиям — но уже не первой мировой войны, как в «Докторе Живаго», а венскому мятежу 1927 года. Есть и «узнавания», есть и раскрытие тайны происхождения и, как в романе Пастернака, разрез «классовый» и разрез «национальный». И толпа героев, настолько густая, что от автора потребовался список действующих лиц (их 150, но упомянуты далеко не все), напечатанный в начале и в конце книги. Читая роман мы всё время обращаемся к этому списку и чувствуем потребность не только в календаре событий 1925-27 г.г., но и в подробном плане города Вены.

«Бесы» Додерера одна из значительных книг нашего времени. И «В поисках утраченного времени» Пруста, и эпопея Фолкнера приходят на память при ее чтении. И Достоевский, конечно, и не только его одноименный роман, но и «Подросток», и «Карамазовы» — первый с его запутанной темой наследства, второй — с его сетью «экзистенциальных» вопросов. Но всё это — не в плане заимствований, а в плане своеобразного осуществления гигантской картины общественных и личных, нравственных — и безнравственных — проблем человека. Многое сказано, но еще больше недосказано, и недосказывания Додерера последовательны и могут отчасти рассматриваться, как литературный прием. Всё недосказанное им столь же существенно, как и раскрытое до конца. И «подземные» события, и «подпочвенные» отношения людей играют на страницах книги иногда даже еще более важную роль, чем отношения «надземные». «Бесы» — роман о том, что под людьми, под городом, под страной. И может быть — под всем миром.

Если понимать эту «подпочву» буквально, то говорится в «Бесах» и о гигантском крабе, живущем у берегов Бразилии, который когда-нибудь вылезет на берег, на ужас и погибель людям; и о системе канализации австрийской столицы; и о бетоне, который льют в подвалы старых домов, чтобы они не покосились. Всё это живет под человеком и в этом смысле Додерером рожден (как в свое время и Прустом, и Фолкнером) мощный символический образ, к концу книги приобретающий силу и величие нового мифа. Подпочвенные лабиринты, как в сети городской канализации, соединяют людей (и всякому ясно, что лучше им никогда не выходить на поверхность!); в каждом герое живет свой страшный, цепкий и отвратительный краб, спящий до поры до времени (но что будет, если несколько сот тысяч таких чудовищ одновременно вылезут наружу?); бетон заливает подвалы домов, но если во-время не остановиться, он может залить и первый этаж, и не только первый, схватив своей волной живущих в доме живых людей, и сделав их частью себя.

На этой подпочве стоит великолепный имперский город, одновременно и величественный и уютный, грозный и беззаботный, задышающийся в роскоши и голодный, полный старинной красоты, преданных слуг, праздных женщин, венгерских заговорщиков, пришлых спекулянтов, убийц, бедняков, мятежников. Главный герой книги — сама Вена. XX-ый век знает много романов, где главным героем является не человек, а город. Точнее сказать: герой-город появился в литературе уже в конце XIX в. (Золя). И в связи с этим мне кажется было бы кстати упомянуть здесь одну далеко несовершенную и почти забытую книгу — «Китай-город» Боборыкина.\* Но на

---

\* Недавно перечитав «Китай-город» я увидела, между прочим, какой толчок дала эта книга Андрею Белому при замысле и выполнении его «Петербурга», и поняла, что в ней есть достоинства. Стиль «Петербурга» разительно напоминает стиль «Китай-города». Ведь как это ни удивительно, но «Китай-город» отчасти написан ритмической прозой (тем-же трехдольником, что и «Петербург»), как отчасти написан пятистопным ямбом роман Лескова «Обойденные». Перечисление прохожих («мужик, артельщик, купец, купчиха, адвокат») у Боборыкина заставляет вспомнить Белого («котелок, пальто»). У Боборыкина кто-то что-то «выплясывает», как кто-то что-то «вытанцовывал» у Белого. Из «моиументального банка» Боборыкина («горячая греза зодчего») вышло «министерство» Белого. Азиат-

этот раз это не «Париж», не «Лондон», не «Петербург», не «Москва», это — столица Австрии, как-бы корабль, накренившийся, еще не тонущий, но уже обреченный, — ее закаты, восходы, ее различные части (буржуазная, аристократическая, рабочая, богемная), ее окрестности — цветущие холмы, за которыми начинаются мадыарские степи, широкий Дунай.

В «Бесах» три главных героя связаны друг с другом подпочвой, тайной и общим прошлым, — или это один герой, разрубленный автором на три части? Историк, писатель и сам летописец событий. В книге есть всемогущий «герцог», и есть рабочий-самоучка, который в конце романа поступает к герцогу библиотекарем. Только здесь, во взаимоотношениях герцога и самоучки, в этом убежище культуры, среди инкунабул и старинных манускриптов, мы чувствуем, что подпочва не хлынет и не поглотит нас. Но только здесь. Леонард, самостоятельно выучившийся латыни, и герцог, обладатель сокровищ, вероятно уберегут и себя, и культуру. Но Штангелер (историк), Шлаггенберг (писатель) и хроникер Гейренхоф будут либо затоплены и захлебнутся в гнили и мерзости, либо окаменеют и превратятся в железобетон, либо будут пожраны тем, что до времени спрятано в них самих.

---

ский элемент в пивных и трактирах есть у обоих, как и обилие цилиндров. Москва — точка, от нее идут радиусы, — говорит Боборыкин. Геометрия Петербурга общеизвестна. Некоторые детали поразительны. «Елена Никифоровна любила итальянских теноров» (Боборыкин), «Анна Петровна сбежала с итальянским тенором» (Белый). Разговоры слуг в доме Аbbleухова напоминают разговоры слуг в доме Нетова. Тон Нетовой с мужем и его «хе-хе» предвосхищают взаимоотношения супругов у Белого. Названия глав у Боборыкина: «Дельце почти обделано», «Фамильная честь затронута», «Перекусочный подвал», «Неожиданное и не совсем приятное последствие второй пощечины» могли бы быть названиями глав «Петербурга». А из которого из двух романов взят следующий диалог — пусть угадает читатель:

- «— А у меня Пупков сегодня был.
- С чем тебя и поздравляю!
- Ты мне не верь, я подлец, право, подлец.
- Верю».

(Ср. также маскарад в «Петербурге» с маскарадом в «Петербургских трущобах» В. Крестовского).

Вокруг этих трех вьются женщины. Они играют сравнительно бледную роль. Они часто только тот иронический фон, на котором проходят силуэты мужчин, то самоуверенно в них влюбленных, то холодно ими увлеченных, то, наконец, упрямо ищущих в них то, что им нужно в их порочных склонностях: есть целая глава, посвященная «полным женщинам» («толстым бабам», «жирным самкам») — своего рода анафема современным красавицам, тем, что весят менее 200 фунтов (полоса жизни Шлаггенберга). И есть история отношений Гейренхофа и Фредерики Ритмайер — «о, ты, последняя любовь!» — когда мы находимся под впечатлением, что это не только лично его последняя любовь, но и вообще последняя романтическая нота империи, а может быть и всего позднего европейского Ренессанса.

В 1927 году будущее являлось героям Додерера полной загадкой. В сочащемся изо всех щелей города тумане, толпа людей бродит в настоящем, сталкиваясь друг с другом и изо всех сил — сознательно и бессознательно — стараясь удержать подпочву там, где ей положено быть. Будущее настолько темно, что иногда кажется: герои Додерера живут перед «железным занавесом», за которым таятся для них катастрофы новой эпохи. У них нет способности видеть то, что за ним, они умеют либо смотреть в себя, либо смотреть назад: там, в прошлом, в старых замках, в замурованных подвалах, в каменных башнях, доживает что-то похожее на их настоящее, доживает «прошлое в будущем», и потому самым прозорливым ясно, что всё — обречено. Жизнь струится в жилах Вены, но центр пульса ее перемещается: гремят рабочие кварталы, женщины несут революционные лозунги, мужчины поджигают Дворец правосудия. В щель «железного занавеса», висящего перед будущим, кое для кого вдруг мелькает неотвратимая реальность и скрывается опять.

Одна из главных тем книги именно и есть это «прошлое в будущем» и «будущее в настоящем». Летописец Гейренхоф пытается заглянуть туда, в это грядущее, из собственной реальности. Мгновенный «вкус» или вернее «привкус» того, что будет «после», в имманентном ощущении «теперь и здесь» является героям «Бесов», как средневековый «ад» и «рай» верующему человеку, в угрозах возмездия и обещаниях блаженства жизни будущей. На это откликается реальность «теперь и здесь». Но люди существуют и во «второй реальности»,

и она идет своим путем, вне проблем добра и зла. Она создает и разрушает личность той силой, которая добыта ею (мы это чувствуем) именно из подпочвы. В этой второй реальности весь узел человеческих судеб. Здесь, в этом плане, уже не город, но люди делаются настоящими объектами творческой мысли Додерера.

Одна черта характерна для его метода. Она проходит через всю книгу и относится к какой-то особой заторможенности психологической реакции героев, это как-бы постоянно умышленно упускаемая автором кульминационная точка. При получении новости, меняющей всю ее жизнь, героиня... засыпает. Спеша на свидание, наконец ему данное, герой останавливается, любит вид и... пропускает время. Встретясь с человеком, которому он решил доверить тайну, человеку эту тайну не открывает, потому что о ней... забывает. Этим приемом достигается тот реалистический эффект, что в романе нет «вышей» точки, — как нет ее, например, в романе Стерна «Тристам Шанди», где всё время что-то не случается, и как нет ее и в большинстве жизней. В мире 999 человек из тысячи живут без кульминационной точки. Таким образом, «Бесы», как и все без исключения значительные романы нашего времени, представляют собой соединение символизма и реализма.

«Бесы» писались 30 лет и за эти годы фон Додерером были написаны другие книги. Еще в 1951 году он выпустил в свет роман «Подъем на Штрудельгоф» («Die Strudlhofstiege») — место всё в той же Вене, лестница, ведущая из одной части города в другую. Этот роман во многом предвосхищал «Бесы». И там, как и в «Бесах», не было событий в старинном смысле этого слова, как очень часто нет их и в жизни человеческой, а было лишь движение во времени, динамика различных судеб, столкновения, разъединения, отсутствие кульминации, когда мы знаем, что ничего не случится, а всё только будет пребывать, незаметно изменяясь, ничего не сломается, а всё только будет гнуться и петлять, двигаться почти незаметно для простого глаза, как двигается стрелка часов. И мировые события подойдут так же неуловимо, когда, наконец, грохнет обвал, — уже за пределами книги.

В «Подъеме на Штрудельгоф», собственно, почти те-же герои, что и в «Бесах». Один роман как бы повторяет другой, но так, как если бы камера фотоаппарата, отстоявшая от объ-

екта, скажем, на 100 шагов (в романе 1951 года), вдруг приблизилась на 10 шагов (в «Бесах»). Всё стало видно по другому, те-же лица, которые были видны силуэтами, стали вдруг видимы в микроскоп.

После чтения обоих романов становится ясной философия фон Додерера: его интересует цепь состояний, не цепь действий. Что-то течет, но что-то и стоит неподвижно, что-то меняется, если взглядеться, но что-то неизменно. И может быть это и лучше: прошлое живет в будущем и будущее живет в настоящем. И если «всё течет», то Гераклит, в то мгновение, когда это говорит, сам стоит на месте и пролетает тысячу лет.

И «Бесы», и «Подъем» читать не легко, как все современные романы символически-реалистического направления. Есть в современной литературе западного мира вообще очень сильная струя нарочитой затрудненности чтения. Эта струя появилась из законного чувства протеста против легкой литературы, детективного романа, популярного романа и даже рекламы. Это реакция против читательского «а что будет потом?», против напряжения «голового» интереса, против ожидания развязки, т. е. того, что играет первенствующую роль в романах «легких». Современные прозаики пишут не для того, чтобы сказать, наконец, «чем всё кончилось», а так, чтобы каждая страница (если не каждый абзац) была самоцелью. Додерер (как Даррэл и Генри Миллер, с одной стороны, и как Беккет и Керуак — с другой) целиком пишет в линии торможения действия. Но этим торможением он пользуется не для того, чтобы подвести нас к окончательному и сокрушительному удару (как бывало в романах XIX века), а ради самого этого торможения, нужного автору для его конечных целей. В реальной жизни крайне редко бывают развязки, гораздо чаще большинство завязок остаются неразвязанными. В этой полосе анти-легкости пишут конечно же и современные поэты, умышленной затрудненностью чтения борясь с куплетами, стихами для детей и юношества, рекламными виршами. Отчасти эта «затрудненная» литература напоминает затрудненную абстрактную живопись и затрудненную современную музыку. Она требует медленного чтения, того, о котором, между прочим, когда-то говорил Гершензон, призывавший к медленному чтению стихов, даже «классических», даже общеизвестных. Холкинс и Камминс усложняют свои поэмы для того, чтобы

читателю было время «подумать о каждом слове». Но еще больше, чем другие современные искусства, эта литература напоминает ту латынь, которой когда-то пользовались образованные люди далекого прошлого. Или надо было этой латыни научиться, и, так сказать, сознательно сделать выбор — решиться вступить на путь понимания литературы данного столетия, или надо было довольствоваться иными развлечениями, теми, что предлагались «широкой публике» и тогда, как предлагаются и теперь.

Возможно, что фон Додерер станет в ближайшем будущем кандидатом на Нобелевскую премию. Он родился в Австрии, в 1896 году, успел побывать на войне 1914-18 г.г., был взят в плен русскими и долго жил в России. Затем он вернулся домой в Вену, и начал свою литературную карьеру сборником стихов. Сейчас он считается одним из наиболее выдающихся австрийских писателей. «Бесы» вышли по-немецки пять лет тому назад. Замысел, язык, охват и символизм этой вещи, значение в ней «второй реальности», о которой Додерер непрерывно напоминает нам, трагический смысл подпочвы для героев и города, и то «будущее в настоящем», которому посвящены замечательные страницы, полные глубочайшего символизма, делают роман литературным событием нашего века. «Бесы» переведены на английский язык.

«Подъем на Штрудельгоф» пока не переведен на другие языки. Он, быть может, не имеет тех бесспорных достоинств, которые, в философском смысле, имеют «Бесы», но как введение к «Бесам», и этот роман можно назвать значительным и даже монументальным.

*Н. Берберова*

\*\*  
\*

Я слишком поздно вышел на свиданье,  
Всё ближе ночь, и весь в крови закат,  
Темна тропа надежд, любви, мечтаний,  
Ночь всё черней, путь не вернуть назад.

Я заблудился в этом мраке душном,  
Глаза открыты — не видать ни зги,  
Кружит звезда в эфире безвоздушном,  
О, Господи Распятый, помоги.

Я стал немым, но лира плачет в мире,  
О, Господи, дай смерть такую, чтоб  
В гробовой тьме я прикасался к лире,  
Чтоб лирой стал меня объявший гроб.

1961

*Владимир Смоленский*

---

*Это — одно из последних стихотворений недавно скончавшегося поэта В. Смоленского. Стихотворение прислано нам его вдовой Т. И. Смоленской. РЕД.*

## О «СКАЗОЧНОМ» ВРЕМЕНИ\*

Великий польский писатель Генрих Сенкевич как-то сказал: «Беда народам, которые любят свободу больше, чем свою родину!» Такого рода возвышенные мнения легко было высказывать в эпоху, когда свободолюбивые революционеры, даже в заключении пользовались чуть ли не большими почестями, чем ныне контрреволюционеры в так называемом свободном мире. Личной свободы (по сравнению! по сравнению!) было до отвала, а вот родина, Польша, жила в политической неволе. То, — не всегда понятное современникам, — противопоставление тогдашнего права личности ограничению масс, первенство человека по сравнению с общностью стало причиной того, что в польском обществе, в целом желавшем восстановления национальной независимости, взяло верх — по праву реакции — течение как раз противоположное. Не человек важен — важна отчизна. Это не могло не отразиться на психологии польского литературного творчества, ставшего, из-за отсутствия более действительных возможностей политического воздействия, знаменосцем польской независимой мысли. О лозунгах вроде «человеколюбия» упоминалось с некой презрительной гримасой. «Бого-и правдоискательство» считалось чуть ли не казенщиной официальной руссификации. И в то время, как героем русской литературы оставался — человек, в польской наличие человека служило как бы только заслоном, за которым, в большей или меньшей мере, скрывался подлинный герой: Польша. Этот несомненный, глубокий патриотизм рикошетом привел к «политизации» польской литературы, а вместе с тем и к своеобразному, легкому увяданию обще-гуманистического корня за счет национальной сердцевины. От этого польская литература стала несколько односторонней, а подчас однообразной, и чуть-чуть (да простят мне мои соотечественники! — хотя я знаю наперед, что не простят...) — скучноватой. Вот в этой-то, по-

---

\* Michal K. Pawlikowski, "Dziecinstwo i mlodosc Tadeusza Irten-  
skiego", B. Swiderski. London. 1959.

нынешнему скажем, — «линии», названной мною для сопоставления с сегодняшним «соцреализмом» — «польреализмом», и кроется, по-моему, главная разница между польской и русской литературами дореволюционного времени, а не в недостатке талантов. Талантов и в Польше было много, но они служили больше «делу», чем чистому искусству.

В семидесятых годах прошлого столетия, сибирские тюрьмы и каторги с разрешения правительства посетил уважаемый доброжелатель, англиканский патер Henry Lansdell, религиозно-филантропический деятель. В выпущенной им затем в Лондоне и переведенной на многие языки книге, английский автор упоминает, что уже после возвращения в Англию ему попала в руки, в английском переводе, повесть «одного русского, некоего Федора Достоевского, под заглавием «Заживо погребенные». Англичанин упрекает Достоевского за излишнее сгущение черных красок, и на двух с половиной страницах полемизирует с Достоевским, доказывая на основании приводимых им географических и фактических данных, что рассказ «некоего Александра Петровича Горянчикова» — вымышленный и что так худо в Сибири не было и быть не могло. Одним словом, получается выступление иностранца в «защиту России» от русского писателя. Этот (кстати, кажется, мало известный случай) может служить классическим примером того, что в польской литературе ни под каким видом не было бы ни возможным, ни допустимым. Никогда. Ни раньше, ни теперь. Никакая мировая известность, никакой литературный талант, не предохранил бы польского писателя от клейма «измены национальному делу», если бы он позволил себе в своем произведении до такой степени «очернить» Польшу, что даже иностранец стал бы на ее защиту!

Разумеется, с моей стороны, это только попытка схемы, отнюдь не претендующей на серьезное обобщение. И если я употребил выше губительное для всякой литературы словечко «скуchnоватость», то лишь по чисто субъективному восприятию. Ибо мне лично кажется, что в жизни интересна в сущности только правда. Какая бы она ни была. Всё прочее менее интересно. Отсюда я и делаю вывод, что в литературе интересна лишь истина, т. е. доведенная до наиболее возможной степени искренность автора. Менее же интересен заранее предрешенный вывод, тезис, всякая обязывающая автора тенденция.

Само собой разумеется, что это, в первую очередь, относится к литературе, связанной с историческим прошлым, с

изображением былого; со всем касающимся давно забытых фактов, семей — вечной памяти — людей, географических названий отчасти уже переименованных; мебели большей частью уже поломанной, картин когда-то висевших на стенах, большей частью уже сожженных усадеб.

Вот почему мне хочется обратить внимание на книгу Михаила К. Павликовского — «Детство и юность Фадея Иртенского», вышедшую года два тому назад в польской эмиграции. Книга эта из ряда вон выходящая. Не только по таланту автора, но и по глубокой искренности изображения «дел давно минувших дней». Дней индивидуалистической, незабвенной эпохи, умершей стремительной смертью на полях войны 1914 года.

Павликовский называет свою книгу романом. В сущности, она не роман в трафаретном смысле этого слова. Некоторые думают, что это попросту автобиография. Пусть так. По-моему, классификация тут не при чем. И так уж, заметим вскользь, слишком много классификаций применяется к литературному творчеству. Пиши, как хочешь, лишь бы хорошо! Павликовский написал хорошо. Главное, что он порвал со схемой политико-патриотической подкладки в подходе к происходящим событиям. А подкладка, фон событий, с национально-политической точки зрения, как раз очень щепетильны: последние годы русского царствования на землях издревле спорных. (Дорогие читатели, вам не приходилось замечать, что чем более вещь спорна, тем более считается она заинтересованными сторонами: «беспорной»?).

В сущности говоря, это последние дни Великого Княжества Литовского. Для нынешнего коллективного способа мышления, неосведомленного в былых терминах, такое определение может показаться не совсем ясным. Но в те времена не наступило еще полное слияние жизни с политикой. С политической точки зрения, после раздела польско-литовского государства, Вел. Кн. Литовское осталось лишь в упоминании титула российского императора. Но с жизненной точки зрения оно продолжало существовать, — хотя и переименованное в «Северо-Западный Край», — во всей своей повседневности, в территориальном единстве. Замечу на полях, что восточные и северные границы Могилевской и Витебской губерний проходили дальше по Андрушевскому миру 1667 года (т. е. до границ «1772»). Граница, отделявшая Ковенскую губернию от Прибалтики и Восточной Пруссии, была определена мирным договором, заключенным у Мелненского озера между Литвой и

Орденом Крестоносцев в 1442 году; а южная граница «Северо-Западного Края» осталась всё той же, установленной Люблинской Унией между Коронай-Польши и Великим Княжеством, с 1569 г. И лишь впоследствии большевистской революцией, да раздорами польско-литовско-белорусских национализмов, вековое единство разорвано на куски.

Вот об этом-то крае и повествует Павликовский. Автор — страстный охотник. Отсюда его тонкое чувство природы. Иногда, сквозь рассказ, как бы слышатся легкие шаги по летнему песку приозерья; тихий шелест мха под ступней мягкого сапога; бурчание воды, выдавленной меж травянистыми кочками березняка. Эх, край родной! Не забыть. Потянулись нерубленные леса Березины, пыльные дороги сбегające где-то к пармам. «Нескорый дальний путь» сквозь прибрежные туманы, и ранним утром завтраки на изрезанном столе еврейской корчмы. Бывает, вихрь рвет-вытягивает по-весеннему беспомощные ветки тополей, шумит над проселочным распутием. Где-то стучит непокорная ставня; тяжело, через «в'улицу» ступает мужик, не обходя луж. А там, впереди, в необъятном будущем, опять лето; и сурово позеленеют хвойные пуши, расцветут на радость страннику нежные, придорожные цветы. Приземились, растянулись села-деревни; посередине непролазное болото, низом — лай собак, верхом — дым нехотя тянется в облачное по-будничному небо. Большое количество бессолнечных дней, зелено, сыро; бывает туманно, снежно и трескуче-морозно. Бедно? Уныло? Кто его ведает, может кому и так, для кого чужды бесконечные просторы от Полангена до Днепра, от Задвинья до вязких чащ и топей Полесья, далеко-далеко за Припять. Казалось бы, по чем тут скучать да тосковать? Что не проносятся больше по аллеям панские экипажи? Что не блещут огни в окнах шляхетских усадеб? Почему Павликовский, почему мы все, смотрим на оставшуюся попржнему землю, как на что-то пропавшее, на не-вернуть-бывший пейзаж? Ведь знаем же мы наизусть, что и сегодня последними в осень улетят грачи, и с первым узором морозного инея прилетят с севера те же снегири, те же свирстели... В чем же, в чем кроется существенная разница между пасмурным утром бывшего и пасмурным утром БССР?

Я знаю в чем разница. Я лично извезал эту разницу, ставши в подсоветское время ломовым извозчиком, исколесившим родную страну в беспросветную пору постигшего ее несчастья. Это разница между меланхолией и безнадежной скукой. Вот она, травящая нутро жизни скука! Как будто солнце восхо-

дит и заходит, а посмотришь кругом, — и откуда-то появляется в углах рта морщина омерзения. Не нагнется ранней весной мужик над пашней, не подымет комья с собственной десятины, не скомкает, в мозолистых пальцах. Не охота. Опостытели вдруг и леса, и поля, и под коллектив взятые деревни. Оттого ли, что ничто уже не принадлежит ни Богу, ни людям? Правда и то, что нет больше ни панского, ни казенного, ни церковного, но нет и мужицкого, а всё, что ни есть, и рыба в пруде, и птицы в саду и те, всё-всё, и судьба человеческая, стали — «социалистическими»...

Но вернемся к дням, вспоминаемым Павликовским, дням до воцарения этого идола всемирной скуки. Автор ничего не приукрашает, ничего не переименовывает. Его герой, Иртенский, воспринимает окружающую жизнь так, как большинство ему подобных, по дворянской потомственной традиции хозяев этого края, издавна принявших польскую культуру. Общественные и политические взгляды Иртенского тождественны с взглядами его среды: белорусская, крестьянская масса, сырой аполитический материал (каким она, в действительности, и была в те годы), с которой считаться не приходится; территория же б. Великого Княжества Литовского неразлучно связана с польской «Короной». И в этом автор, конечно, прав. Если с он стал подгонять тогдашние взгляды к сегодняшним политическим «уклонам», да заискивал бы, и щеголял «прогрессивностью» перед обязывающей линией демократии, то говорил бы, попросту, неправду. Было так, как было. Люди, общество, помещики, чиновники, личные и казенные дела, деньги. Юность, студенчество, охота, любовь, мелкие страдания, большие радости.

Не тайна, раз уж опубликована эта вещь, что Павликовский хотел сначала дать описанию тех времен заглавие: «Сказка...» Вот тебе на! Были ли — спрашивается — распространены почти в каждом польском доме изображения Польши в виде девицы, скованной кандалами неволи, или не были? Были. Как же, в таком случае, сочетать этот факт с понятием «сказки»? Только из-за тоски по юным годам, обыкновенно воплощающим «старые, добрые времена»? Несомненно; но, думается, это не единственная причина тоски по «сказочности» минувшего. Есть еще что-то другое по чем поневоле затоскует порой, измощенная в «массовой культуре», человеческая душа. Это тоска по жизни на правах стопроцентного «частника». Понятно, что такая жизнь ближе к раю, чем другая. Дал же Господь Бог человеку свободную волю. Ну вот, и делай с ней что тебе хо-

чается. Бесспорно, это — право реакционного типа, контрреволюционного порядка, но зато дающее возможность, хотя бы только в воспоминаниях, уйти от сегодняшнего коллективизма.

Царская Россия не была страной демократической; но в последние годы была страной либеральной. Демократия это еще не свобода, это пока только равенство. Свобода это либерализм. Сочетание равенства со свободой, — идеал, к которому стремимся мы все. Об идеале и помину не было! Нельзя сказать, чтобы царская Россия была государством, основанном на общественной несправедливости. Справедливости можно было добиться иногда скорее, чем в какой-нибудь сегодняшней демократии. Но Россия была страной, основанной на большом неравенстве. В сущности, несмотря на драконовские иногда меры по руссификации «инородцев», внутренняя структура государства опиралась не на нации, а на сословия. Вот почему тогдашнее преследование национальных освободительных движений, несовместимо с нынешним понятием «преследования». Ибо ныне национальное преследование не отделимо связано с личной свободой человека. Тогда же, по единственному обстоятельству, что 80% польских политических деятелей принадлежали еще к сословию дворянства, личная их судьба была такова, что «угнетаемым» могли завидовать 80% «угнетателей», поскольку три четверти русского народа принадлежали к крестьянскому сословию, лишенному дворянских привилегий, и в принципе, и из-за тех действительных материальных выгод, которыми пользовалось высшее по сословию общество. К тому же надлежит прибавить вескую особенность старого мира, на которую совершенно справедливо обращает внимание проф. Степун в своих воспоминаниях, а именно, что царское правительство не занималось «воспитанием человека». Запрещая политическую деятельность, не вмешивалось в частную жизнь. Тогда еще не было великой воспитательницы человека, коммунистической партии, так что люди, естественно, жили на более веселый, старый лад. Помнится, как в чеховской «Степи», нагрянуло вдруг на еврейский заезжий двор блестящее явление графини Браницкой, и все тотчас стали перед ней с глубокой почтительностью склонив головы, а сам хозяин, Мойсей Мойсеевич, метался даже как угорелый, забыв и про других гостей и как бы про весь свет Божий. А ведь известно было, «что в графининой гостиной висели портреты всех польских королей». Так вот. А в других гостиных висели упомянутые изображения Польши, скованной кандалами русской неволи, или знаменитые картины Гроттгера, воспевающие польское восстание 1863 го-

да. Разумеется, были многие, кто шли и в порьму и в Сибирь. Но, так сказать, на местах, борьба за «удержание национального владения» велась в несвойственном позднейшим преследованиям *entourage*, то-есть с некоторыми удобствами.

Понятно, это говорится не в назидание будущим поколениям, не в похвалу и не в упрек. А ради лишь констатации объективного положения вещей. Впрочем, Павликовский относительно редко затрагивает эту политическую сторону жизни. Он больше касается самой жизни. Назиданий в его превосходной книге нет никаких, хотя есть много поучительного. Зато — великолепная плеяда разнообразных типов, чудаков, иногда самодуров, обыкновенных прожигателей будничных дней и полноценных представителей общества. Люди положительные, люди отрицательные. Это, конечно, везде так, и естественно, на берегах Вилии, Березины и Припяти не могло быть иначе. Многогранность не нова. Она именно: стара. А на старину слишком уж часто смотрят односторонне. И помнят ее уж не многие. Их число уменьшается из года в год.

Жаль, что «Фадей Иртенский» не издан на русском языке. Это книга большой ценности.

*Иосиф Мацкевич*

# ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. Н. БУНИНОЙ-МУРОМЦЕВОЙ

*После получения И. А. Буниним нобелевской премии в русской печати были опубликованы статьи, в которых рассказывалось, как Иван Алексеевич Бунин узнал о присуждении ему нобелевской премии. В архиве Веры Николаевны Буниной сохранилась небольшая рукопись — пять страниц, написанных ее рукой, — которая озаглавлена: «То, что я запомнила о Нобелевской премии». Написала эти воспоминания Вера Николаевна в Грассе, на вилле Бельведер, после того, как отшумели нобелевские дни. Публикую точные ее воспоминания с небольшими пропусками, которые отмечаю строкой многоточий.*

Леонид Зуров

## ТО, ЧТО Я ЗАПОМНИЛА О НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

9 ноября. Завтрак. Едим гречневую кашу. Все внутренне волнуемся, но стараемся быть покойными. Телеграмма Кальгрена<sup>1</sup> нарушила наш покой. Он спрашивал, какое подданство у Яна.<sup>2</sup> Ответили: *refugié russe*. Мы не знаем, хорошо это или плохо.

Перед завтраком Леня<sup>3</sup> мне говорит: «вот теперь чистят фраки-мундиры, готовятся к заседанию, бреются».

За завтраком я: — «Давай играть в тотализатор. Ян, ты за кого?» — «Мне кажется, дадут финляндцу, у него много шансов...» — «А вы, Галя?»<sup>4</sup> — «Не знаю... ничего не могу ска-

---

<sup>1</sup> Шведский переводчик. Л. З.

<sup>2</sup> Яном Вера Николаевна называла Ивана Алексеевича Бунина.  
Л. З.

<sup>3</sup> Писатель Л. Ф. Зуров. Л. З.

<sup>4</sup> Поэтесса Галина Николаевна Кузнецова. Л. З.

зять». Я: — «А мне кажется, если не русскому, то португальцу скорее».

. . . . .

После завтрака все разошлись. Ян сел опять писать. Галя предложила кино. Он ответил неопределенно. Часа полтора писал. Погода была хмурая. К нам пришла *femme de ménage*.

В синема всё же пошли. Леня не пошел, сказав, что будет ждать телеграммы, и спросил, в каком (синема Л. З.) они будут.

Я велела затопить ванну и около 4 ч. взяла ее. Затем легла и стала читать в ожидании, когда молодая новая наша *femme de ménage* выгладит белье, и мы с ней примемся за стирку. Перед этим я помолилась.

Звонок по телефону. Прошу Леню подойти. Через секунду он зовет меня. Беру трубку. Спрашивают: хочу ли я принять телефон из Стокгольма. Тут меня охватывает волнение, главное — говорить через тысячи километров. И когда мне снова звонят и я сквозь шум, гул, какие-то голоса, улавливаю отдельные слова:

“*Votre mari, prix Nobel, voudrais parler à Mr. Bunine...*” — то моя рука начинает ходить ходуном.... Я прошу Леню взять второй «слушатель». И говорю:

“*Mon mari est sorti, dans une petite demi-heure il va rentrer*” — и мы опять оба слышим, что это из газеты, но название не удерживается в памяти, и опять отдельные слова долетают до нас из далекого Стокгольма: “*votre mari*”, “*prix Nobel...*”

Леня летит в синема. Денег не берет: «так пройду»... И я остаюсь одна, и двадцать минут проходят для меня в крайне напряженном волнении. Спускаюсь на кухню, где гладит хорошенькая свеженькая, только что вышедшая замуж женщина. Я сообщаю ей, что вот очень важное событие, может быть, случилось, но я еще не уверена. И вдруг меня охватывает беспокойство — а вдруг это кто-нибудь подшутил... И я бросаюсь к телефону и спрашиваю, правда ли, что нам звонили из Стокгольма? Со станции удивленно: «да ведь вы не приняли его (телефонный разговор Л. З.)». Я начинаю вывертываться, говорить, что это была не я, и я только что пришла домой, и мне сообщили, что был звонок, — это очень для нас важно. — «Да,

из Стокгольма». — «Ну, думаю, из Стокгольма, шутить не станут — дорого!» И я успокоилась, сошла в кабинет и помолилась.

. . . . .

Опять звонок. Посылаю за Жозефом,<sup>5</sup> не надеясь на свой слух — он стал у меня портиться.

Звонок из Копенгагена. Жозеф объясняет, что он друг наш, что *M. Bounine va rentrer dans un petit quart d'heure*, *M-me Bounine* у телефона. И я даю впервые по телефону в Данию интервью на французском языке — это волнует меня больше, чем сама премия. Спрашивают, давно ли во Франции? Когда покинули Россию? Приедем ли в Стокгольм и поеду ли я?...

Слышу голоса внизу, говорю: *M. Bounine est rentré* и бросаюсь к лестнице, по которой подымается Ян.

— Поздравляю тебя, — говорю я, целуя, — иди к телефону.

— Я еще не верю...

Он вернулся с Леней, Галя пошла к сапожнику, вспомнив что я без башмаков, не могу выйти. Леня мне рассказал: вошел в зрительный зал, пропустили даром. Галя обернулась и замерла. И. А. (Иван Алексеевич, Л. З.) смотрел на сцену. Я подошел. Наклонился, поцеловал и сказал: «Поздравляю. Нобелевская премия ваша!...» Дорóгой я ему всё рассказал. Он был спокоен.

Вернулась Галя с башмаками. Телеграмма от Шассена<sup>6</sup> и Академии<sup>7</sup>. Шассен пишет — Академия спрашивает, принимает ли Ян премию?

Телефон опять из Стокгольма. Отвечает Галя, как лучше всех слышащая.

Тут ссора. Я хочу послать телеграмму Боре,<sup>8</sup> он просил его известить немедленно. Ян же говорит, что он сам напишет, и не пишет, а сейчас уходит *femme de ménage*, которая может и бросить ее. Но ведь у нас всегда всё усложняется, и самое простое превращается в самое сложное.

<sup>5</sup> Жозеф — итальянец, живший по соседству. Работал у Буниных поваром. Л. З.

<sup>6</sup> Серж де Шассен — французский писатель и журналист, представитель французской печати в Стокгольме. Друг Буниных. Л. З.

<sup>7</sup> Шведская Академия. Л. З.

<sup>8</sup> Писатель Борис Константинович Зайцев. Л. З.

Но всё же я добилась, и телеграмму Ян написал. У Яна нет совершенно чувства необходимости быстроты. Бунинское недоверие, раздумывание, боязнь попасть впросак...

После еще одного телефона, Ян ушел гулять: «хочу побыть один». Мы остались втроем, сидя на моей постели у телефона. И опять из Стокгольма — русский женский голос, как потом оказалось, M-me Brosset, жена нашего быв. консула в Стокгольме. Слышно было хорошо и я ей ответила почти на все ее вопросы. Некоторые оставила Яну.

Жозеф спросил нас, нужно ли на завтра кашу, и мы все трое хором радостно ответили: поп, поп, поп!!! Это был самый радостный момент.

Звонок у двери. Опять телеграммы и интервьюер. Схожу вниз в столовую. Высокий швед. Прошу садиться. Сама опускаюсь в кресло. Он профессор гимнастики. Он подробно расспрашивал о Яне, о его жизни с детства. Я вкратце рассказывала. И когда дошла до его жизни в Полтаве, он оживился. Стал расспрашивать, но в этот момент вернулся Ян из своей одинокой прогулки. И когда услышал слово Полтава, зашепшил, сказав, что был там проездом. Тут я вспомнила о полтавском бое... и тоже постаралась перевести разговор. Но он сказал, что очень интересуется этим местом... Сидел долго. Просил книгу, портрет, хотя бы маленькую фотографию. Но Ян не дал. Он вообще как-то недоверчиво отнесся. И я поняла, что он как-то перестал доверять моему чутью. Я сказала, что мы вышлем фотографию и книгу.

Обед очень скромный, но с шампанским и хорошим красным вином. Жозеф сказал спич — очень хорошо!

Во время обеда — звонки, телеграммы. Звонил из «П. Н.» («Последних Новостей». Л. З.) Алданов и другие.

В девятом часу Галя с Яиом ушли. Я после ванны боялась, да и звонки нужно было принимать, могли быть иностранные. Звонили и Аминад,<sup>9</sup> и Роцин, и из Стокгольма, и из других столиц. А Яна на Mont-Fleuri<sup>10</sup> поймали из двух газет ниццских,

<sup>9</sup> Писатель и поэт Дон Аминадо (Аминад Петрович Шполянский). Л. З.

<sup>10</sup> Соседняя вилла с прекрасным парком. Когда-то Бунны проживали в ней. Ее никто не снимал. Владельцем был Рукье (мэр города Грасса), которому принадлежала и вилла Бельведер. Л. З.

снимали и расспрашивали. Галя направила разговор на литературную тему. Когда они вернулись, то снова звонки и снова интервью и по-русски и по-французски. И из газет, и от друзей.

К одиннадцати часам всё кончилось. Легли спать. Но едва ли вилла Бельведер хорошо спала в эту ночь. Всякий думал свои думы. Кончилась часть нашей жизни, очень тихой, бедной, но чистой и незаметной.

*В. Бунина-Муромцева*

# ТРОЦКИЙ

## 1

В середине января 1923 года, в Петербурге, зашел ко мне на Кирочную улицу Корней Чуковский и сообщил, что из Москвы приехал Вячеслав Полонский с «важными заказами» для питерских художников и что он хочет со мной познакомиться. Полонский состоял тогда председателем Высшего Военного Редакционного Совета (ВВРС). Мы уговорились встретиться в тот же вечер у Чуковского, где я и познакомился с Полонским.

Речь шла об устройстве художественной выставки, посвященной пятилетию Красной Армии. Выставка эта должна была положить начало художественному отделу Музея Красной Армии. Полонский был уполномочен дать соответствующие заказы ряду художников. Что касалось, в частности, меня, то Полонский, рассказав о своем интересе к моим портретным работам, предложил мне исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета и — в первую очередь — Троцкого.

Мы тут же заключили договор, а через несколько дней я приехал в Москву. Там, в полдень (я только что успел привести себя в порядок с дороги) ко мне явился молодой адъютант председателя Реввоенсовета с предложением сейчас же отправиться к Троцкому, который немедленно меня примет. В здании Реввоенсовета, на Знаменке, поднявшись на второй этаж и пройдя по ряду корридоров с расставленными у дверей молодцеватыми, подтянутыми часовыми, проверявшими пропуска с неумолимым и бесстрастным видом, я очутился в приемной Троцкого. Огромный высокий зал был наполнен полумраком и тишиной. Тяжелые шторы скрывали морозный свет зимнего дня. На стенах висели карты Советского Союза и его отдельных областей, испещренных красными линиями. За столом, у стены, сидели четверо военных. Зеленый стеклянный абажур, склоненный над столом, распространял по комнате су-меречный уют и деловитость.

Как только я вошел в комнату, все четверо мгновенно встали, и один из них, красивый и щеголеватый дежурный адъютант, неспешно подошел ко мне по малиновому ковру.

— Художник Анненков? — спросил он.

— Да.

— Лев Давыдович вас сейчас примет.

Щеголеватый адъютант снял телефонную трубку и через несколько секунд снова обратился ко мне:

— Можете пройти в кабинет.

Он проводил меня до двери и, слегка приоткрыв ее, вполголоса прибавил:

— Налево, к окну.

Я вспомнил — у Толстого: «Затем князь Андрей был подведен к двери и дежурный шопотом сказал: направо к окну...»

Проходя в кабинет я слышал, как за моей спиной военные снова садились в кресла.



По рассказам, чаще всего — злобным и язвительным, — Троцкий был маленького роста, щупленький человек. Ничего подобного: он был высок, коренаст, плечист и прекрасно сложен. Его глаза, сквозь стекла пенсне, блестели энергией. Он встретил меня весьма любезно, почти дружелюбно, и сразу же сказал:

— Я хорошо знаю вас, как художника. Я знаю, что до войны вы работали в Париже. Я знаю ваши иллюстрации к «Двенадцати» Блока, и у меня есть книга о ваших портретах.<sup>1</sup> Я знаю так же о вашем участии в «массовых зрелищах».<sup>2</sup> Надеюсь что вы тоже слышали кое-что обо мне, и, значит, мы — давние знакомые. Присядем.

---

<sup>1</sup> Юрий Анненков. Портреты. Текст Е. Замятина, М. Кузмина, М. Бабенчикова. Изд. «Петрополис». 1922.

<sup>2</sup> «Гимн Освобождения Труда», 1 мая 1920 г. и «Взятие Зимнего Дворца», 25 октября 1920 г.

Мы сели. Троцкий заговорил об искусстве. Но — не о русских художниках. Он говорил о «парижской школе» и о французской живописи вообще. Он упоминал имена Матисса, Дерэна, Пикассо, но, постепенно, углублялся в историю. Особенно интересными были для меня довольно колкие замечания Троцкого о том, что революция никак не отразилась в искусстве.

— Разве в Давидовском «Убийстве Марата», — говорил Троцкий, — есть что-нибудь от революции? Решительно ничего. Один анекдот: голый Марат в ванне. Разве знаменитая «Свобода, ведущая народ» Делакруа выражает **сущность** революции? Конечно, нет. Ребенок с двумя пистолетами, какой-то романтик в цилиндре, идущие по трупам, во главе с античной красавицей, обнажившей груди и несущей трехцветный флаг? Романтический анекдот, несмотря на прекрасные живописные качества. Но в «Коронации Наполеона и Жозефины» тот же Давид сумел блестяще выразить всю торжественную бессмыслицу этого обряда... Портрет, пейзаж, мертвая натура, интерьер, любовь, быт, война, исторические события, веселье, грусть, трагедия, даже — безумие (вспомним хотя бы «Сумасшедшую» Жерико) — всё это получило свое выражение в живописи. Но революция и искусство — это единение еще не найдено.

Я возразил Троцкому, что революция в искусстве есть, прежде всего, революция его форм выражения.

— Вы правы, — ответил Троцкий, — но это революция местная, революция самого искусства, и притом — очень замкнутая, недоступная широкому зрителю. Я же говорю об **отражении** общей, человеческой революции в так называемом «изобразительном» искусстве, которое существует тысячелетия. «Тайная Вечеря» — есть; «Распятие» — есть; даже — «Страшный Суд» есть, да еще какой Микельанжеловский! А революция? Революции я не видел. Картины пишущиеся сейчас советскими живописцами, стремящимися «отобразить» революционную стихию, революционный пафос — нищенски недостойны не только революции, но и самого искусства...

Побеседовав минут двадцать, я стал прощаться. Троцкий сообщил мне, что завтра он уезжает к себе в «ставку», верстах в двадцати под Москвой, и что послезавтра будет там ждать меня для работы.

\*\*  
\*

С этой первой встречи Троцкий превращается для меня из «исторического персонажа» в живого человека и — еще скромнее — в «лично знакомого».

Через день, в условленный час, за мной прислали из Реввоенсовета машину, и я отправился в «ставку», забрав с собой все необходимое для рисования. Ставка помещалась в богатейшем национализированном имении князей Юсуповых — Архангельское. Стояла сверкающая зима, снег и иней блестели под ярким солнцем. Около ворот имения, находящихся за полверсты от дома, стояли часовые. Увидев знакомую машину, они вытянулись во фронт и откозыряли, глядя на меня. Но еще в пути одна вещь меня удивила: по краям дороги, почти на всем расстоянии между Москвой и «ставкой», — заржавленные каркасы броневых машин и разбитых орудий, воспоминания о гражданской войне, высывались из снежных сугробов. Прошло уже полных три года со времени боев (да и были ли они в этом подмосковье?). Иностранные дипломаты и военные представители часто ездили в «ставку» к Троцкому. Какое впечатление мог произвести на них подобный пейзаж? Как-то в одну из наших бесед, я выразил Троцкому мое удивление по поводу столь мрачного и так легко упразднимого обрамления дороги.

— Стратегическая маскировка, — ответил Троцкий, — пусть пока капиталистам кажется, что у нас — полный бедлам, что наша революция — не более чем временный **местный** кризис, вызванный военными неудачами и что иностранным капиталистам беспокоиться нечего. Вот и все. Тактика, товарищ!

И, улыбнувшись, добавил:

— Однако, в скором времени та же тактика потребует **обратной** маскировки. Когда станет ясным, что наш бедлам не прекращается, но географически расширяется, то нужно будет сделать так, чтобы капиталистическим странам стало страшно пойти против нас. И вот, принимая у себя представителей капиталистического мира, гниющего Запада, мы будем показывать им торжественные парады, силу нашей военной «мощи» и ее организованность.

Такая «обратная маскировка» наступила уже при Сталине и распухает до сих пор с каждым днем до невероятных размеров. В обоих случаях капиталисты поверили, вследствие чего, из года в год и продолжают терять свои позиции.



Я бывал в «ставке» раз пять, если не больше, и два раза там ночевал. В роскошно обставленных комнатах я любовался произведениями Тьеполо, Бушэ, Фрагонара и других мастеров той же эпохи. Встречался я с Троцким также и в помещении Реввоенсовета, где познакомился и подружился с его заместителем на посту председателя Реввоенсовета, Эфраимом Склянским, с которого мне тоже пришлось написать портрет.

В «ставке» я сделал три карандашных рисунка с Троцкого, в натуральную величину (бюсты), печатные воспроизведения которых появлялись впоследствии почти во всех странах (иногда даже без упоминания имени автора). В выпущенном Госиздатом, в 1926 году, огромном (56 × 49 см) и прекрасно отпечатанном альбоме, озаглавленном «Юрий Анненков. Семнадцать портретов», Анатолий Луначарский (тогда — народный комиссар просвещения) писал в своем предисловии об этих рисунках:

«Конструктивист возобладал в Анненкове над реалистом. Это словно не портрет живого Троцкого, а рисунок, сделанный с какой-то очень талантливой гранитной статуи т. Троцкого. Нет, здесь уже нет ни капли ни доброты, ни юмора, здесь даже, как будто, мало человеческого. Перед нами чеканный, гранитный, металлически-угловатый образ, притом внутренне стиснутый настоящей судорогой воли. В профильном портрете, родственном известному монументальному анненковскому портрету т. Троцкого, к этому прибавилась еще гроза на челе. Здесь т. Троцкий угрожающ. Анненков придал т. Троцкому люциферовские черты. Я, конечно, оставляю целиком на ответственности художника такую характеристику т. Троцкого. Я ведь здесь не его характеризую, а стараюсь передать на словах трактовку его Анненковым. А у этого художника — огромный диапазон».

Альбом содержит два портрета Троцкого, четыре портрета Г. Зиновьева и — по одному портрету — В. Мейерхольда, К. Радека, В. Антонова-Овсенко, Э. Склянского, К. Ворошилова, В. Зофа, Н. Муралова, А. Енукидзе, М. Роя, а также — А. Луначарского.

О своем портрете Луначарский писал в том же предисловии:

«Смею добавить, что ни одно из моих изображений, какое я знаю, будь то рисунки или фотографии, не может быть даже сравниваемо с превосходным листом, который посвятил моей скромной особе художник».

Довольно длинное и чрезвычайно лестное «предисловие» Луначарского заканчивалось следующей фразой:

«Да, талант Юрия Анненкова и неподражаемая техника Гиза (Госуд. Издат.) преподносят не одному только нашему поколению такой прекрасный подарок».

Оптимизм наивного Анатолия Васильевича, увы, не оправдался. В 1928 году, через два года после выхода в свет моего альбома, этот альбом был, по приказу Сталина, изъят в СССР из всех библиотек, магазинов и частных собраний и предан уничтожению, за исключением страницы с портретом Ворошилова, ставшего сталинским приверженцем. Троцкий был убит, Мейерхольд погиб в тюрьме, Каменев — расстрелян, Радек умер в тюрьме, Антонов-Овсенко — расстрелян, Зиновьев — расстрелян, Склянский погиб при странных обстоятельствах, Зоф — расстрелян, Муралов — расстрелян, Енукидзе — расстрелян. Во время сталинских «чисток», за исключением Ворошилова, только две из этих моделей уцелели: Луначарский, назначенный послом в Испанию, но, не успев доехать туда, скончавшийся на юге Франции, и Рой, представлявший в Москве, в центральном комитете III-го Интернационала, индусскую коммунистическую партию, но сумевший вовремя выбраться из Советского Союза и вернуться в Индию, разойдясь со сталинской генеральной линией.

Портрет Роя, под названием «Голова Индуса», был, в 1937 году, приобретен у меня в Париже Русским (эмигрантским) Культурно-Историческим Музеем при Русском Свободном Университете в Праге и воспроизведен в книге, посвященной этому Музею («Русское искусство за рубежом», текст Вал. Булгакова и Алексея Юпатова, с предисловием Н. К. Фериха, Прага-Рига, 1938). Что стало с этим музеем (и — с «Головой Индуса») после советизации Чехословакии — мне неизвестно.

\*\*  
\*

Мои беседы с Троцким скользили с темы на тему, часто не имея никакой связи с событиями дня и с революцией. Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова. Он

интересовался и был всегда в курсе художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе. В этом отношении он являлся редким исключением среди «вождей революции». К нему приближались Радек, Раковский, Красин и, в несколько меньшей мере, Луначарский (несмотря на то, что именно он занимал пост Народного Комиссара Просвещения). Культурный уровень большинства советских властителей был не высок. Это были очень способные захватчики, одни с идеологическим уклоном, другие — как Сталин — с практической «неуклонностью». Несовместимость интеллигентов с захватчиками становилась ясной уже в первые годы революции. Объединение и совместные действия этих столь разнородных элементов были только результатом случайного совпадения: рано или поздно, они должны были оказаться противниками. И, как всегда в такой борьбе, интеллигенции было предназначено потерпеть поражение.

\*\*

Однажды, когда я заработался до довольно позднего часа, Троцкий предложил мне переночевать у него в «ставке». Я согласился. Красноармеец постелил на удобном «барском» диване, в кабинете, чистую простыню, одеяло и положил подушку в наволочке с инициалами прежних хозяев имения. Почитав на сон газету, я загасил лампу и задремал, но, сквозь дремоту, вдруг расслышал неопределенный, затушеванный шумок. Я приоткрыл глаза и увидел, как Троцкий, с маленьким карманным фонариком в руке, войдя в кабинет, прокрадывался к письменному столу. Он старался не производить никакого шума, могущего меня разбудить. Но ходить на ципочках, на «пальцах», как балетные танцоры, было для него непривычным и он терял равновесие, покачивался, балансируя руками и с трудом делая шаг за шагом. Забрав со стола какие-то бумаги, Троцкий оглянулся на меня: мои глаза были едва приоткрыты, и я сохранял вид спящего. Троцкий с тем же трудом и старанием, вышел из кабинета и бесшумно закрыл дверь.

Нужно было жить в обстановке тех лет, в России, чтобы почувствовать всю неожиданность подобной деликатности со стороны вождя Красной Армии и «перманентной» революции.

\*\*  
\*

В дальнейшем я часто встречался с Троцким в здании Реввоенсовета и... в национализированном доме Льва Толстого, в Хамовническом переулке, где подготовлялся музей писателя. В этом доме мне была отведена обширная комната, в которой я должен был исполнять монументальный портрет Троцкого (около четырех аршин в высоту и трех — в ширину) и куда, по этому случаю, доставили огромный мольберт. Тогда же мне была выдана, за подписью Склянского, специальная карточка, разрешавшая завтракать и обедать в столовой Реввоенсовета. Никаких «Яров» и прочих ресторанов, с балаганчиками и цыганскими хорами, в Москве уже не было: они поспешно перебрались в Париж.

Как-то, в коридоре Реввоенсовета, посыльный, мальчик лет пятнадцати, одетый в красноармейскую форму, увидев Троцкого, встал во фронт и лихо шелкнул каблуками, отдав честь. Улыбнувшись, Троцкий произнес:

— Здорово, мальчуган! Но ты должен знать, что честь отдают только тогда, когда на голове фуражка: это даже называется «kozyрять», «отkozyрять». А если голова, как сейчас у тебя, голая, то следует только становиться во фронт, руки по швам.

— Слушаюсь, товарищ Троцкий! — ответил мальчик, снова шелкнув каблуками и снова машинально «kozyрнув».

Испугавшись своей оплошности, мальчик воскликнул:

— Извиняюсь, товарищ Троцкий!

Троцкий засмеялся:

— Катись, катись! Ничего страшного!

— Так точно, товарищ Троцкий!

Руки на этот раз были «по швам».

Я спросил у Троцкого, каким образом он ознакомился со всеми мелочами военных условностей? Он ответил мне довольно длинной тирадой, которую впоследствии, я почти дословно прочитал в его книге «Моя жизнь», выпущенной уже за границей. Желая быть наиболее точным, я приведу здесь в качестве ответа Троцкого, выдержку из этой книги:

«Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не довелось даже служить в свое время в царской ар-

мии. Мировая война всех на свете приблизила к вопросам милитаризма, в том числе и меня. Но дело шло все же прежде всего о войне, как продолжении политики, и об армии, как ее оруди. Организационные и технические проблемы милитаризма всё еще отступали для меня на задний план...

В парламентарных государствах во главе военного и морского министерств не раз становились адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущественно из окна редакции, только более комфортабельной... Это достаточно объясняет, почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласием на нее только потому, что некому было иначе за нее взяться.

Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом... Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, в защите Петрограда и в войне с Пилсудским, я занимал самостоятельную стратегическую позицию и боролся за нее то против командования, то против большинства Ц.К. Но в этих случаях стратегическая позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться».

— Вот и всё, — добавил Троцкий, — я формировал нашу армию, а армия формировала Троцкого. Таким образом, я постепенно освоился со всякой чепухой военщины, до маршировки и даже до отдания чести включительно.

Но, по существу, вся эта «чепуха военщины» была глубоко чужда Троцкому. Это происходило в эпоху, когда сорванные революцией военные погоны и эполеты еще считались символом свергнутого строя. Известный московский портной, имя которого я запомнил, одевавший до революции московских богачей и франтов, был поставлен во главе «народной портняжной мастерской», доступной, конечно, только членам советского правительства и партийным верхам. В этой «народной мастерской» был шит, с дипломатическими целями, «исторический» фрак наркома иностранных дел Г. В. Чичерина. Мне случайно довелось увидеть этот фрак еще в незаконченном виде, и портной, подмигнув, сказал:

— Вот, полюбуйте: первый **рабоче-крестьянский** фрак!

Чичерин появился в нем впервые на международной конференции в Генуе, в 1922 году.

Тот же портной одевал первых советских послов («полномочных представителей»), и он же изготовлял военное обмундирование для высшего командного состава Красной Армии. Между прочим: художник, автор первой красноармейской беспогонной формы с суконным шлемом былинного стиля с красной звездой, был, почему-то, довольно скоро после этого расстрелян...

Когда все мои эскизы к портрету Троцкого были закончены, и я должен был приступить к холсту, уже стоявшему на мольберте в доме Толстого, Троцкий разговаривая со мной в Реввоенсовете, сказал, полушутя, полусерьезно:

— А как же мне нарядиться для портрета? Позировать в военной форме мне бы не хотелось. Могли бы вы набросать что-нибудь соответствующее для нашего портного?

Я «набросал» карандашом темную, непромокаемую шинель с большим карманом на середине груди, и фуражку из черной кожи, снабженную защитными очками. Мужичьи сапоги, широкий черный кожаный кушак и перчатки, тоже из черной кожи, с обшлагами, прикрывавшими рукава почти до локтя, дополняли этот костюм. Вспоминаю, как во время одной из примерок, я сказал:

— В этом нет ничего военного.

Троцкий улыбнулся:

— Но в этом есть что-то трагическое.

— Не трагическое, — ответил я, тоже рассмеявшись, — но угрожающее.

В этой «одежде революции» Троцкий позировал мне для своего четырехаршинного портрета. В этом же костюме Троцкий был снят рядом со мной правительственным фотографом. Этот снимок у меня сохранился до сих пор и, в свое время (1923) оказал мне неожиданную услугу. Я жил в Москве на Пречистенке (в здании Академии Художественных Наук), в первом этаже. Вход в квартиру был со двора, ворота которого наглухо закрывались на ночь, и у жильцов дома был ключ, которым открывалась калитка. Как-то ночью, возвращаясь домой я обнаружил, что забыл ключ в квартире. Звонок само собой разумеется не действовал. Я подошел к окну моей комнаты и нажал на его раму. Окно распахнулось: по счастью, оно не было заперто на задвижку. Обрадованный, я начал карабкаться

на подоконник, чтобы перелезть в мою комнату, но чья-то рука схватила меня за плечо. Передо мной стояли два милиционера, которые потребовали у меня объяснений. Но рассказ о забытом ключе их не убедил.

— По ночам через окна порядочные не лазют! Предъявить документы!

Голос милиционера был неумолим. Ни «личной карточки», ни иных документов у меня с собой не оказалось, но в бумажнике нашлась моя фотография с Троцким. Я показал ее милиционерам. Они сразу же узнали «любимого вождя» и, возвращая мне карточку, один из них сказал изменившимся голосом:

— Ладно, лезьте!

— Молчи! — прервал его другой милиционер и, повернувшись ко мне, произнес:

— Мы приносим вам, уважаемый товарищ, наши извинения. Вы видели, как советская милиция бдительна.

Подтолкнув меня на подоконник и откозыряв, они твердым шагом удалились в безфонарную ночную тьму тогдашней Москвы.

\*\*  
\*

Последняя примерка костюма Троцкого происходила в его «ставке». Часов в 11 утра портной уехал в Москву. Я остался завтракать у Троцкого и должен был уехать только около 3 часов пополудни. Перед моим отъездом Троцкий оглядел меня с головы до ног и заявил:

— Что же касается вашего собственного костюма, то он мне не нравится; в особенности, ваши легкие городские ботинки: они вызывают во мне страх при теперешнем тридцатиградусном морозе. Я вас обую по-моему.

И он повел меня в особую комнату, служившую складом, полным всевозможных гардеробных подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки и пр.

— Это всё подарки и подношения, с которыми я не знаю, куда деваться, — пояснил Троцкий, — пожалуйста не стесняйтесь!

И он выбрал для меня замечательную пару серовато-желтых валенок на тонкой кожаной подкладке и с неизносимыми кожаными подошвами. Они были мне несколько велики и подымались почти до самого верха бедер. Мне казалось, что я обулся в семиверстные сапоги. Внутри валенок было выбито золотыми буквами следующее посвящение: — «Нашему любимому Вождю, товарищу Троцкому — рабочие Фетро-Треста в Уральске».

Троцкий улыбнулся:

— Прекрасно! Теперь мы сквиталнсь, и моя совесть очистилась!

Я сохранял в моем шкафу эти валенки до самого отъезда за границу...

\*\*  
\*

Писать портрет пришлось долго: 12 квадратных аршин. Весь верх картины, то-есть, — лицо, я должен был писать, сидя на складной лестнице. Троцкий приходил очень точно в назначенный час, раза по три в неделю, и — в моей мастерской — переодевался в «одежду революции», хранившуюся здесь же на столе.

В комнате висели два небольших фотографических портрета Толстого: один, вероятно, был ровесником Анны Карениной, другой был сделан лет за 5 до трагической смерти Толстого. Когда приходил Троцкий, мы, конечно, говорили о Толстом. Преклонение Троцкого перед Толстым было нескрываемо. Троцкий рассказывал мне, как, в юности, он находился под влиянием толстовского мироощущения и что «одна мужицкая рубаха графа Толстого стоит половины всего Тургенева».

Троцкий уходил, и я оставался наедине с портретами Толстого. Я не был ни суеверен, ни очень застенчив. Но портреты Толстого меня почему-то смущали. Я постоянно оглядывался на них и всякий раз ощущал, что я работаю не в мастерской художника, а в доме Толстого. И вдруг мне припомнилась фраза Толстого, обрисовавшая «мастерскую» князя Нехлодова, бросившего службу и решившего заняться живописью: — «В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешены были этюды».

Я осторожно снял со стены портреты Толстого, бережно положил их в ящик стола и приколот на стену этюды к портрету Троцкого. И сразу почувствовал облегчение. Вечером, уходя, я отколол мои наброски и снова повесил фотографии Толстого на прежние места. Так поступал я потом ежедневно. Работа значительно облегчилась.

\*\*  
\*

Во время сеансов мы много говорили о литературе, о поэзии (к которой Троцкий относился с большим вниманием) и об изобразительном искусстве. В этой области ему особенно нравился Пикассо. Я могу засвидетельствовать, что среди художников тех лет главным любимцем Троцкого был Пикассо. Троцкий видел в формальной неустойчивости, в постоянном искательстве новых форм этого художника воплощение «перманентной революции», той самой «перманентной», которая принесла Пикассо славу и богатство, и которая стояла Троцкому жизни.

Однажды мы зашли в музей Щукина, находившийся в двух шагах от Реввоенсовета. Музей был национализирован, и самому Щукину, который открыл Пикассо, открыл Матисса, Щукину, создавшему в Москве бесценный музей новейшей европейской живописи, — этому щедрейшему Щукину была отведена, в его доме, находившаяся при кухне «комната для прислуги».

Троцкий задержался перед холстами Пикассо, и я сделал с него набросок на фоне «Арлезианки» этого мастера.

\*\*  
\*

Когда, летом 1923 года, портрет Троцкого был, наконец, закончен, Реввоенсовет организовал по этому случаю весьма торжественную однодневную его выставку для командиров Красной Армии. Веселое, горлающее сборище крепкотелых молодцов, махорочных курильщиков, опьяненных недавними победами: будущие «генералы» и «маршалы» СССР. Среди присутствовавших были: Тухачевский (командующий 5 армией и Западным фронтом, в будущем — расстрелянный Сталиным); Сокольников (командующий 8 армией и Туркфронтом,

расстрелянный Сталиным); Смилга (член Реввоенсовета 5 армии, расстрелянный Сталиным); Уншлихт (член Реввоенсовета Республики, расстрелянный Сталиным); Раскольников (командующий Балтийским и Каспийским фронтами. Покончил самоубийством в эмиграции, во Франции); Зоф (командующий морскими силами Республики, расстрелянный Сталиным); Муралов (начальник Московского военного округа, расстрелянный Сталиным); Антонов-Овсеенко (начальник Политического Управления Реввоенсовета Республики, расстрелянный Сталиным) и другие, которых я забыл и которых, вероятно, ожидала та же участь.

Ни Троцкого, ни его заместителя, Склянского, в этот день не было в Москве: их представлял Вячеслав Полонский (в будущем — тоже расстрелянный Сталиным). В гуще этих трагических героев я был сфотографирован на фоне портрета Троцкого. Впрочем, в этой же гуще находились Ворошилов и Буденный, которые сумели уцелеть.

\*\*  
\*

Эфраим Склянский был правой рукой Троцкого и, по существу, вся организационно-административная работа по созданию и укреплению Красной Армии была делом его рук. Троцкий писал о нем («Моя жизнь»):

«Среди других партийных работников я застал в военном ведомстве военного врача Склянского. Несмотря на свою молодость — ему, в 1918 году, едва ли было 26 лет, — он выделялся своей деловитостью, усидчивостью, способностью оценивать людей и обстоятельства. Я остановил свой выбор на Склянском, в качестве моего заместителя. Я никогда не имел впоследствии случая пожалеть об этом...»

По случайному совпадению, я написал портрет Склянского именно за его письменным столом. В предисловии к моему альбому «Семнадцать Портретов», Луначарский говорил о Склянском:

«Тов. Склянский воспринят художником, как один из центральных мозговых узлов огромного организма, к нему с разных сторон подходят центростремительные нервы, их ветви, в нем перерабатываются директивы, которые тотчас же текут вновь в пространство и где-то создают целесообразную реак-

цию. Целая коллекция инструментов такого рода управления окружает т. Склянского, как одного из центральных распорядителей Красной Армии. И среди них он стоит исполнительный, весь отдавшийся этой внутренней работе внимательного вслушивания в голоса телефонов и телеграфов, их быстрой и точной переработке в распоряжения. Портрет доведен при большом внешнем сходстве почти до абстрактной формулы — вот вам центральный агент революционного государства...»

Независимо от перечисленных качеств, Склянский был очаровательным товарищем и очень культурным человеком, любившим искусство; несмотря на перегруженность работой, он не пропускал ни одной выставки, ни одной театральной премьеры, ни концерта.

В 1925 году, Склянский был командирован в Соединенные Штаты Америки, но по приезде туда, сразу же, «по странной случайности» (довольно сомнительной) утонул, катаясь где-то на лодке.



В конце января 1923 года Троцкий попросил меня сделать иллюстрации к его «Приказу Революционного Военного Совета Республики к пятилетию Красной Армии» (5 февраля 1923 года). Но вечером того же дня Полонский, передавая мне текст «Приказа», сказал, что все рисунки должны быть сданы в типографию на другой же день утром. Я сделал их в одну бессонную ночь (что очень понравилось Склянскому, но что сильно отразилось на качестве рисунков). «Приказ» вышел отдельным изданием, в красках, в пяти тысячах экземпляров. Вот — несколько фраз из этого «Приказа», которые следовало бы запомнить всем политическим деятелям свободных стран и их «специалистам по советским вопросам» до сих пор еще верящим, что можно добиться «мирного сосуществования» с СССР путем каких-то международных конференций:

**«Мировая коммунистическая партия задачей своей имеет перестроить весь мир, независимо от нации, расы и цвета кожи. Советская Россия — крепость мировой революции. Красная Армия — щит угнетенных и меч восставших! Красная Армия нужна нынче мировой революции.»**

Молодые воины! Учитесь на прошлом, готовьтесь к будущему. Красноармейцы, командиры, комиссары! Склоним сегод-

ня боевые знамена перед памятью погибших. Отдадим дань героическому прошлому, — не для успокоения, а для удесятеренной работы. Наш завтрашний день должен быть и будет славнее вчерашнего.

Учитесь! Крепите! Мужайтесь! Готовьтесь!»

Под «Приказом» — подписи:

Председатель Революционного Военного Совета Республики:  
— Лев Троцкий.

Заместитель Председателя Революционного Военного Совета  
Республики: — Э. Склянский

Главнокомандующий: — С. Каменев.

Член Революционного Военного Совета Республики: —  
Данилов<sup>1</sup>

Начальник Политического Управления Революционного Совета  
Республики: — Антонов-Овсеенко

Начальник Штаба Р.К.К.А.: — П. Лебедев<sup>2</sup>

У меня до сего дня хранится этот редчайший документ.

\*\*

В моих воспоминаниях о Ленине я уже говорил, что после взятия Зимнего Дворца мне удалось пробраться в Смольный Институт, где заседал Съезд Советов. Там, на трибуне, я впервые увидел Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма, на нем была надета распахнутая и сильно потасканная шинель дезертира. Троцкий говорил о победе:

— От имени военно-революционного Комитета объявляю, что Временного Правительства больше не существует (оация). Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в ближайшие часы (бурные аплодисменты). Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло

---

<sup>1</sup> Расстрелян Сталиным.

<sup>2</sup> Расстрелян Сталиным.

бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменялась другой...»

В этот момент в залу вошел Ленин.

**Троцкий:** — В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который, в силу целого ряда условий, не мог до сего времени появиться среди нас... Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин! (бурная овация).

Я убежден, что о «бескровности» переворота Троцкий говорил совершенно искренне: всю последнюю неделю он «заседал», «вырабатывал», «сносился по телефону», «подписывал», «руководил» — за письменным столом и «наблюдал восстание преимущественно из окна редакции». Кровь на площади Зимнего Дворца видел я, то-есть — обыватель, давно потерявший в те месяцы представление о том, что значит «мирный сон».

\*\*  
\*

Мои встречи с Троцким продолжались на протяжении нескольких месяцев. В личной жизни Троцкий, несмотря на свою огромную популярность, оставался необычайно прост, приветлив и человечен. О кличках — «наш любимый Вождь», «наш великий Учитель», «любимый Отец народов» и пр., — которыми украшались коммунистические главари, Троцкий сказал мне по-французски:

— Stupide exagération!

И — по-русски:

— Пошлая, дурацкая театрализация.

В предисловии к книге «Моя Жизнь», написанной уже в Турции, на острове Принкипо, под Константинополем, Троцкий говорит (14 сентября 1929 года): «Я не могу отрицать, что моя жизнь не принадлежала к числу наиболее ординарных. Но причины этого следует искать скорее в обстоятельствах эпохи, чем во мне самом... Над субъективным встает объективное и, в конечном счете, это оно становится решающим».

\*\*  
\*

Летом 1924 года мой портрет Троцкого, вместе с портретом В. Полонского, который я тоже успел закончить к этому времени, были отправлены в Италию, на двухлетнюю венецианскую международную выставку. Я уехал туда же одновременно с ними. Портрет Троцкого был повешен на почетном месте в «центральной зале» советского павильона и воспроизведен на отдельной странице в книге Уго Неббия «La XIV Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia». В том же году этот портрет — на отдельной странице, был воспроизведен и в Москве, в книге «Советская Культура» (Изд. «Известий» ЦИК СССР и ВЦИК). Троцкий был тогда еще Троцким, а не «Иудой» и не «бешеным псом преступного капитализма» — прозвища, данные ему вскоре Сталиным и ставшие в СССР обязательными.

Сегодня полезно вспомнить и речь Никиты Хрущева, напечатанную в «Правде» 31 января 1937 года, того самого Хрущева, который в 1956 году объявил «десталинизацию»: — «Злодеи-троцкисты готовили террористические акты против наших вождей. Падалью смердит от мерзких и низких выродков! Эти убийцы метили в сердце и мозг нашей партии. Они подымали руку на товарища Сталина, они подымали ее против нас всех, против рабочего класса, против трудящихся! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали ее против всего лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин — это надежда, это чаяние, это — маяк всего передового и прогрессивного человечества! Сталин — это наша победа. Презренные главари и участники троцкистской банды понесли заслуженную кару. Троцкистская гадина в Советском Союзе раздавлена».

\*\*  
\*

Какая судьба ожидала мой портрет Троцкого?

В 1954 году приезжал в Париж один видный «художественный деятель» Советского Союза. Мы встретились и в разговоре я, между прочим, спросил, где сейчас этот портрет. Посмотрев на меня с нескрываемым удивлением, «художественный деятель» сказал:

— Неужели вы не понимаете, что мы не можем выставить публично портрет Троцкого?

Я посоветовал москвичу бывать во французских музеях, где можно одновременно видеть портреты революционеров и их усмирителей, членов конвента и императоров, потому что эти картины являются не только политическими документами, но — прежде всего — произведениями искусства.

## 2

Как я уже говорил, Троцкий знал и любил поэзию. Я приведу здесь его статью, посвященную памяти Сергея Есенина. Она человечна и должна, я думаю, остаться в русской литературе тех лет, заняв достойное место и в биографии Троцкого. Приведу полный текст:

«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, — может быть со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукой, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.

Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем тим трепетала совсем особая нежность неожиданной, незащищенной души. Полунаносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, — прикрывался, но не прикрылся...

Наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор «Пугачева» и «Баллады о двадцати шести» был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом **главная** причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

Корни у Есенина глубоко народные... Но в этой крепости крестьянской подоплеку причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в новом корень не при-

вился... Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, — эпична, — катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой.

Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца... Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и — сломалась... Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена, — те самые, которые нынешней борьбой подготавливаются. Личность человеческая расцветет настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику. Кому писал Есенин кровью в свой последний раз? Может быть, он перекликнулся с тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин — песнями. Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его...

В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах,<sup>1</sup> и о цветке неповторимом — о себе самом.

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего... Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты влетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!» («Правда», 19 января 1926 г.).

<sup>1</sup> Это почти из Некрасова:

«И облака дождливые,  
Как дойные коровушки  
Идут по небесам».

(«Кому на Руси жить хорошо»).

Ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущев никогда не смогли бы написать подобные слова, посвященные поэту, покончившему с собой из-за неприятия революции, поэту «несродному» революции.

Написанная в 1926 году, статья Троцкого уже предсказала роман Дудинцева «Не хлебом единым». Но говоря, что «в утробе нынешней эпохи скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком», Троцкий вряд ли предвидел свою собственную трагическую смерть и вряд ли считал ее «спасительной» для человечества. Кроме того, этой фразой Троцкий отказывался от утешительных слов, произнесенных им в ночь на 26 октября 1917 года, о «бескровности» революции. Разговор о «беспощадных боях» во имя «гармонического, счастливого, с песней живущего общества» является неискоренимым заблуждением многих революционеров. Бывший коммунист Борис Суварин писал: «Никто еще не смог серьезно мотивировать принесение в жертву живущих поколений ради гипотетического счастья будущих поколений». Суварин называет подобный идеализм «высшей абсурдностью». Он, конечно, прав.

Троцкий верил в необходимость «высшей абсурдности» и пал ее жертвой.

*Ю. Анненков*

# ПИК СТАЛИНА

(Из заметок географа)

— Знаешь ли ты Памир — каменный Бадахшан,  
Алый рубин, — Памир, жемчужину горных стран?  
— Камень безжизненный он, — мне отвечаешь ты.  
— Нет, — я скажу, — нагнись, землю его достань.  
Каждая горсть земли несет бесценную дань.  
Скрыла сокровища мира выющаяся лоза,  
Там золото и рубин и нежная бирюза...

Средняя Азия! Ташкент, Самарканд, Ходжент, Хива, Бухара... В те годы для нас, студентов Географического института, эти слова, невольно ассоциировавшиеся с миражами пустынь, с непонятными халатами, носимыми при испепеляющей жаре, узорными пиалами с терпким зеленым чаем, жирным пилавом и сладчайшим шербетом, — казались необычайно приятными.

Это было время, когда основной задачей было создание в недрах Географического института кадров — географов, путешественников, словом, таких людей, которые могли бы исследовать великие просторы Евразии, покорить своей воле ее «белые пятна». Эти идеи акад. Ферсмана зажигали сердца. И каждый из нас хотел стать, если не Пржевальским или Семеновым-Тяньшаньским, то, по крайней мере, Арсеньевым. В ушах звенели ветры далеких, невиданных, неисследованных просторов, а перед глазами маячили те капитаны —

Открыватели новых земель,  
Для кого не страшны ураганы,  
Кто изведал мальстремы и мель.  
Чья не пылью затерянных хартий —  
Солью моря пропитана грудь,  
Кто иглой на разорванной карте  
Отмечает свой дерзостный путь.

Конечно, больше всего манил нехоженный, вообще не имевший никакой карты, таинственный, мистически притягательный «Паймур» или Памир.

Академик Николай Яковлевич Марр, великий фантаст и не менее оригинальный лингвист и знаток санскрита, учил нас, что Памир — это не более как испорченное «Паймур», что значит — «подножие смерти». Кому же не хотелось подняться на это «подножие смерти», лежащее на юго-восточной окраине Советского Союза, у границ Китая и Афганистана, хотя бы взглянуть на этот высочайший горный узел, в котором сходятся мощные центрально-азиатские хребты Гиндукуш на юге, Каракум на юго-востоке, мало изученный Куэньлунь на востоке и Тянь-Шань на севере? В нашей стране в географическом отношении нет ничего более замечательного, чем эта высокогорная область! Все великие и малые исследователи Памира — Иван Васильевич Мушкетов, Дмитрий Иванович Мушкетов, Дмитрий Васильевич Наливкин, возвращались, но оставались вечными пленниками этих пространств. Они были покорены монументальным величием географии этой сказочной горной страны. Да и правда — высоки плоскогорья Тибета и теряются они в облаках, но еще выше плоскогорья Памира. «Безжизненны и суровы обледенелые тундры Арктики, но еще более безжизненны и суровы пустынные плоскогорья Памира, где мороза не бывает только один месяц в году.

Не видно сверху дна Большого Каньона на плато Колорадо, так глубоко оно врезано в землю, но еще глубже и красивее ущелья Пянджа. Грозен Терек, ревущий в скалах Кавказа, но он детская игрушка по сравнению с Пянджем, сила течения которого настолько велика, что волны образуют — неслыханное явление — высокий гребень посреди реки», писал знаток Памира, геолог Наливкин.

Боги Плутон и Вулкан не обидели и недра Памира. Коренное и рассыпное золото, залежи руд, сурьмы и ртути, редких элементов — молибдена, циркония, жилы с драгоценными камнями — рубинами и чудесными лалами... А главное, что притягивало многих, это — есть ли действительно на Памире легендарный лазурит — замечательный камень цвета неба, который проходит в течение семи тысяч лет через всю историю человеческой культуры? Лазурит, ляпис-лазурь, ляджуар, лазули! Великолепный синий камень, то горящий ярким синим огнем, то бледно-голубой с нежностью тона, почти доходящей

до бирюзы, то с красивым узором сизых и белых пятен. Три сорта лазурита дала нам природа: суфси — низший сорт зеленоватого цвета, асмани — светло-голубой и драгоценный ниили — самый дорогой и красивый, густо голубого цвета — цвета индиго.

Мир беден месторождениями лазурита. В Европе нет ни одного. В Азии — два: афганское и прибайкальское. В Чилийских Андах — в Америке — третье. Но в Андах и в Прибайкалье ляджуар светлый и зеленоватый. Это неинтересный ляджуар. А прекрасен и ценен камень тогда, когда он цвета индиго. Таким единственным месторождением владел один человек — афганский эмир, под страхом смерти запретивший к нему доступ исследователей.

Когда с серебряными караванами из далекой Сибири пришли первые возы лазурита с берегов Байкала, Екатерина Вторая сказала, что лазурит Бадашхана ярче сибирского. И до тридцатых годов афганский камень оставался, не знаям соперников. Но уже давно ходили легенды, что где-то в высотах Памира есть дивный камень лазуард. Писали об этом и английские путешественники начала XVIII века, с опасностью для жизни посещавшие знаменитые афганские копи. Об этом же говорили по секрету и старые таджики, заходившие во время охоты за архарами на трудно-доступные горные вершины. Загадка голубого камня нас увлекала. Но как найти к нему путь? И еще сильнее, нас, начинающих исследователей, влекла к себе географическая загадка того величественного горного узла на левом берегу ледника Федченко, который в науке закрепился как таинственный «узел Гармо» в горном парстве Заалая.

Непередаваемо очарование Заалайских гор... Повитые туманами и облаками, посеребренные инеем, они кажутся дикими и страшными, но стоит золотому лучу коснуться снежной пелены, и он исторгает у них дивное волшебное свечение. Снега алеют, горят, а воздух наполняется морозным певучим звоном. Белые вершины, открывающиеся взгляду в тот миг, когда ветер сгоняет с них тучи, ослепляют пламенной окраской льдов, голубыми гранями расщелин, парчевым тяжелым серебром утренних снегов...

Заалайский хребет идет параллельно Алайской долине. И подумать только, что даже средняя высота хребта выше двухглавой шапки Эльбруса, она достигает шести тысяч метров! Да и сама-то Алайская долина, протянувшаяся на две

сотни километров, висит в заоблачной высоте 2500-3000 метров. Даже когда поднимаешься на самолете на большую высоту и оттуда глядишь на громадные пространства, то и тогда открывающиеся панорамы не могут сравниться с теми, что видишь с этих величественно-неповторимых горных высот.

Каждому, кому давалось хотя бы один раз пересечь широкие просторы Алайской долины, проникнуть в сердце Памира к подножью пика Гармо, на ледники Федченко и Фортамбек, — каждому надолго врежутся в память эти панорамы.

Незабываемый вид открывается из ущелья Сурхоба с перевала Терсагар на царственный хаос снеговых пиков, возносящихся к небесам за грандиозной стеной Заалая, где могучий ледник Федченко уходит под черные скалы Шильбы и Сандаала... Каждый горнопроходец поймет меня, когда я скажу, что нельзя без какого-то внутреннего трепета даже говорить об этом районе. Это грандиозный горный узел, где сходятся четыре хребта: Заалайский, хребет Петра Великого, хребет Академии Наук и Дарвазский хребет.

Здесь в гребне главного водораздела хребта Академии Наук, в месте ответвления от него на запад главного водораздела гор Петра Первого, в пределах Таджикской ССР, на Памире находится высочайшая вершина Советского Союза (7495 м.). Пик высится над верховьями таких крупных ледников, как Гармо и Фортамбек. Вершина пика превышает поверхность этих ледников близ своего царственного подножья на 3500 метров. На расстоянии 5-16 километров пик окружают вершины Памира. Эти пики впоследствии получили названия: 30-летие советского государства, Москва, Е. Аболаков (по имени выдающегося советского горвосходителя), Ленинград, Молотов, Орджоникидзе, «Известия», Ворошилов. В 87 км к северо-востоку от высочайшего пика в Заалайском хребте возвышается пик Ленина (7127 м.).

Изучение наиболее высокогорного района советского Памира — хребта Академии Наук СССР, — где высится высочайший пик, как и прилегающих к нему с запада частей Дарвазского хребта и гор Петра Первого, а с востока бассейна ледника Федченко — было начато русскими исследователями еще в прошлом столетии. Именно этими исследованиями и было показано, что эти части Памира остаются еще в сущности «белым пятном» на географических картах. Надо правду сказать: у царского правительства данный район интереса к

себе не вызывал. Благодаря этому загадка таинственного «белого пятна» Памира так и не была раскрыта. А в начале революционных лет этот район и вовсе стал пасынком Российского Географического общества.

Неожиданный интерес к этому району во второй половине двадцатых годов был пробужден, строго говоря, не научными, а, скорее, политическими соображениями. В эти годы начиналась кампания заигрывания с Германией, проводившаяся под лозунгом «дружбы народов». Начало ей положила встреча немецких и советских ученых осенью 1925 года, во время празднования двухсотлетия Академии Наук. Здесь и зародилась идея совместной советско-германской экспедиции, способствующей взаимному ознакомлению с методами высокогорных географических работ и сближению советской и германской науки. В 1928 году эта идея и была осуществлена, когда к работе приступила знаменитая геолого-географическая советско-германская экспедиция.

Это была крупнейшая по тем временам научная экспедиция, потребовавшая для своей организации больших материальных средств. Состав немецкой части экспедиции был представлен выдающимися знатоками своего дела, такими, как геодезист Финстервальдер, геолог Нёт, зоолог Рейниг и языковед Ленц. Во главе их стоял профессор Рикмерс.

Вполне понятно, что создание такой межнациональной экспедиции возбудило немалый интерес в руководящих кругах Академии Наук, поскольку официально подготовка экспедиции была поручена именно ей. С Памиром было связано столько крупных научных проблем, что многие географы обращались в Российское Географическое общество с просьбой об откомандировании их в состав экспедиции. Но президент Общества Николай Иванович Вавилов так же мало знал о положении дела, как и другие, хотя формально Географическое общество, наряду с Академией Наук, считалось организатором экспедиции. Замечательный географ, только что избранный членом-корреспондентом Академии Наук, Лев Семенович Берг отправился к президенту Академии Наук Александру Петровичу Карпинскому и от имени Российского Географического общества спросил его: чем же вызван этот призыв «немецких варягов» для географического изучения Памира.

Патриарх русской науки посмотрел на Берга искоса, «покарпински», и, махнув рукой, почти нехотя ответил: «Органи-

зация советско-германской экспедиции происходит за моей спиной. Меня даже не спрашивали о русских географах, возможных кандидатах в экспедицию. Возможно, что туда возьмут одного Корженевского, благо, он человек покладистый, а к тому же работал на Памире. Всё дело в руках Николая Петровича Горбунова».

«Причем же здесь Горбунов?», спросил изумленный Берг.

«Да ведь от него исходила инициатива создания этой экспедиции. Овладение 'Крышей мира' — Памиром. Горбунов представляет это, как стратегическую задачу. Но за этим фасадом скрывается другое. Горбунов хочет стать академиком. И надо чем-то обосновать избрание в академики-географы», — сказал Карпинский. — «Говорят, что к экспедиции будет прикомандирован и сам помощник прокурора Республики Крыленко».

После такой информации у представителя Русского Географического общества, члена-корреспондента Берга отпала всякая охота выдвигать в состав экспедиции подлинных ученых-географов, несмотря на те поистине огромные научные проблемы, которые возбуждала география Памира.

Стремясь попасть в практикантский состав экспедиции, я старался записать солидными рекомендациями от известных географов. Но странное дело, когда дело дошло до отбора, то решающую роль сыграли не эти лестные рекомендации, а мое хорошее знание верховой езды и вьючного искусства.

Наконец тайна личного состава советской части экспедиции прояснилась. Во главе экспедиции действительно оказался Николай Петрович Горбунов. Научный состав советской части экспедиции оказался, хотя и совершенно непредвиденным, но достаточно колоритным. Помимо таких специалистов, как метеоролог Циммерман, геодезист Исаков, астроном Беляев, геологи Щербаков и Москвин, зоолог Рейхарт и другие, тон составу экспедиции дали ее руководители, к географической науке не имевшие никакого отношения. Головка экспедиции составила так. Бывший управделами Совнаркома и личный секретарь Ленина Горбунов, уже пользовавшийся печальной славой зам. наркома юстиции Крыленко и еще не ставший знаменитым, но уже с явным уклоном к авантюризму «орденопросец» Отто Юльевич Шмидт. Все это были кандидаты в академики, как говорили, «по благу».

Присутствие Крыленко действовало на рядовых сотрудников экспедиции крайне угнетающе. Только что закончился «процесс шахтинцев», и из газет многие знали ту роль, которую играл на этом процессе государственный обвинитель Крыленко. Да он и сам не скрывал своего недоверия к специалистам, любил говорить о «еще не вскрытых» вредителях, вообще вел себя как «партийный набоб».

Единственным специалистом географом был давний исследователь Памира Корженевский. Но прекрасно понимая свою роль, этот милый человек вел себя так, будто его и не было. И это было к лучшему, ибо Крыленко сразу выпустил когти, показав, кто действительный хозяин экспедиции.

Едва прибыв в долину Алая (что по-киргизски значит «лови время»), руководители экспедиции, в соответствии с названием долины, не стали терять времени, а занялись «географическими делами». 3-го августа, во время пребывания экспедиции около урочища Сары-Таш, выдался исключительно хороший день. Взошло солнце. И вот перед нами развернулась изумительная картина... Из рассеивающегося тумана стал вырисовываться заливаемый солнечными лучами, во всем его непередаваемом величии гигантский Заалайский хребет. Здесь, в Алайской долине, вся гигантская цепь снежных пиков была перед глазами на всем своем протяжении, во всей своей извечной красоте.

Сверившись с картами, Крыленко решил использовать открывшуюся возможность и окрестить сверкающие перед нами вершины. Специалисты были немедленно вызваны из палаток и из присутствующих тут же была создана «Горная комиссия» для крещения гор. Члены комиссии столпились у мензулы, высказывая свои предложения и вглядываясь в панораму. Вот высшая горная точка хребта — знаменитый пик Кауфмана. Его высота — 7134 метра, на треть выше Эльбруса. Превосходный пик, но что от него пользы — он уже переименован в пик Ленина! Самая восточная вершина была окрещена «Зарей Востока». Гигант, около которого ходили контрабандисты за кордон, стал называться «Пиком пограничника». Большую двуглавую гору, высившуюся вдали, назвали «Рогами архара»,\* а зубатый массив, отделявший «Рога ар-

---

\* Архар — горный баран.

хара» от пика Ленина — «Горами баррикад». За пиком Ленина высились три почти одинаковые вершины, высотой каждая едва ли ниже 6000 метров. По предложению Крыленко их назвали именами трех ближайших, теперь уже умерших, соратников Ленина. Эти вершины стали горами Дзержинского, Красина и Цурюпы. Наконец, остроконечная вершина, замыкающая Заалайский хребет и возвышающаяся над горным массивом в виде правильной трапеции, была названа горою Якова Свердлова.

Крыленко немедленно отдал приказание геодезистам экспедиции точно определить местоположение и высоты названных вершин, а сам сел за составление телеграммы в редакцию «Известий» о происшедшем. Зам. наркома юстиции и бывший управляющий делами Совнаркома ввели свой стиль «научных исследований». Но, когда подлинные географы прочитали в «Известиях» о крыленковском акте крещения заалайских пиков, это не могло не произвести на них удручающего впечатления. У подлинных ученых не оставалось сомнения, что в Памирскую географическую экспедицию в качестве руководителей попали типичные представители «торговцев славой», которые к подлинной науке не имели никакого отношения, в то время, как немцы, несмотря на свое меньшинство в экспедиции, за одно лето достигли серьезных научных результатов. Они прежде всего дали замечательный картографический материал, составили толковую карту и произвели геодезическую съемку вершин. Важнейшей же частью работы немецких геодезистов было определение с большой точностью высочайшей вершины Советского Союза, уступающей только гигантам Гималаев и Тибета. Издавна у местного населения, у горных таджиков, она была известна, как вершина Гармо. Так она и была нанесена на карту германо-советской экспедицией в 1928 году, когда немецкий геодезист Финстервальдер инструментально определил ее высоту в 7495 метров. Это — высочайшая точка Памира. Кроме нее на немецкой карте оказался помеченным и пик Дарваз в 6900 метров. Таким образом, судя по немецкой карте германо-советской экспедиции, высочайшими пунктами на данном участке оказались: пик Гармо — 7495 метров\* и пик Дарваз — 6900 метров.

---

\* См. R. Finsterwalder. Geodätische, topographische und glaciologische Ergebnisse. Wissenschaftliche Ergebnisse der Alai-Pamir Expedition 1928. Berlin, 1932. In zwei Bänden.

Вот с такими скромными результатами нам и пришлось вернуться осенью 1928 года с Памира. Но если для рядовых сотрудников экспедиции дело закончилось камеральной обработкой собранных материалов и подготовкой рутинного отчета, то для руководителя экспедиции Горбунова дело оказалось не столь простым. Горбунов не числился среди истых приверженцев Сталина. И сталинцы, не без основания, подозревали его в симпатиях к Бухарину, с которым он был давно связан. Но перед экспедицией на Памир непосредственной опасности для Горбунова еще не было. К началу же 1929 года борьба с Бухариным была уже в полном разгаре. Волны сталинщины поднимались. Таджикская ССР дала этому яркое доказательство. Старинный город Дюшамбе, расположенный в Гиссарской долине — столица республики, в 1929 году вдруг превратился в Сталинабад. Но что такое Дюшамбе? Восходящему властителю нужен был большой размах, затмевающий ленинские горизонты. Рядом с пиком Ленина должен был возвышаться, конечно, и пик Сталина. Но пик Сталина не мог уступать пику Ленина по высоте. На немецкой карте значится, что пик Ленина — 7127 метров, и его превышает только один гигант — пик Гармо — в 7495 метров. Правда, почти рядом с ним есть пик Дарваз, но его высота всего лишь 6900 метров.

Последующие экспедиции, более скромные по масштабу, ни в 29-м, ни в 31-м годах в смысле отыскания вершины, достойной быть увенчанной именем вождя, ничего нового не дали. Но Горбунов крепко держался за эту памирскую перспективу. Да и что ему оставалось делать? В Москве у него уже начинала гореть земля под ногами. И в начале 32 года в президиуме Академии Наук Горбунов снова поднял вопрос об изучении Памира. Его поддержали в отделе Науки и Культуры Ц.К., и в 32-м году Академия Наук получила специальные ассигновки для организации теперь уже крупной Таджикско-Памирской экспедиции.

Перед этой Таджикско-Памирской экспедицией стоял ряд больших научно-исследовательских задач, в частности изучение проблемы золотоносных свит Памира, розыска залежей оптического флюорита и много других важных проблем. Но за этим научным фасадом скрывалась и другая цель: стремление Горбунова исправить свою ошибку и так или иначе открыть высочайшую вершину Памира, — иными словами, открыть «пик Сталина».

Но и эта Таджикско-Памирская экспедиция не дала результатов желанных Горбунову. Камеральный период обработки собранных материалов носил панихидный характер. Но тут на выручку Горбунову неожиданно пришел один участник экспедиции, молодой геолог М., давно мечтавший выдвинуться. При камеральной обработке материалов и при разглядывании карты Финстервальдера у этого геолога блеснула смелая мысль. На карте Финстервальдера пик Гармо имеет высотную отметку 7495 метров. Это высочайший пик Памира. Но недалеко от него — другая вершина, близкая по высотной отметке к пику Гармо, которую во время немецкой геодезической съемки называли пиком Дарваз. Название пику Гармо немцы дали, основываясь на имени, данном этому пику таджиками, поскольку пик Гармо находится в истоках ледника Гармо. Название пику Дарваз немцы дали, основываясь на близости этого пика к леднику Дарваз. В зависимости от перспективы эти пики почти сливаются и издали их можно даже спутать. Геолог М. и предложил: название «пик Дарваз» ликвидировать, а название «пик Гармо» перенести на более низкий пик Дарваз (6900 м.). Тем самым подлинный пик Гармо (7495 м.) — высочайшая вершина Памира, — становится вакантной и ее можно назвать «пиком Сталина».

Когда об этом «наитии» геолога М. узнали Горбунов и Крыленко, то вначале они может-быть и были ошеломлены простотой решения проблемы. Но потом без тени смущения «акцептировали» этот план, и как люди опытные и «государственного масштаба», сумели этому открытию найти соответствующее оформление. Тяжесть «вины» была перенесена не на таджиков из кишлака Пашимгара, которые являлись, так сказать, консультантами по части названий пиков, а на знаменитого немецкого геодезиста Финстервальдера. Он якобы перепутал названия вершин, указанных ему таджиками.

Конечно, такое странное рождение «пика Сталина» на месте пика Гармо советские географы не могли уразуметь. Во-первых, ведь уже в 28 году пик Сталина был на немецкой карте, правда, под своим настоящим туземным именем «пик Гармо». Больше того, эта неизвестная высочайшая вершина, которую Горбунов и Крыленко явили миру, как новооткрытую, была известна русским исследователям Памира еще семнадцать лет тому назад. За такую историю с переделкой пика Гармо в пик Сталина настоящий ученый утратил бы

навсегда свой научный авторитет и на его научной карьере был бы поставлен крест. Но мы жили в иные времена. Кто из правящих в СССР особ считался с мнением Российского Географического Общества, даже с мнением Академии Наук? Никто. Поэтому Горбунов и чувствовал себя крепко в седле и действовал решительно. Открыв новую вершину — пик Сталина — надо было его обследовать, а самое главное — совершить восхождение на его вершину. Это было тем более удобно предпринять, что работы Таджикско-Памирской экспедиции 1932 года продолжались и в 1933-м году и в последующие годы.

Отправляясь в экспедицию в 33 году в качестве ее постоянного руководителя, Горбунов поставил своей задачей не только впервые подняться на вершину пика Сталина, но даже водрузить на ней переносную радиостанцию. Трудная доставка караванным путем к подножью пика Сталина и особенно нечеловечески трудный занос станции на огромную высоту в 7500 метров требовал удобной и быстрой разборки ее на несколько частей, снабженных герметическими и портативными футлярами. Между тем станцию можно было разобрать лишь на две части, весившие около пуда каждая. Переноска такого груза на высоту свыше 6000 метров представляла огромные трудности. К тому же, станция была сделана небрежно и кустарно, и давала только два показателя — силу и направление ветра. Зачем же было «переть» эту бесполезную двухпудовую машину на такую страшную высоту? Но что не делает страх? Горбунов приказал нести — и понесли. Правдами и неправдами кое-как собрали носильщиков-туземцев. А чтобы они не разбежались, подкармливали шеколадом, печеньем, конфетами, сгущенным молоком, и тем заманивали лезть на «страшную вершину», чтобы установить на ней эту никому ненужную и бесполезную станцию.

Но несмотря на выносливость носильщиков, они долго не выдерживали, заболели горной болезнью, сопровождавшейся страшной рвотой и удушающим кашлем. Болезнь эта нередко кончалась гибелью. Так в начале восхождения, 14 августа, погиб киргиз Джамбай Ирале, тело которого так и осталось лежать на вечные времена в палатке. Через несколько дней тяжело заболел альпинист Готье и его пришлось оставить в палатке борющимся со смертью. От этого сердечного шока Готье уже никогда не оправился, оставшись инвалидом. 30 июля замечательный альпинист Николаев при подъеме на тра-

верс сорвался с гребня и покатился вниз по почти отвесному северному фирновому склону. Его падение произвело ужасное впечатление на участников экспедиции. Пролетев метров 500, он исчез в снежных сбросах. Тело его так и осталось в снегах отвесного обрыва.

Готье недвижимо лежал в палатке. Горбунов должен был спустить его вниз, чтобы оказать ему врачебную помощь. Но что такое человеческая жизнь, когда нужно нести вверх радиостанцию? И люди шли. Шел совершенно больной альпинист Шиянов. Шел его напарник, силач, альпинист Гушин, он уже шестой день взбирался вверх с чудовищно распухшей, разбитой камнем гангренозной рукой. Но все же тащил за плечами прокливаемую им радиостанцию. Наконец, в довершение всего, альпинисты оказались на голодном пайке. Несколько ложек манной каши, три галеты, два леденца, два кусочка сахара — вот и всё, что выдавалось на брата в день. Но Горбунов лез все выше и выше, в твердой решимости достигнуть вершины какой-угодно ценой.

Силы людей сдали. 2-го сентября люди не смогли вылезти из палаток. И среди восходителей остались только двое — знаменитый чемпион Аболаков и сам Горбунов. 3-го сентября с утра они начали последний штурм вершины. Каждый понимал, что надо спешить. Аболаков шел впереди. Горбунов, делавший снимки и наблюдения, шел медленно. Расстояние между ними увеличивалось. Ничто не могло остановить Аболакова — ни поздний час, ни признаки надвигающейся вьюги. Наконец он подошел к подножью вершинного гребня. Еще несколько десятков метров, и он у цели. Высота — 7490 метров. Но здесь силы ему изменили. Он не рассчитал темпа, шел слишком быстро. В полном изнеможении он упал на снег. Отдышавшись, попробовал встать. Но встать не мог. И тогда, поднявшись на четвереньки, шаг за шагом преодолел последние метры пути. И достиг вершины.

На середине гребня Аболаков встретил Горбунова, упорно, шаг за шагом приближавшегося к вершине. Страх заставил Горбунова совершить поистине героическое восхождение, хотя фактически его нога так и не стояла на самой вершине. Из Таджикско-Памирской экспедиции 33-го года Горбунов возвращался с большими планами. Он был полон радужных надежд. Величайший пик — на его вершину он почти взошел — теперь остается самая приятная часть — торжественное оформление. Во-первых, надо было сделать хороший макет уз-

ла Гармо для постоянной выставки Таджикско-Памирской экспедиции. Во-вторых, провести через Российское Географическое Общество торжественное наименование высочайшего пика имени вождя. Дальше оставалось только получить коротенькую выписку из протокола общего собрания Академии Наук с магическими строками об избрании действительным членом Академии.

Как будто всё учёл предусмотрительный Николай Петрович Горбунов. Но, оказывается, не мог предвидеть ретивости своего географа-напарника Николая Васильевича Крыленко. Снедаемый честолюбием Крыленко вовсе не хотел уступать главную роль в этом большом деле венчания пика Гармо именем пика Сталина. Он не хотел передавать это в руки Академии Наук или Российского Географического Общества.

И вот в коротенькой статье с невинным названием «Загадка пика Гармо» (напечатанной в Трудах Таджикско-Памирской Экспедиции Академии Наук 1933), Крыленко выступил как объективный географ, стремящийся к установлению только научной истины и устранению вкравшихся ошибок. Крыленко писал:

«С полным правом нами возвращено ему (т. е. пику Дарвазу! Н. Г.) его туземное название (пик Гармо. Н. Г.), а снежный гигант (т. е. действительный пик Гармо. Н. Г.), который немцы (почему немцы, когда с ними были и русские, и сам Крыленко, и Горбунов, и таджики? Н. Г.) сочли за пик Гармо и который действительно оказался высочайшей вершиной СССР, мы назвали, по соглашению с Н. П. Горбуновым, пиком тов. Сталина».

Но в своем невероятном упрямстве нарком юстиции просчитался. Он не понял, насколько ошибочен был взятый им тон в вышецитированном документе: «мы назвали именем тов. Сталина». Торжественный акт наименования, по аналогии с наименованием пика Ленина, надлежало совершить или таджикскому народу или Институту географии Академии Наук СССР, а лучше всего — Российскому Географическому Обществу. А тут — «мы»! Кто это «мы» — венчающие высочайшую вершину страны именем товарища Сталина?

Но беда была и не только в этом. Дело в том, что Крыленко возгорелся желанием разыскивать пики и раздавать их, как ордена. При этом вершинам присваивались имена лиц не имевших даже отдаленного отношения к географической науке

или вообще к исследованиям Памира. В одну прекрасную ночь альпинистская группа во главе с Крыленко пробиралась по фирновой области, в районе ледника Хадырша. Рассвет застал группу на высоте 5200 метров. Туман рассеивался и не приметно раскрывался высочайший пик. Все смотрели, как зачарованные, на это неповторимое видение. Участники экспедиции рассказывали, что Крыленко невольно воскликнул: — «Ну, вот это красавец! Как раз для Зинаиды!» — Крыленко вынул фотоаппарат, запечатлел эту чудную панораму. Словоохотливый альпинист Ц. при возвращении на базу подтрунивал над предполагающимся рождением нового пика. Обращаясь к старшему геодезисту, Ц. шутя заметил: «Ну, дорогой увековечиватель, готовь место на планшете для новой надписи». — «Это для какой еще?» — «Да для новоявленного пика Зинаиды Крыленко». — «Что ты?» — изумился тот — «А вот увидишь. Да еще надпись-то поставишь рядом с пиком Сталина».

О безграничном своеволии Крыленко знали хорошо все сотрудники экспедиции, но все же трудно было поверить, что он сделает такую ошибку. И тем не менее он ее сделал. Старший геодезист был вызван в палатку наркома и получил приказ обозначить ближайший к пику Сталина пик, — как пик Зинаиды Крыленко.

Члены Географического Общества, знакомясь с научными творениями Крыленко, были потрясены, когда читали в его статье:

«Склон хребта Петра 1-го, когда мы подходим к нему с ледника Гармо, представляет собою ледяной отвес двухкилометровой высоты, который не давал никакой надежды на возможность подъема. Над этой стеной возвышается красавец пик... который впоследствии назван нами пиком **Зинаиды Крыленко**».

И далее:

«На этом плато в качестве его грани возвышались ломаные линии рельефа пика Зинаиды Крыленко и пика Сталина», — писал Крыленко.

Говорили, что именно эта художественная фраза в «научных писаниях» Крыленко и привела вождя в полную ярость! А уж дальше ошибки Крыленко стали только множиться. Причем их количество стало, так сказать, переходить в качество, если говорить обо всех новоокрещенных Крыленкой новых пиках:

«Эти вершины мы назвали пиком Авеля Енукидзе, пиком Варвары Яковлевой и пиком Сулимова... Так, в географии Памира были увековечены — близкий приятель и собутыльник Крыленко Енукидзе, не имевший к географии, ни к науке вообще, ни прямого, ни косвенного отношения; за Енукидзе — Яковлева — известная чекистка-садистка, прославившаяся собственноручными расстрелами офицеров и, в частности, расстрелом великих князей. Венчал же тройку небезызвестный Сулимов, вознесенный Сталиным из незаметного секретаря Уральского обкома на пост председателя Совнаркома РСФСР. Сулимов получил этот пост как награду от Сталина за предательство своего друга Сырцова, перед тем занимавшего этот пост. Но Крыленко не забыл и Ягоду.

«Громадный пик, находившийся несколько в отдалении от пика Сталина, мы назвали пиком Генриха Ягоды».

Публикация статьи Крыленко в изданиях Академии Наук, наделала немало хлопот Горбунову, роль которого тем самым отодвигалась на задний план. Но главное эта статья закрывала возможность произвести торжественное наименование высочайшей вершины пиком Сталина через Российское Географическое Общество, обычно ведавшее оформлением подобных названий. Когда Горбунов решил все же прощупать почву и обратился к президенту Российского Географического Общества, академику Николаю Ивановичу Вавилову, тот ответил, что обычно в практике Общества, географическим пунктам присваиваются имена деятелей Общества, прославившихся теми или иными научными заслугами в географических исследованиях. Но поскольку в данном случае присвоение высочайшему пику имени Сталина уже произведено в работе Н. В. Крыленко, опубликованной к тому же в изданиях Академии Наук, то он Вавилов, считает, что Российскому Географическому Обществу вообще неудобно **констатировать первооткрытие** данной вершины, ибо еще в отчете Я. И. Беляева, руководителя экспедиции Русского Географического Общества на ледник Гармо в 1916 году, эта вершина им была уже открыта и нанесена на карту. «Получится, что мы противоречим сами себе», — сказал Вавилов и показал Горбунову географическую карту Беляева с злополучной вершиной. Хотел или не хотел Горбунов, но он должен был понять, что нажимать ему на Вавилова нельзя, поскольку Вавилов всегда может доказать, что открытие пика Сталина произошло не в 1933 году, а в 1916-м.

Так памирская авантюра Горбунова и Крыленко с первооткрытием пика Сталина благодаря стойкости Вавилова\* окончилась в Российском Географическом Обществе провалом. Но только в Российском Географическом Обществе!

В Академии Наук, где в качестве постоянного руководителя Таджикско-Памирской экспедиции уже хозяйствовал Горбунов, все шло своим порядком. Даже престарелый президент Академии Наук Александр Петрович Карпинский поздравил Горбунова с выдающимся географическим открытием.

По возвращении экспедиции, в срочном порядке было приступлено к изготовлению новой географической карты высокогорного Памира, украшенной всеми многочисленными названиями пиков, данными им наркомом юстиции.

Но что такое географическая карта? Это только скромная, плоская проекция. Всесильный нарком юстиции настоял перед правлением ОПТЭ (Общество Пролетарского Туризма, председателем которого Крыленко состоял уже много лет, Н. Г.) на создании гипсометрической карты — карты-макета, где новорожденные пики должны сверкать алмазными главами. И какие имена! В центре пик Зинаиды Крыленко, пик Иосифа Сталина, пик Авеля Енукидзе, пик Сулимова, пик Генриха Ягоды... Крыленко и тут обогнал Горбунова.

Но преуспевая на этой дороге славы, Крыленко посильно трудился и над уничтожением врагов революции, не взирая на то, что среди них начали попадаться и его вчерашние приятели. Вскоре с карты-макета пришлось убрать надписи «пик Авеля Енукидзе», «пик Сулимова»....

Тем временем за несколько десятков страничек вступительных научно-популярных статей к томам-трудам Таджикско-Памирской экспедиции, Горбунов удостоился избрания в действительные члены по геолого-географическому отделению. А через несколько месяцев, в 1936 году, он уже академик, непреременный секретарь Академии Наук. Фактически — первое лицо в Академии, поскольку 89-летний президент академик Карпинский, был уже не работоспособен. Высший командный пост в Академии сильно изменил даже внешний вид Горбунова. Надменное, разжиревшее лицо, бездонные жесткие глаза, с выражением необычайной самоуверенности...

---

\* Есть веские основания думать, что эта стойкость Вавилова не прошла ему даром, если вспомнить его судьбу.

Все признаки говорили о том, что Сталин щедро платит своим верным слугам.

1937 год. По инициативе Крыленко и Горбунова организуется новая большая спортивная экспедиция на Памир. Цель — покорение семитысячных гигантов: пика Ленина, пика Сталина. А главное, конечно, установление бронзового бюста Сталина на вершине пика Сталина в связи с двадцатилетием октября! Но вдруг Горбунов... прислал отказ. Причина — назначение Горбунова генеральным секретарем 17-го Международного Геологического конгресса, открывающегося в июле в Москве. Всё как будто было понятно и естественно. Выезжать приходилось одному Крыленко. Но когда все приготовления уже были закончены, участники экспедиции вдруг узнали, что «государственной важности дела» сделали отъезд Крыленко невозможным.

Конечно, и это было вполне возможно, это был тридцать седьмой год, а Крыленко был уже наркомом юстиции СССР. Но все же среди «памирцев» в Академии Наук поползли неясные нехорошие слухи. Прошло еще несколько месяцев и эти слухи неожиданно подтвердились. 17 января 38 года в роскошных комнатах Наркомюста, где Николай Васильевич был не только наркомом, но был и «бог и царь», было созвано экстренное заседание руководящих работников Наркомата. И на этом заседании, против всякого ожидания, всемогущий нарком вдруг был обвинен во вредительстве. За этим последовало смещение с поста наркома...

Прошло еще несколько недель, и, наконец, Крыленко попал туда же, куда он безжалостно послал слишком многих, невинных. И не успели за Крыленко замкнуться двери камеры на Лубянке, как в ОПТЭ заявили загадочные посланцы.

«Где у вас тут 'Памирские горы' содержатся?» — спросил старший у заведующего экспедиционным отделом.

«Макет узла Гармо? Да он же в лекционном зале».

«Веди нас туда».

Оглядев макет и деловито поговорив между собой, посланцы потребовали у завхоза нужные им инструменты. А через час от чудесного, художественного макета узла Гармо осталась лишь бесформенная куча изорванного папье-маше, дикта и витков крученой проволоки. Закончив свою работу на глазах изумленного зава, руководитель коротко бросил по-

следнему: «Прикажи немедленно бросить в топку все это барахло, да держи язык за зубами».

Началась ликвидация «культы личности» наркома Крыленко. К вечеру уже вся Москва знала об его аресте.

...Роскошный кабинет Горбунова, сменившего должность неперменного секретаря Академии Наук СССР на должность генерального секретаря 17-го Международного Геологического конгресса, залит светом. У длинного стола, украшенного еще золотыми княжескими вензелями, с экспонатами Памирских недр, без пиджака, возится Николай Петрович Горбунов, перекладывает пластинки дивного лазоревого камня, кстати сказать, открытого совсем не Горбуновым. Рассматривает, любитесь... Да и как не любоваться! Такого роскошного собрания нет нигде в мире!

Сегодня Николай Петрович отбирает образцы для высоких «дегустаторов». «Вождь народов» и Лазарь Каганович будут знакомиться с образцами прекрасной памирской ляпис-лазури. Горбунов живет широкими замыслами и не связывается с обманными памирскими макетами, но бьет в другом направлении. Он мечтает, чтоб очередная станция московского метро имени Лазаря Кагановича была облицована чудной памирской ляпис-лазурью. Так же, как некогда по замыслу знаменитого архитектора Камерона был облицован сибирским и афганским лазуритом прекрасный Лионский зал Царскосельского дворца.

После обеда плитки памирского лазурита, возившиеся на показ Сталину, благополучно вернулись из Кремля в кабинет Горбунова. Но сам он, как говорили, туда уже никогда не вернулся! Генеральный секретарь Международного Геологического Конгресса, академик, географ Горбунов, как в воду канул. В каземате Лубянки надежно спрятали главного свидетеля ленинского завещания, знавшего слишком много о подлинных взаимоотношениях Ленина и Сталина.

Так закончилась среднеазиатская эпопея Николая Васильевича Крыленко и Николая Петровича Горбунова. Памир для них оказался воистину «Паймуром» — подлинным подножием смерти...

Интересно бы знать, чьим именем, при теперешней десталинизации, будет окрещен «пик Сталина», который выше «лика Ленина» на 368 метров?

*Н. Галин*

# ДНЕВНИК П. Н. МИЛЮКОВА\*

(МИЛЮКОВ И БЕЛАЯ АРМИЯ)

## ПОЕЗДКА В ЕКАТЕРИНОДАР

24 вечером выезжаем с Григоровичем-Барским курьерским из Киева. Не доезжая до Фастова четыре версты, поезд терпит крушение. Первые три вагона и часть нашего разбиты: зрелище груды обломков, стоны мужчин и истерики женщин, убитые, раненые. Выбираемся из накренившегося на бок вагона, переходим в уцелевший вагон, который паровоз, приехавший через два часа из Мотовиловки, отвозит в Фастов, где утром нас прицепляют к почтовому поезду. Опаздываем на сутки. Но в Екатеринославе выручает счастливый случай. Идем в правление Екат. жел. дороги — удостовериться, что наши билеты пропали, встречаем начальника службы движения — кадета. Тотчас разносится весть среди служащих, которые требуют, чтобы я сказал им речь; отказываюсь, идем завтракать в ресторан, где нас отыскивает член партии и на автомобиле отвозит на станцию, на утренний поезд, в служебный вагон, который прицепляют к первому поезду. В Харцызске прицепляют к этапному поезду, приезжаем в Екатеринодар в день съезда, 28-го. В Ростове присоединяются Н. И. Астров, М. М. Винавер и С. А. Панина. С Винавером встречаюсь сдержанно, охлаждая порыв его любезности. Приехав в Екатеринодар, предлагаю Ц. К. собраться в 2 часа у меня (в квартире Сокольского). Но Винавер оттягивает, отдельно совещается с Степановым. В результате, — он... читает второй доклад по *внешней* политике!

В 5 часов открытие съезда. В 4 1/2 Винавер приходит, го-

---

\* См. кн. 66 Н. Ж. В этой книге мы даем три отрывка из «Дневника П. Н. Милюкова». «Поездка в Екатеринодар» относится к октябрю-ноябрю 1918 г., «Приезд в Париж» — к декабрю 1918 г. и «Встреча с ген. Деникиным в Лондоне» — к апрелю 1920 года. РЕД.

ворит, что стоворился с Паниной и Астровым. Я отвечаю, что уже поздно, надо идти на съезд. П. и А. не приходят. Уходим.

Деликатный вопрос о совмещении меня с Винавером решен так: съезд краевой, следовательно и президиум только краевой, а члены Ц. К. входят экс оффицио все. Решение благодарное.

После вступительной речи Зеелера вечером до 2 ч. ночи происходит обсуждение тезисов доклада Степанова, уже обсуждавшихся и вызывавших возражения в краевом президиуме накануне нашего приезда. Первоначально тезисы составлены под сильным влиянием Шульгина: все государства России разделены на овец и козлиц; резкие суждения и осуждения анти-союзнической ориентации, требования публичного и торжественного покаяния. Я шаг за шагом возражаю, опираясь, между прочим, на формулы, обсужденные в Киеве с П. И. Новгородцевым (сообщение «центра» и земской группы). Винавер является посредником, поддерживает все мои возражения и предлагает удобные для меня формулы. В конце концов весь шульгинский «дух» вытравлен из тезисов. Но Степанов говорит, что ему придется настолько переработать доклад, что к сроку он не поспеет. Его уговаривают Панина и Астров. Наконец, он соглашается на 3 часа. Я соглашаюсь окончательную редакцию поправок передать Винаверу вместе с Степановым.

Главный спор возникает в связи с «волеизъявлением народным». Я возражаю, что это — форма «неограниченного народовластия» и требую исключения. Многие возражают, Степанов признает мои возражения сильными, но защищает свою формулу по тактическим соображениям. Голосование: 7 голосов за меня, 22 против.

К концу прения входят в деловое русло, настроение меняется в мою пользу: Григорович потом говорит, что это — моя первая победа.

---

16/29 октября. С утра иду к Деникину. Разговор длится целый час, от 11 до 12, и очень интересен. Я замечаю Деникину, что он очень поседел. Деникин отвечает: тут поседеешь, когда вы со мной делаете такие штуки. Положение мое было очень трудное. Вы даже не согласились с нами повидаться по возвращении армии, когда Алексеев и я предлагали вам автомобиль. Я отвечаю: тогда я очень торопился, думая, что нельзя терять времени и что я к вам вернусь. Теперь уже бесполезно возвращаться к старому: я рад, что ошибся. Расскажите мне, если можете, подробнее о положении.

Деникин начинает рассказ. Напрасно меня обвиняют, что я непримирим по отношению к Украине и к Дону. С гетманом мои отношения были такие. Я обратился к нему, давно уже, с просьбой помочь освобождению Ряснянского, но обратился как к русскому генералу, служившему на моем фронте, и начал письмо: «милостивый государь». Он обиделся и ничего не ответил. Потом уже он дважды засылал ко мне с очень неопределенными предложениями. Третий раз, недели две назад, он послал Шидловского с предложением помочь деньгами и вооружением для совместной борьбы против большевиков. Но первым условием был поставлен: нейтралитет относительно немцев. Конечно, я не мог принять этого условия перед самым приходом сюда союзников, и ответил Шидловскому, что на этом первом пункте наши разговоры должны кончиться, но что я не отказываюсь возобновить их и помочь Украине, если это условие будет устранено. После этого я прочел приказ гетмана о принудительной мобилизации офицеров. Нужно сказать, что они протестовали, когда мы забрали в Новороссийске (?) одного офицера с русской фамилией, который назвал себя украинцем. А сами они, в нарушение всех международных прав, забирают всех русских на своей территории. Я предлагал, чтобы они дали полную свободу офицерам идти к нам, если хотят бороться с большевиками, а у себя в особом корпусе оставляли бы тех, кто не захочет идти сюда. Они же поступили иначе. Тогда мы заявили протест, несколько дней тому назад. Ответа мы пока не получили.

С Доном у нас отношения двойкие: очень хорошие с краем и очень плохие с Красновым. Он только что жаловался одному приезжему, что мы к нему дурно относимся. Но с ним иметь дело невозможно. Это человек двуличный, ненадежный, честолюбивый. Правда, мы получаем через него немецкое вооружение, но он *продает* нам — и с выгодой.: то, что ему стоит 20 коп. (патрон), нам продает за 47 коп. Как только этого препятствия не будет, конечно, мы соединимся с Доном.

Относительно Уфимского правительства ко мне приходили Титов и Пешехонов и поставили мне, в долгой беседе, в сущности, три вопроса. 1) признаю ли верховную власть уфимского правительства? Я ответил: *нет*. Странны подобные претензии группы, так случайно составленной. 2) согласен ли я вступить в сношения с этим правительством? Я отвечаю: *да*. Но фактически мы отрезаны, и я исполнить этого не могу. Что касается политических вопросов, меня раздражают справа и слева, а я *упорно молчу*. Я считаю совершенно искренно, что нам надо теперь бо-

роться с большевиками и восстановить единство России, а вопрос о форме правления и о *способах* ее создания есть вопрос будущего. На мой вопрос Деникин подтверждает: *да*, не только о форме, но и о *способах* (Учредительное собрание и т. д.). Я выражаю согласие. Деникин продолжает: я также искренне и убежденно говорю, что за единство России я могу и буду бороться, но если придется вести *междоусобную борьбу за монархию*, я просто уйду садить капусту, потому что *за это* я не хочу проливать русскую кровь. Я обращаю внимание Деникина, что ему трудно будет определить момент, когда одна борьба переходит в другую и что уже теперь он должен будет, так или иначе стать на ту сторону водораздела, который ведет к будущему конфликту на форме правления. Своим ответом Пешехонову он, в сущности, уже многое предрешил. Я также говорю, что ему надо быть менее скромным и решительно заняться постройкой всероссийского правительства именно здесь на юге, так как Сибирь теперь событиями отодвигается на второй план. Это важно и потому, что именно здесь мы можем поддержать правительство более умеренными элементами. В Киеве эта мысль выливается в форму создания «национального совета» из представителей разных групп по типу не «демократического совещания», а московского «государственного», с преобладанием умеренных элементов.

Деникин продолжает свой рассказ. Всего непримиримее Грузия, которая хочет быть независимой и принимает с нами невозможный тон. Я приготовил против нее отряд, но пока не пускаю его в дело, ограничиваясь требованием об очищении Сочинской области. Когда наступит время, мы быстро с ними покончим. Я замечаю, что Грузия уже начинает чувствовать беспочвенность и трудность своего положения и испытывает каценяммер. Ко мне грузины уже засылали в Киеве.

Крым, продолжает Деникин, просит нашей поддержки, и я уже посылаю туда небольшой отряд и полковника для организации тамошних воинских частей. С появлением союзников Крым получит большое значение. Союзники уже дали нам знать через Румынию, что они направляются прямо в Новочеркасск. Теперь мы налаживаем более прямые сношения — через Варну, и уже послали (это секрет) ген. Щербачева для информирования их. Я выражаю сомнение, чтобы Щербачев был хорошо информирован и настаиваю на необходимости обратить на этот вопрос особое внимание. На этом беседа кончается; я благодарю Деникина за то, что он меня утешил определенностью своей позиции.

---

Приходит генерал Санников и приносит мне от княгини Волконской из Одессы сообщения, которые монархический «кружок ген. Гурко» и В. А. Маклакова поручил ей передать Краснову, Денижину и мне лично. Кружок Гурко считает, что французы считают, что в России конституционная монархия необходима, как по разнообразию состава русского населения, так и по неподготовленности России в политическом отношении. Только монархия может сделать Россию сильной, а сильная Россия на востоке Германии нужна для союзников, так как «общество народов» они считают утопией. Они готовы помочь средствами и всячески; но им нужно, чтобы заявления о монархии шли из рядов русских деятелей. Чем скорее это будет сделано, тем лучше. Французы готовы поддерживать русское заявление, все, во главе с Клемансо. В Англии на это согласны консервативные сферы. Нужно убеждать остальных. Америка в этом отношении опасна, ибо смотрит на Россию через свою призму: будущность России там представляется в форме федерации штатов. Но между союзниками уже начинаются разногласия из-за разного понимания пунктов Вильсона.

---

Второе заседание съезда в четвертом часу. Доклад Степанова состоит в повторении тезисов, очень неудачных; Степанов с трудом кончает, обрывая доклад и едва прочитывая тезисы. С ним сердечный припадок. Речь Астрова цветиста, многословна и крайне неопределенна; его отношение к Уфимскому совещанию очень осторожное: он слегка указывает на положительные стороны, составляющие осуществление московского решения, но указывает и на серьезные отклонения. В течение доклада интерес публики падает; поднимается, когда заходит речь об образовании власти, — и опять падает вследствие неуловимости позиции Астрова. В речи нет остроты и ударности. Левые, присутствующие в зале (Пешехонов и другие) недовольны. Следует чересчур обстоятельная информация Григоровича-Барского об Украине, по поводу которой Шульгин, сидящий на скамье прессы, делает все время недовольные мины. Доклад Винавера о Крыме имеет очевидной целью очернить Украину и возвеличить Крым — с того времени, как он, Винавер, туда приехал и направил партию на ортодоксальный путь Ц. К. Попытки Винавера острить и выпучивать раздражают часть публики; он уходит при более жидких аплодисмен-

тах, чем вошел. Не помогает и обычный фортель: поставить себя под протекцию Петрункевича, которому Винавер читает панегирик и предлагает послать телеграмму. Многим, видимо, понятны тайные цели этого приема: хваля, бранить.

Я выступаю с оговоркой, что тезисы переделаны и что в главном мы согласны. Несогласия во внешней политике исчерпаны событиями. *Я рад, что я ошибался*. Эти слова вызывают шумные аплодисменты (при моем появлении тоже были аплодисменты, продолжавшиеся довольно долго). Я тем более рад, что это *возвращает меня к гармонии* с самим собой, со всеми моими предыдущими заявлениями. Возражаю затем против «волеизъявления», как принятия на себя нового обязательства — считать незаконным всякое правительство, которое не подходит под условие «волеизъявления». Указываю, что эта формула — или обман и лицемерие, или капитуляция перед идеей «неограниченного народовластия», — идеей, ошибочность которой доказана уроком революции. Неограниченное народовластие — идея *абсолютная*, не допускающая ограничений *изнутри*, из самой себя. Мы не должны говорить о форме правления, но вопрос о *способе* создания нормальной власти *пред-решает* форму правления, поэтому и о нем говорить не надо: события, все равно, нас опровергнут. Указываю на сугубую ошибку формулы «волеизъявление *народов*», которая может быть приложена даже к теперешней Австрии, самоопределяющейся в смысле независимости отдельных национальностей. Возражаю против морального осуждения и требования публичного покаяния от новообразований, не работавших с союзниками, и предлагаю поправки.

Все остальные прения сосредотачиваются исключительно на трех предложенных мною поправках. Для первой, самой главной («волеизъявление»), у меня нет поддержки: почти все говорящие высказываются против, заявляя так часто, что я и в этом тоже «ошибаюсь», что Зеелер, наконец, просит ораторов не возвращаться к личной оценке моего признания об ошибке. Винавер, возражая мне на мое заявление, что я давно уже, с начала революции, разошелся в этом вопросе, говорит, что тогда положение было иное; *существовала* монархическая власть и дело было о ее *отмене*, а не о ее *создании* вновь. Пробует заявить, что и я создаю двусмысленность и что тогда уже нужно говорить *открыто* о монархии. Я прерываю с места: «и говорить *открыто*, нельзя играть в жмурки». Винавер смущается. Голосование дает 14 за меня против 43. Предвидя этот резуль-

тат, я уже заранее вношу не простое исключение места о «волеизъявлении», а замену его прямым указанием, что обсуждение *характера* нормального строя и *способа* его создания *не входят* в настоятельные задачи текущего момента (формула Новгородцева). Моя поправка «народное» (волеизъявление) вместо «народов» принимается. Принимаются и мои поправки двух мест, где сохранилось порицание по адресу государств другой ориентации: не только отказываются от «торжественного акта» ретрактации, который под шумок подсунул было Винавер, вопреки нашему соглашению накануне (это признал и Степанов), но и принимают *против мнения* докладчика большинством 40 против 15 мое *новое* предложение об исключении похвалы добровольческой армии («не запятнала себя соглашательством»), хотя и заслуженной (я это дважды признал — теперь и накануне), но составляющей косвенное порицание «запятнавшим себя». Этот мирный конец восстанавливает единодушные и заканчивает перемену настроения, произведенную моим признанием в ошибке. По поводу последнего Астров горячо жмет мне руки, говоря, что теперь все преграды к моей деятельности рушились, а Панина говорит, что она только находила, что я должен произнести *именно эти* слова, и что это мне «так легко».

Обсуждаются в президиуме тезисы Винавера по внешней политике. Написаны хорошо и умно. По поводу условий эвакуации он советуется со мной предварительно и выполняет мое предложение. Я вношу ряд поправок, которые он принимает. Всего тяжелее ему отказаться от интродукции, в которой он хотел получить санкцию на *свой* (не голосованный) доклад о внешней политике в Ц. К. в Москве (тот самый, на который я написал критику) и таким образом получить косвенное осуждение меня. После моего резкого несогласия на то, чтобы предлагать собранию санкционировать то, чего не только оно не слышало, и не знает, но даже и я забыл, а другие члены Ц. К. (Степанов) оспаривают с фактической стороны, — Винавер чувствует невозможность защищать свое предложение и ретируется. Он, однако, заменяет его фразой, сохраняющей смысл его предложения («подтверждая» и т. д.) и направленной против меня. Возражать против этой фразы, впрочем, уже не приходится: я не могу требовать от этих людей особой деликатности по отношению к моей персоне.

---

17/30 октября. Утром приходит Gauquié и спрашивает моего мнения по разным вопросам: 1) он понял значение Киева и юга, переживших особую психологию революционного времени; 2) о настроениях юга французский представитель в Яссах знает *только* через Шульгина: это источник слишком односторонний: надо Шульгина ввести в группу лиц авторитетных для Европы, и таким образом расширить и исправить информацию. Простая посылка русской делегации за-границу для этой цели недостаточна, так как из-за границы, все равно, спросят его же, правильны ли заявления такой делегации; 3) ему неясно, кого и в какой форме надо поставить во главе русской власти. Как я отношусь к директории? Я отвечаю, что к директории отношусь отрицательно, к Уфимскому правительству также, и что я очень рад, что события отодвигают Сибирь на второй план, давая первое место югу. Этим надо воспользоваться, чтобы здесь создать не директорию, а диктатуру. В лице Деникина я вижу готового диктатора. Ни Корнилов, ни даже Алексеев к этой роли не подходили так хорошо. Фигура Корнилова сохранилась в прекрасном историческом освещении, но при свете событий, в действии, обнаружались бы его отрицательные качества. Алексеев, при всех его достоинствах, не волевой человек. Деникина я всегда уважал за его воинские качества, а теперь вижу, что, при всей неопытности, он не лишен и качеств политика: то, что он делал, есть хорошая политика. Гокье говорит, что Деникин не был решителен, что он — слишком скромн, что его надо рекламировать и хорошо окружить. С этим последним я соглашаюсь. Затем Гокье просит устроить совещание из Шульгина, Степанова, Астрова, Винавера и меня, чтобы от имени этого совещания немедленно составить заявления к союзникам о задачах России. Русским должна принадлежать инициатива этого заявления. По мере обсуждения выясняется и содержание этого заявления. Надо показать союзникам, что юг России, для них особенно интересный, является более естественным центром и исходной точкой восстановления России, чем Сибирь или Мурман. Надо указать взгляд русских на ближайшие задачи действия. Надо высказать желания России. Я сказал, что тезисы Винавера являются хорошим исходным пунктом. Гокье повторил, что нужно сообщить этим мнениям не только «кадетский», а более широкий характер. К сожалению, здесь нет никого из социалистов, которых можно было бы пригласить в совещание — для удовлетворения общественного мнения союзников. Я говорю, что пора дать по-

нять союзникам, что к России нельзя применять западные шаблоны и что они уже много навредили нам этой своей тактикой. Соглашаюсь поговорить об устройстве совещания. С Винавером и Астровым Гокье уже говорил, хотя не в столь детальных чертах. На мое замечание, что я, вероятно, дискредитировал среди союзников моей ориентацией, Гокье ответил, что мой авторитет именно в технических вопросах слишком велик, чтобы меня обойти. Могу ли я переселиться из Киева? Теперь нет; если серьезно понадобится в будущем, то — да. Гокье считает, что теперь надо иметь в руках с одной стороны Киев, с другой — Екатеринодар, — и тогда Уфу можно уже будет уравновесить.

---

Приходит Сагателян. Он бежал с трудом из Кисловодска, где был арестован с другими армянами, на Ставрополь. Рассказывает про большевистские ужасы. Бегло обмениваемся мнениями об армянском вопросе. Я ставлю вопрос, следует ли делить Кавказ на три части? Он отвечает (по секрету), что, по его мнению, Кавказ должен быть един.

---

Заседание съезда. Меня убеждают говорить после Винавера. Чувствую, что это нужно, и импровизирую большую речь в поддержку его тезисов. По окончании он подходит и пожимает руку. Публика довольна: слава Богу, единство восстановлено.

Вечером, по закрытии съезда, заседание членов Ц. К. Я рассказываю про киевские решения, читаю проект состава «Национального Совета», набросанный П. И. Новгородцевым. Затем переходим к проекту «конструкции» добровольческой армии, в ее отношениях к краевому правительству. Проект написан месяца два назад К. Н. Соколовым с Степановым и теперь обсуждается в «особом совещании». Шансов на принятие, по словам Степанова, нет, ибо краевое правительство против. По проекту, главнокомандующий армией (Деникин) есть диктатор, к которому переходит верховная власть, *оставшаяся* «по основным законам» 1906 г. за императором. При нем совещательный совет, который, «в порядке подчиненного управления», действует с правами министров. Краевое правительство действует в кругу местных дел, перечень которых прилагается, так же как и перечень общеимперских дел. Идея та, что по мере расши-

рения завоеваний или сферы влияния добровольческой армии, совершается, с одной стороны, объединение России под военной диктатурой, а с другой — создаются местные автономии. Обсуждаем проект; при обсуждении выясняется: 1) трудность устранить от участия во власти местные правительства, и невозможность ввести их, не перейдя к *коллективной* диктатуре, на манер Уфимской; 2) неясность самого процесса собирания России под эту формулу; 3) опасность конфликта собранной южной России с собранной Сибирью. Мне поручают поговорить с Шульгиным до общего совещания, завтра утром, так как он спешно составляет записку для «особого совещания» и едет *один* в Яссы.

---

18/31 октября. С утра иду к Лукомскому. Уславливаемся повидаться в 8 1/2. Он упрекает меня, что я сказал Деникину, будто он не приводил мне в Киеве как раз тех доводов, которые в действительности решили победу союзников. Напоминает, что говорил мне о рассыроплении французских войск американскими солдатами, которых бьют, когда они сражаются отдельно. Говорил, будто бы, и о новых средствах техники. Я напоминаю ему, что тогда еще не выяснились действия танков.

---

Иду к Шульгину, застаю его больным. При обсуждении темы записки, которую он, действительно сегодня пишет, обнаруживаются разногласия в наших взглядах. Он не склонен стремиться к взятию Москвы. Теперь же думает, что нас там, наверное, предупредят сибирские войска, если их действительно 400 тысяч. Но *к тому времени* необходимо укрепиться на юге для *серьезного* разговора с севером о форме правления. Создать монархию путем пронунциамента он не надеется: нужна предшествующая или последующая санкция. Я отвечаю, что санкция может быть только последующая. Говорит о роли Николая Николаевича. Деникин намеренно не назвал себя «верховным». В. Кн. Николай Николаевич *поставит* царя. Я решительно возражаю против этого способа. С точки зрения оккупации юга, как *первой* задачи, Шульгин оценивает и возможность немедленного прекращения оккупации немцев. Возражаю, что нельзя *распылять* добровольческую армию и что ее задача, все-таки, Москва, где она должна стереть главу змия. Тот, кто будет

владеть Москвой, будет владеть Россией. Шульгин, напротив, утверждает, что Москва поблекла, вслед за Петроградом. Убеждаю его внести в записку тезисы Винавера об условиях перемирия. По его замечанию, что в пунктах Вильсона имеется «самоопределение», замечая, что Винавер сговорился о докладе и о тезисах с В. А. Степановым, который усвоил тоже это ошибочное представление о тезисах Вильсона и необходимость специально устранить толкование этого термина в смысле федерации. Объясняю, что в тексте Вильсона нет и самого термина «самоопределения».

---

У могилы М. В. Алексеева. Панихида в подземелье собора. Терновый венец, перевитой андреевской лентой, от близких. Венки от французской миссии:

«Au héros immortel, grand patriote, hommage de profonde admiration».\*

Масса венков и лент над проломом в полу, в который опущен гроб. Молча расходимся.

---

В 5 часов у Винавера. Собираемся только к шести. — Астров, Панина, Степанов, Шульгин и я. Шульгин читает письмо к нему Эно от Сэнт-Обэр с просьбой приехать в Яссы и изложить свое мнение о задачах союзников по отношению к Украине. Шульгин поясняет, по поводу упоминания письма о монархии, как об общем желании России, что он и его друзья уже целый год обрабатывают С. Обэр. Самая записка опять исходит из классификации государств на овец и козлиц, причем Украина и все окраинные государства оказываются в одной категории с совдепией, так что их нужно тоже или завоевывать или оккупировать. В связи с этим Шульгин и ограничивает задачу добровольческой армии плюс союзники оккупацией русского юга и уничтожением всех следов «украинства», с оставлением за населением лишь прав «малорусского просторечия», как языка вспомогательного в низших классах школы и языка допустимого для обращения обывателя по начальству и в суде. Правда, он упоминает и о другой возможной задаче

---

\* «Бессмертному герою, великому патриоту, выражение глубокого восхищения». *Прим. ред.*

— взятии Москвы, — но тут же раскритиковывает этот план, предполагая, что в Москву раньше придут сибирские войска и что затем нужны будут переговоры и соглашения между умеренным и крайним правительством.

Я возражаю, что «украинский» вопрос есть лишь частный случай национального движения в окраинных государствах, что Россия и при самодержавии поддерживала прибалтийские народности против немцев, что в этих народностях, в литовцах и т. д. мы получим врагов, если будем давить их национальные стремления; что вопрос о присоединении Галиции становится проблематическим, если мы заменяем «украинство» «малорусским просторечием», что нельзя распылать добровольческую армию (утром Ш. сказал мне, что ее не больше 60.000, 4 неполных дивизии пехотных и 3 дивизии конных) и употреблять ее в качестве гарнизонов Украины, отказываясь тем самым от главной национальной задачи — взять Москву и разрушить центральный аппарат «советской власти», что кто владеет Москвой, тот владеет Россией и т. д. Шульгин уперся на своем: не хочу спускать флага на финише. Я объясняю, что Ш. вождь политической группы, имеющей успехи на выборах, что мы не можем ожидать спуска его флага и что остается, признав записку его личным документом, попробовать составить другую, куда ввести наши беспорные темы об условиях перемирия и т. д.

Маленький эпизод. Винавер предложил было Зеелеру подписать телеграмму с приветствием союзникам, которую он же предложил послать на съезде, не одному краевому комитету, а и членам Ц. К. Тут он заявил, что телеграмма должна начинаться первой фразой (о верности союзникам). Я сказал, что в таком случае мне неудобно подписываться, и лучше вернуться к мысли о подписи одного Зеелера. Тогда Астров и Панина стали настаивать на изменении текста телеграммы. Винавер, смущенный, начал говорить, что это было *его* предложение, что потом он подумал, что действительно, лучше подписать одному Зеелеру, чем менять текст телеграммы. Видя, что все молчат, он начинает говорить что-то несвязное, из чего постепенно выходит предложение — изменить текст, чтоб я мог подписаться.

Я ухожу в Лукомскому (7½ ч. вечера). Обстоятельный разговор с Лукомским. Я передаю ему содержание записки Шульгина. Он говорит: я отвечаю, что план похода армии — есть *мое* дело, дело штаба, и никого другого. По существу признает, что задача армии будет — поход на Москву, а не

занятие Украины. Согласился с тем, что в Украине можно фактически оставить германцев. Он уверен, что мнение Шудьгина не сделается мнением добровольческой армии. Относительно трех пунктов наших требований от перемирия сказал, что иностранный отдел добровольческой армии уже принял такие же решения: дня три тому назад в Яссы и в Варну, а также английскому генералу (Даннефвилю) в Персию послано сообщение, в котором говорится и о приостановке действий Брестского договора, и о возвращении флота, и о борьбе с большевиками.

Что касается создания власти, я ему сказал, что в разговоре с Харламовым, Воронковым и Зеелером мы решили — или настаивать на принятии проекта добровольческой армии (верховная власть *над* краевой, или оставить всё в прежнем виде, но на включение представителя края в верховную власть и на превращении ее в *коллективную*) не соглашаться. По этому образцу будут присоединяться и другие области. Но Деникин не авторитетен: ведутся переговоры с вел. кн. Николаем Николаевичем. Я заметил, что это — ошибка с монархической точки зрения, так как Николай Николаевич станет мишенью и дискредитирует идею монархической власти раньше, чем она превратится в совершившийся факт. Лукомский ответил, что это — еще не решенное дело. Относительно нашего съезда Л. повторил то, что мне сообщил Зеелер. Они не пришли на съезд, чтобы не создавать прецедента. Съезда социалистов они не допустят, а социалистов на-днях отсюда выгонят. Я рассказал ему про «национальный совет»: он понял мою идею замены представительства трех «центров» непосредственно — представительством партий.

---

После Лукомского чаепитие в краевом комитете. Обсуждение вопроса о газете, о кандидатуре Деникина в атамань. Меня отзывают военные, настаивают на газете в *Екатеринодаре*. Я ставлю условие: соберите 500.000 рублей. Генерал обещает. Поздно приходит Астров и Панина, сообщают, что решено, чтобы я и Винавер писали записку: настаивают, чтобы я остался.

19 октября — 1 ноября. Утром приходит Фальборк, жалуется, что Степанов ведет левую политику в особом совещании. Он отражает настроение офицеров, которые недовольны высшим

командованием за неопределенность политики. Левые меня ругают за германскую ориентацию. Правые отвечают им: это — только предлог, а причина та, что Милюков против левых. Цитируется мое мнение о народовластии. Северная статья А. Васильева, кадета, в шультгинской «России», неприличные нападки на Зеелера.

---

Поездка на ферму, где убит Корнилов. (Дальше идет описание поездки на могилу ген. Корнилова, сделанное на отдельной странице, карандашом. *Прим. ред.*.)

### *Поездка на могилу генерала Корнилова*

Высокий правый берег Кубани. На высоком месте «ферма», состоящая из двух зданий: длинные службы, крытые красной черепицей, и маленький отштукатуренный домик, деревянный, крытый железом. На стороне домика, обращенной к Екатеринодару, маленькая угловая комната Корнилова, тесная, с выступающей печкой. Угол, в который ворвалась бомба, проделав отверстие, уже замазан. На крашеном полу нет следов разрушения. Отступая от угла, вырезан в полу четырехугольник, в котором под полом построен фундамент для небольшого мраморного креста, увешанного венками. Между памятником и углом — в углу столик с двумя нковами, перед которыми теплится лампада. Стол грубой работы, побольше размером, на котором работал Корнилов перед смертью, отодвинут в угол между стеной и печкой. На нем следы разрушения, произведенного снарядом. Снаружи — дыра в нижней части стены замазана и следы разрушения уничтожены. Раненого Корнилова вынесли на площадку высокого берега Кубани. Тут стоят два креста: поменьше, над местом смерти Корнилова, над ним посажена плакучая ива с опущенными ветвями. Рядом крест побольше, над могилой жены Корнилова. По Кубани идет пароход; равняясь с могилой, приспускает флаг...

---

По возвращении, у Зеелера свидание с В. П. Рябушинским. Везет Денигину приветствие от объединения торгово-промышленников и показывает свои неограниченные полномочия. А деньги везете? Нет, но везу право для добровольческой армии нас облагать, как она хочет.

---

У Винавера. Готова телеграмма, в которую Винавер так вставляет фразу о своем докладе в мае и о решении конференции к. д., закрепившем «верность союзникам». Я отказываюсь подписать. Степанов присоединяется к идее — сохранить текст и поставить одну подпись Зеелера. В конце концов Винавер вынужден вычеркнуть это место и я подписываю.

---

Приходит в 5 часов Родзянко и развивает свою мысль о созыве в Екатеринодаре Государственной Думы, Церковного Собора и Совета Республики. Я признаю это технически невозможным (оказывается он говорил об этом с Деникиным, который тоже отнесся скептически). Излагаю наш план и состав «Национального Совета». Родзянко разочарован. Так, к. д. не поедут. Не поедут. Тогда и затевать нечего...

---

В 6 ч. совещание с группой Сев. Банка о газете. Мое вчерашнее предложение принимает форму. Они предлагают внести 600 тысяч с тем, чтобы общественная группа внесла 400 тысяч и образовать акционерное общество для издания к. д. газеты. Газета должна быть «учрежденная П. Н. Милюковым». Соглашусь. В 165.000 идет типография партии. Найдутся ли остальные 235 тысяч, еще вопрос.

---

Зеелер, Николаев и другие члены краевого комитета передали Деникину, Драгомирову и др. решения съезда. Трогательная речь Зеелера. В своем ответе Деникин между прочим говорит, что добровольческая армия «окруженная предательством и изменой». Не знают, к чему отнести. Я отношу к левым.

---

Пешехонов получил сегодня телеграмму из Харькова, уведомляющую, что союзники передали весь подряд (на всероссийскую власть) одному Николаю Дмитриевичу (Авксентьеву).

---

Астров и Панина имели совещание с левыми (Союза Возрождения). Те экзаменовали, исходя из *моих* речей на съезде. Хотят ли к.д. создать всероссийскую власть *здесь*? Ответ, нет, но они не считают единственной всероссийской властью и Уфимскую. Как относятся к учредительному собранию? Панина произнесла сильную речь, в которой говорила, что со времени соглашения в Москве произошли две перемены. Во 1-х, левые признали *теперешнее* Учредительное Собрание, хотя в Москве согласились не признавать его; во 2-х, с юга приходят союзники, а это меняет дело.

Вечером у Винавера. Панина настаивает на продолжении разговоров о внутренних вопросах. Она и Винавер, видимо, смущены правой ориентацией добровольческой армии и, вероятно, со слов левых, предсказывают, что добровольческая армия изолирует себя и будет уничтожена, что Россия разделится на части и будет гражданская война и т. д. Как я смотрю на положение? Отвечаю принципиальным отрицанием «неограниченного народовластия», утверждением, что направления добровольческой армии изменить неудачно (так в тексте; вероятно описка, нужно — «изменить невозможно». *Прим. ред.*). Винавер ссылается на постановления съезда. Я признаю заявление левых, что эти постановления уклончивы и двусмысленны, и допускают разные комментарии. Они очень недовольны, Винавер говорит, что в случае появления монархии грозит раскол партии. Я говорю: да, или пересмотр программы, или раскол. Спрашивают о вел. кн. Николае Николаевиче. Я рассказываю о посещении ген. Санникова — Панина настаивает на созыве *пленарного* заседания Ц. К. в Крыму (при Петрункевиче). Я говорю, что неосуществимо и предлагаю Харьков.

Телеграмма союзникам посылается с *прибавкой* о верности и без подписи членов Ц. К., о чем меня уведомляет Астров, спрашивая, имею ли я что-либо против. Конечно, не имею. Решению этому, видимо, предшествовали свидания с Гокье. Фуит мяса получен таким образом сполна. Я прошу Винавера все-таки писать и свой текст записки, предупреждая, что хотя я стараюсь писать объективно, но глубокая разница в наших точках зрения может, все-таки, сказаться.

---

20 октября—2 ноября. С утра приходят чехи и осведомляются главным образом о вопросе, считаем ли мы их миссию законченной вместе с окончанием войны с Германией. Отве-

чаю, что большевики есть настоящий союзник Германии, против которого продолжают бороться наши союзники, что чехи заслужили свое государство именно борьбой не с германцами, а с этими их союзниками и что задача будет кончена лишь тогда, когда признают ее оконченной наши союзники. — Они сообщают, что после моего отъезда из Ростова было получено письмо (ответ) Масарика, ими вскрытое. Масарик говорил там, что не может помогать Алексееву, потому что он — монархист, и убеждал меня соединиться с с.-р. и меньшевиками. По их словам, чехи остались в России только потому, что их задержали большевики. От большевиков был отправлен парламентаром пленный Макса, с предложением прекратить борьбу и уехать во Францию. Его отослали ни с чем; Макса дискредитировал, из Масариковской ориентации остается в Сибири только доктор Павлу. Остальные, Чечек, Гайда и др., ближе к Крамаржу. Между ними и сибирскими войсками существуют трения. Сибиряки уже предлагали им уходить. Значительная часть сибирских войск не может быть употреблена против большевиков, потому что *сами* заражены большевизмом. Чехи вообще считают, что не должны вмешиваться в русские дела, но они думают, что это неверно (видимо, речь идет о невмешательстве в политику на правой стороне). Они имеют поручения от Деникина и Драгомирова. Здесь объявлен набор. Просят меня помочь убедить болгар — разрешить набор добровольцев в Болгарии. Теперешнее чешское правительство Крамаржа и Клофаца ближе к Дюриху, чем к Масарику.

---

Приходит Ю. М. Лебедев и рассказывает, что Елачич привез с собой целую организацию Земсоюза с румынского фронта, — штат служащих, 3 миллиона денег, разные склады. Хотел служить добровольческой армии, но Главный Комитет Земгора наложил руку, потребовал объединения, а затем выдвинул «демократических» деятелей, которые захотели прибрать все к своим рукам и употребить деньги на «политику». Елачич попался в ловушку и, кроме авайсов тысяч на 500, выдал тысяч 300 (не на эти ли деньги издается «Родная Земля»?). Потом заметил и стал протестовать против «политики»; тогда ему грозили отставкой, а затем и осуществили угрозу. Он не подчинился, отделился и обратился в «особое совещание» добровольческой армии. Степанов принял сторону левых, и ему было от-

вечено, что во взаимные партийные пререкания добровольческая армия не вмешивается, а имеет дело только с Главным Комитетом. Теперь Елачич, чтобы сохранить деньги от левых, а вещи — для их настоящего употребления, хочет легализоваться у Краснова и оттуда помогать добровольческой армии. Просит поговорить с Драгомировым.

---

Разговор был у Астрова с Деникиным. Из него Астров сообщил пока только то, что Деникин шутя назвал работу съезда — плагиатом. «Мы не политики, а сделали то же». В сущности, верно, что через Шульгина и Степанова идеи командования перешли в доклады съезда, и мой разговор с Лукомским подтверждает близость наших резолюций и решений добровольческой армии.

---

Вечернее заседание Ц. К. Доклад Тер-Карпетова о Закавказьи и Грузии — затягивается. Хотят читать мою записку, но Винавера вызывают к Деникину, а Астров должен на полчаса пойти к Гокье. Антракт, в течение которого я кончаю записку.

Против моей записки — только частные возражения, которые смолкают, когда перевожу отдельные места по-русски. Винавер прочитывает свой проект — в стиле ноты; после короткого колебания все склоняются к моему тексту.

---

*21 октября — 3 ноября.* Переписываю записку с исправлениями. Делаю визиты к Драгомирову и к Нератову. Я излагаю резюме своих впечатлений. 60-тысячная армия борется против 160 тысяч. Внутри ее разъедают левые течения. Получается впечатление непрочности положения. Правда ли? Драгомиров не опровергает, говорит, что решено бороться с левыми. Затрагивает тоже вопрос о нашей Киевской беседе. «Моя привычка — никогда сразу не убеждать умных людей; подумают и потом сами признают свою неправоту». Я говорю, что, хотя Лукомский мне и напоминал, что говорил про американцев и про технику, но мое впечатление все же, что никто из нас не предвидел, как в действительности сложатся факты. Жизнь сложнее рассуждений.

Беседа с Нератовым. Он показывает мне записку, очень бледно написанную, которая, действительно, содержит многое из того, что сказано и нами: но у нас сказано лучше и решительнее. Записка очень небольшая; очевидно экспозе общего положения в области (в соседних), про которое мне говорили, сделано в другой какой-нибудь записке. Здесь — только требования от (так в тексте. *Ред.*) перемирия. Нератов замечает, что с высшим командованием можно говорить, но что молодежь, окружающая его, крайне непримирима как в вопросах о Доне и Украине, так и в вопросах отношения к левым. Я замечая, что именно в интересах умеренного решения нужно соединиться *со всеми* элементами наличной государственности. Свергая гетмана и Краснова, мы сами не знаем, кому мы открываем путь. Затем я указываю на необходимость привлечь германцев к международной экзекуции против большевиков. Нератов согласен. С. Д. Сазонов приезжает завтра.

---

Харламов рассказывает, что во вчерашнем совещании с краевым правительством по вопросу о создании власти ни до чего не договорились. Кубанцы предлагают создание *союзного совета* вместо единоличной диктатуры. Добровольческая армия на это не идет, и донцы (Харламов, Воронков и Зеелер) ее поддерживают. Кубанцы заявили, что предложат свой контр-проект. На этом прения пока остановились.

---

Вечером совещание с Шульгиным, и с нашими о записке. Астров приходит с новым настроением. Гокье очень встревожен, что Добровольческая армия не поладит с левыми и с уфимцами. В разговоре с Деникиным Астров заявил, что он не принимает назначения в «директоры», но пока и не отказывается от него. Он написал с Чаской (летит завтра через Каспийское море в Сибирь) вопросы уфимскому правительству, и от ответов зависит его решение. Между тем, сегодня в «Родной Земле» напечатано о заседании и о программе уфимского правительства: весьма неприемлемая позиция. Они же сообщают из Харькова, что союзники признали уфимское правительство всероссийским. Астров боится закрыть себе путь на случай, если потом признают его участие в уфимском правительстве нужным.

Шульгин сразу признает, что записка написана очень хорошо, и согласен подписать. Делает только частные замечания. Винавер опять настаивает на заявлении, что мы составим общее представительство России (это, по его идее, есть первая форма объединения), Астров немножко смущенно заявляет, что не может подписать, если не будет сохранена последняя часть записки от слов «Nous ne touchons» до конца. Шульгин предлагает спасти конец, выкинув фразу «Nos alliés feront bien». Но тогда получается отсутствие перехода от «формы правления» к «единому правительству». После многих убеждений и неоднократного прочтения всего текста по-французски и по-русски, Астров соглашается, что в остающемся тексте ничего не предпрещает его отношения к уфимскому правительству. Он предлагает даже дать подписать записку Пешехонову. Я не склонен. (По этому поводу обсуждается и вычеркивается первая фраза — «sans nous attarder». Винавер говорит, что не стоит предлагать, потому что все равно Пешехонов не подпишет. Винавер понимает, что общий дух и тон записки, после всех изменений, все-таки не вытравлен). Предлагают еще подпись Родзянки. Я нахожу, что его не надо рекламировать. Кто-то говорит, что он только обидится, что записка составлена без него, и потребует перемен. Я подписываю свой текст записки.

---

Перед совещанием Панина меня отозвала в отдельную комнату (у Сокольских) и заявила желание «договориться до конца». Все-таки мы расстаемся с новым разногласием: «вы поедете и будете действовать обратно с нами, несмотря на решения съезда». Я отвечаю: «решения двусмысленны и допускают разное толкование. Конечно, я буду толковать по-своему». «Неужели нельзя вас убедить, вы так уверены в себе, что никакие доказательства до вас не доходят. Вы непроницаемы. Ведь Россия не может вернуться к тому моменту, с которого сошла, вопреки вам». Я отвечаю: «Я действительно потерял надежду договориться до конца. Очевидно, в основе лежат различные впечатления целой жизни. Для меня все то, о чем мы спорим, представляется в виде реального вывода из реального опыта. Я знаю, что стоит за отвлеченными фразами везде, где они говорят. Я слишком много видел и наблюдал. Вы считаете, что мои ссылки на «законы истории и социологии» слишком отзывают доктринерством и неподвижностью. Но это не так. Я, конечно, признаю, что Россия

сдвинулась с прежней точки и на нее не вернется. Но отрицаю, что Россия ушла так далеко, как вы думаете, вопреки законам человеческой психологии». Так и не договариваемся.

---

Перед уходом из квартиры Винавера Степанов отзывает для отдельной беседы. Он за монархию, хотя попытки публичного исповедания этого взгляда здесь встречаются упреками в партийной измене. На чем я основываю свою уверенность, что монархия восторжествует? Я отвечаю: на том, что убедятся в невозможности *иначе* создать власть, нужную для России. Убедятся в этом и союзники. Моя цель — убедить их в этом без лишних тяжелых опытов. Но чтобы убедить, нужно быть искренними. Добровольно ступевываясь перед левыми, мы этот шанс теряем и повторяем опыт с Керенским. Союзники разберутся, когда войдут с нами в прямые сношения, и поймут, что нельзя давать монополию власти уфимским социал-революционерам. Теперь они делают это *в предположении*, что выполняется московский план, на который и мы согласились. Когда увидят, что это не так, и поймут, что обстановка глубоко изменилась, возможно, что они внесут соответствующие изменения. Прощаемся дружелюбно. Я ему советую поддерживать в особом совещании равновесие, ввиду левых устремлений Астрова.

---

Астров выражает сожаление о моем отъезде. Я отвечаю: я своим удалением вам облегчу отношения с левыми, главные нападения которых направлены на меня.

---

Газета что-то не клеится. Местные капиталисты не очень склонны внести свои 235.000.

---

Вечером 10 ч. 40 м. на вокзале. Степанов, Николаев, Сокольский провожают. Отъезд в Ростов.

## ПРИЕЗД В ПАРИЖ

*Париж. 6-19 декабря.* Приезд в Париж. Остановилась вся миссия в отеле Лютеция. Звонил к Маклакову. Он занят, у него заседание, потом он вызван к Пишону. С 8 1/2 ч. можно видеть, но меня он просит зайти к нему раньше, в 6 часов, чтобы поговорить наедине.

Предупреждаю членов миссии и иду. Гурко уже с вокзала очень недоволен невнимательностью Маклакова.

Маклаков мне сообщает, что Пишон его вызвал по поводу нашего — и особенно моего — приезда. Оказывается, что на встречу нам — и в Константинополь, и в Рим, и на французскую границу высылались распоряжения, чтобы нас не пропускать дальше. Но они опоздали. Теперь Клемансо, узнав о нашем приезде, взбешен и накричал на Пишона. Он сохранил свои авторитарные привычки и его все боятся.

Пишон просит Маклакова «обратиться к нашему (моему) патриотизму и не доводить дело до скандала, который непременно разыграется, если мы останемся здесь». Маклаков предлагает немедленно всем ехать дальше, в Англию, сделав вид, что таков наш маршрут. Тем временем он постарается здесь подготовить наш прием правительством (за исключением, вероятно, меня) по возвращении. План, несомненно, самый благоразумный, и я соглашаюсь. Маклаков говорит, что отношение к нему лично — хорошее и что эпизода с его оскорблением в театре, о котором рассказывали в России, не было. В театр он не ходит, а на собраниях, где он бывал, его приветствовали наравне с другими послами. Но вообще к России, после всех разочарований, отношение недружелюбное: оно смягчается, но еще далеко не прошло. Упоминание о русских армиях на памятной доске — в городской мэрии — чуть не единственное исключение. Вообще же здесь систематически проводится та точка зрения, что мы вышли из борьбы и что Россия уже не союзница. Они столько раз были обмануты в ожиданиях, что боятся теперь признать в. н. русское правительство. Переворот Колчака внес новое смущение, как доказательство непрочности. Не исключена возможность, что на конгрессе мира Россия вовсе не будет с решающим голосом. Они, послы, пытаются составить коллегия авторитетных лиц, которая бы поддержала их *совещательный* голос. Клемансо предлагал объявить в Париже «национальный совет», на подобие чешского, но они не решаются на это и предпо-

читают, чтобы Россия не ангажировала себя вовсе, — стараясь лишь *отложить* все важные для России вопросы. (За исключением польского, финляндского, Галиции и проливов).

Относительно вмешательства французов убеждать уже не нужно. Правительство в этом убеждено и лишь предпочитает действовать осторожно, чтобы поставить общественное мнение перед совершившимися фактами. Но оно не хочет выступать одно, а англичане не хотят участвовать. Если бы мы могли повлиять на них (Набоков очень слаб, и Бальфур повернул против России, Мильнер за вмешательство), то сделали бы полезное и важное дело. Это — еще аргумент за то, чтобы немедленно ехать в Англию. Я могу в Лондоне отстать от делегации и таким образом переход будет возможно мягкий. Во время пребывания миссии в Лондоне Маклаков подготовит ее возвращение.

---

Сообщаю в отеле всей компании о том, что сказал Маклаков. Гурко окончательно выходит из себя и заявляет, что он дальше не поедет и останется здесь, что нам надо всем добиваться приема, а если не получим, всем уехать обратно. Я стараюсь смягчить: так мы идем как раз на тот скандал, который надо предупредить. Гурко продолжает негодовать: наверное, Маклаков не сумел защитить достоинство русского представительства. Если бы он встретил нас на вокзале и дал бы нам банкет, то дело было бы иначе. Я принимаюсь защищать Маклакова. Тогда выдвигаются практические соображения: а что если нас и в Англии, прознав о французском отказе, правительство не примет, да кроме того еще не пустит назад через Францию?

Гурко продолжает бурчать, и в таком настроении мы все в 8 1/2 часов идем к Маклакову. Здесь разыгрывается длинный спср с очень резкими выпадами Гурко, который сразу начинает обвинять М. за то, что он не удосужился встретить нас, не умеет поддержать русского достоинства и т. д. Маклаков начинает отгрызаться. Я настаиваю на том, что оставаться здесь нельзя, необходимо в интересах дела использовать последний шанс и предлагаю два варианта: или я еду вперед в Лондон, или мы все едем вместе. Затем вношу предложение, поддержанное Титовым, отложить решение до нашего отдельного совещания и перейти к сообщению друг другу фактических сведений.

Просим начать Маклакова.

---

*Сообщение В. А. Маклакова*

Когда здесь настаивали (русские, Гирс) на признании Омского правительства, то имели в виду представительство на конференции. Пипон сказал на-днях, что, если Колчак соединится с Деникиным, то признают.

Отношение к обсуждению перемирия — помимо нас. Турецкое перемирие совершенно помимо, и потом мы возбудили вопрос с немецким перемирием — нас запрашивали, но в обсуждение не вводили. Упорно проводили мнение, что мы больше не воюющая держава — как мы ни спорили. Пока нет правительства, мы только можем спрашивать совета. Мы не очень спорили по поводу перемирия, так как нас мало касалось. Кое-что они для нас включили.

Первые попытки спросить их, как они смотрят на участие России в конференции: *да*, но не знаем, как это сделать. Подумаем вместе. Потом получена телеграмма Ключникова, с поручением заняться этим вопросом. Извольский доходил до идеи создания русского комитета. Другая крайность — сохранить свободные руки и не участвовать. Мы остановились на середине: пока нет признанного правительства, нам невыгодно себя связывать (в окраинных вопросах — Сибирь и Финляндия). Лучше, чтоб никто ничего не подписывал. Но надо защищать интересы России, то есть указывать нашу точку зрения. Некоторые вопросы (отношение к частям) можно было просто отсрочить: нельзя трогать нашу территорию *в порядке* обсуждения вопросов войны: это конгресса не касается. Тогда падал финляндский, литовский, эстонский вопрос. Мы стояли на том, что только бесспорно польские области отойдут. Спор с поляками о Галиции — *нельзя* было отсрочить. Вопрос о проливах — тоже Россия заинтересована. Это три пункта, остальные могут быть отсрочены.

В какой форме и кто? Дипломатические представители не авторитетны. Около них должна быть компетентная официозная коллегия от правого до левого фланга: Сазонов и Чайковский. С Деникиным сношений не было. И Краснов, и Гербель. Но все это — еще не Россия: лучше сохранить свободу рук. Нужно единство, и отдельно Деникин и Уфа — не есть еще Россия. Должно быть *либо фактическое правительство большей части России, либо Россия должна отсутствовать*. Некоторые надежды были, если бы соединились Украина, Дон, Сибирь, Кавказ, — остальными можно было бы пренебречь.

Они-то говорили о комиссии, которую уважат коллектив послов: Сазонов, Коконцев, кн. Львов. Но теперь стараемся разработать ряд вопросов (польский; против самоопределения по Вильсону — пишет Мандельштам). До сих пор имеем сношения с одним Омском. Отсюда едет целая комиссия с французами в Украину. Они послали крейсер с радио-станцией. Только сегодня получил новость, что в Екатеринодаре поставлен достаточно сильный аппарат, чтобы сношаться с Омском. Пришла телеграмма Сазонова Демидову, что Якушев прибыл. От Сазонова уведомление о своем назначении получено без даты (с какого-нибудь судна). Переворот Колчака подорвал, как признак непрочности. На признании Омска я не настаивал, а на скорейшем сближении с югом. Те, кто советовали признать Омское правительство, провалились с Колчаком.

Лебедев сообщил о подробностях переворота: было ясно, что дело к этому шло. Сейчас телеграмма из Омска о большой победе над большевиками. Болдырев ушел и идет к Деникину, теперь во Владивостоке. Против Колчака — Хорват и Семенов, за которыми японцы: игра со стороны. Японцы отвечают, что они не поддерживают. Но в действительности дают деньги и оружие. Дальше Читы не идут. Союзники очень хотели большого вмешательства, но сейчас относятся очень подозрительно. Про армию Колчака отзывы военных, что она *будет* способна, но *народная* слаба. Чехи — сильно сказать, что развалились. Были люди, слишком сочувствовавшие левым. Но после приезда Стефаника и Жанена — дело наладится. Но там разочарование, что обещанная союзниками помощь не пришла. Французы уже дошли до большевистского фронта. — «Большевикам (от 17 декабря) нанесено поражение, отступают к Черми. Арестованы и привезены в Омск с. р., члены самарского учредительного собрания. Несколько военных правых, не (не разобрано; *прим. ред.*) развала, арестовали двух; тогда трое (Виноградов, Саложников, Вологодский) передали власть Омскому правительству. Колчак отдал под суд тех, кто арестовал: их оправдали. Обвинение — фантастическое: сношения Авксентьева с Троцким. Авксентьева выпустили. Я просил французское правительство пустить сюда. Они доехали до Китая, но там остановили англичане — я вторично просил. «Чернов бежал; Дутов уговаривает подчиниться Колчаку; Деникин подчинился Колчаку». Думать о признании Сибири при существовании Деникина они перестали.

Пока мы по всем вопросам считаем необходимым высказывать русскую точку зрения. Собрать всех, *кто потянет* (Извольский, Сазонов). Форма: комиссия, записки и т. д. Полномочия отдельных правительств усилят, но не сделают Россию равноправной.

С Чайковским сносимся без шифра: мало интересно, что он делает в такой маленькой области. Если устроят коллегия с *левым* представителем, — он соглашался на время приехать. Он наиболее подходящий из левых. История ареста Чайковского очень повредила; особенно Вильсон уперся, боясь контрреволюции. Бойся военной интервенции с этой точки зрения. Только чехо-словаки заставили переменить его мнение в пользу интервенции. Арест Чайковского Чаплиным смутил: он подозревал участие англичан.

О добровольческой армии сведения пришли поздно. 5-6 тысяч человек: статья Грондиса об армии *Алексеева*. Скоропадский и Краснов — неопределенная позиция; какие-то офицеры. Омское правительство ни о чем не говорили. Узнали от Песоцкого, Гокье от 15 ноября из Новороссийска. Тогда возложили все надежды на Деникина, и Керенский, настаивавший на признании Омска (письмо Пишону, в газетах) упрекал, что здесь замышляют переворот.

Я не видел в глаза кн. Волконской и не говорил о монархии. Есть кружки в Швейцарии: «Новая Россия». Сейчас говорить об этом за границей — значит поставить на себе крест. Сложилась ассоциация: монархист-германofil. Вообще династические симпатии падают. Доканал Дмитрий Павлович, танцевавший здесь танго в увеселительном заведении. В симпатиях к монархии заподозривают англичан. Французы не верят, что в России установилась республика и допускают, что если будет монархия, то признают. Но интервенция во имя монархии — невозможна.

---

«Правительство — дело ваше, мы хотим всем создать условия мирного жития». Порочный круг. Приходится вмешиваться. Им хочется придти к *готовому* правительству. Правительства Скоропадского или Краснова — *приемлемы*. Симпатии на стороне Деникина — очень большие. Амуниция — сколько угодно, давали и сибирскому правительству.

Кн. Львов приехал для информации: Бахметев говорит, что не было удачно. С Вильсоном прямо нет разговора. Он выслуши-

вает доклад House. Львова спросил: что вы хотите делать? Он зашнулся и заговорил об интервенции.

Аргумент о возможности распространения большевизма действует, но у них легкомысленная уверенность, что большевизма во Франции не будет. Долго не верили и в революцию в Германии, считая камуфляжем Вильгельма. Ссылка на наш пример отводится указанием на разницу культур. Клемансо третьего дня говорил мне, что не верит в большевизм в Германии и Франции. Те, кто *боится* большевизма, — больше всего против интервенции: агитация за демобилизацию, ведущаяся пацифистами, против dokonания Германии, вся опирается на психологию окончания войны. Если солдаты откажутся идти в Россию, расстреливать будет нельзя. Поляки говорят: мы *создадим вам барьер*, который отделяет Россию от Германии. Пока была война, нас больше боялись: пожалуй, немцы заставят идти против нас. Сейчас этой боязни нет. После перемирия обещали: займемся вами. Но... пошли торжества, празднества и т. д. Французы от интервенции не откажутся; но *одни* не пойдут, если откажутся англичане и американцы. Если Клемансо будет держать под ружьем, то его фронтовики его покинут; неудовольствие его деспотизмом есть.

Если можно склонить Америку, то надо ей представлять интервенцию *иначе*: она возражала против *пользования* Россией для продолжения войны, — *служить* России (формула Вильсона). Сейчас надо ставить военную оккупацию сопровождением *всякой* реальной помощи (кормление Петрограда). Большевики — в последней стадии — люди ходят в театр, ходят трамвай: это действует после *шаржа*. Кросби не хотел слышать об интервенции — унижительно, вы справитесь сами; вы преувеличиваете. 3-я и 4-я категория: «дурная администрация». Этого не может быть, чтобы целая страна не организовалась. На чем держится большевизм? Я объяснял накопленными богатствами. Все просили денег: рубль стоит дороже франка, надо убить рубль.

---

Англичане — разговор с Мильнером — за интервенцию. Бальфур нехорошо относится к России. Боюсь, что англичане поставили на Россию крест: мы заберем побольше. Клемансо не простил нам и Румынии; у англичан есть друзья в прессе (Таймс, Стид: не бойтесь федерации — связи окрепнут).

У других есть точка зрения циническая: мы никакими способами не можем воспрепятствовать тому, что вы с немцами сдру-

житесь. Нам невыгодно вас усиливать. Или: вам нельзя помогать; искусственный остов развалился, все тянет врозь; вы нам не интересны: интереснее окраины. У французов этого нет. Было ужасающее разочарование. Мы слишком поддерживали бодрость. Рассчитывали на религиозный подъем. Создалось настроение, которое не забывается и переносится с отдельных лиц на Россию. Vous nous avez fait cossu\* (Clémenceau). Не платят денег. Два раза заплатило правительство, на 3-й раз не заплатили: значит, вы безнадежны — нас обманывали; экипаж «Злато», не признающий Брестского мира и отказывающийся выступить. Наш легион, действительно, прекрасный — добровольцев нашлось несколько сот человек. Жоффер говорил о России в Академии (*Гурко*: два слова).

Американцы: вы сильная нация, вы оправитесь; мы вам поможем, но стрелять в вашего мужика не будем.

Решено прежде, чем принимать решение, посоветоваться с М. Н. Гирсом.

7-20 декабря. С утра я приглашаю Гирса на 10 1/2 ч. Предлагаю ему положение и совет Маклакова, к которому лично присоединяюсь. Гирс настаивает на том, что этот совет — самый благоразумный. Действительно, союзники в начале большевизма и в средние года возлагали все надежды на Милюкова и многократно говорили: дайте нам Милюкова, мы составим правительство и поставим его во главе. Я тогда всюду телеграфировал, но Милюкова не нашли. Теперь на Милюкова смотрят как на предателя дела союзников и относятся к нему настолько резко, что нельзя рассчитывать на скорое изменение этого отношения. Напротив, относительно других можно устроить, может быть, даже скорее недели, если теперь все уедут в Лондон. Отделять Милюкова нельзя — ради достоинства самой делегации. Но он должен в Лондоне отойти от делегации и вести себя, как частное лицо. При этом условии делегация может еще сыграть огромную роль. Мы преследуем теперь две задачи: военную помощь и признание русского правительства. Все остальное — второстепенно по отношению к этому. Относительно помощи уже получено согласие и уже начинается действие. Относительно признания правительства — труднее. Америка очень осторожно относится к признанию, не желая вмешиваться во внутренние дела. Были на волос от признания уфимского правительства, но переворот Кол-

---

\* «Вы наставили нам рога». *Прим. ред.*

чака опять сбил с толку. Было бы лучше всего, если бы мы помогли им для сближения Колчака с Деникиным. — Тут Титов возражает, что Колчак себе испортил положение тем, что стал обвинять директорию в сношениях с большевиками, в чем она совершенно неповинна. Пока же выяснится этот вопрос, левые организации не могут поддерживать Колчака. — У Титова утром был Рубанович, который сообщил ему эти новости о Колчаке. Гирс настойчиво заявляет, что время не терпит, что на все такого рода нарушения необходимо смотреть сквозь пальцы, как, в сущности, и делают союзники. Перед организациями Титов может взять ответственность за самочинное разрешение вопроса, который приходится решать немедленно, сообразно местным сведениям, которых не имеют в России.

Гирс уходит. Возвращаемся к вопросу об отъезде, и Гурко выдвигает новый вариант. *Если* вообще со мной надо расстаться, то необходимо это сделать теперь же, в Париже, чтобы в Лондон приехать одним. Иначе все превратится в комедию, и я опять буду заслонять всех своей личностью, а комиссию будут продолжать считать комиссией Милюкова. Титов возражает, предлагая такую комбинацию: я еду отдельно, вперед, и не фигурирую в Лондоне, как член делегации, но участвую в ее внутренних работах. Гурко резко возражает против. Третьяков начинает колебаться и переходит на его сторону; потом отзывают в коридор Шебеко, который только что говорил о невозможности расстаться со мной. Шебеко тоже начинает склоняться на их сторону. Наконец кто-то предлагает, — я поддерживаю, — мысль, чтобы обсудить вопрос без меня. Я говорю, что, хотя решение в смысле поездки вместе меня лично лучше устраивает, являясь менее грубым переходом, но все-таки я заранее подчиняюсь всякому решению. Через несколько времени приходят в читальную Третьяков, Кривоусков и Титов, которые сообщают, что решено, чтобы я немедленно отделился от делегации и уехал назад. Конечно, мне такое жестокое и ненужное решение очень тяжело, но я не подаю вида и соглашаюсь.

Приходит Маклаков, который сразу не верит, что окончательно состоялось такое решение, — и очень рад ему, видимо. Спрашивает, может ли написать о нем Пишону, и прибавляет, что опасается, как бы из министерства иностранных дел не запросили его, что сделано для нашего отъезда. Действительно, он пишет Пишону, в 3 часа получает вопрос, где наши паспорта — *для визы*.

---

Я в 3 1/2 ч. иду к Тювен'ам, застаю мадам одну, ласковый прием и запоздалый завтрак. Высказывает уверенность, что, если я сносился с германцами, — значит, так надо было для России. Рассказываю ей факты, сообщаю, что уезжаю, чтобы освободить комиссию. Она негодует, что я сдаюсь без боя. Для *будущего* я не должен этого делать. Но опровержения в печати неудобны. Лучше собрать несколько интеллигентных противников, вроде Т. Бэнвилль, и вступить с ними в идейный контакт. Это идея г. Тювен. Я не возражаю, если это будет сделано немедленно.

---

Вечером опаздываю вернуться (покупки в Лувре). Наши уже в посольстве, куда приглашены пообедать с Гирсом. Иду туда. За обедом рядом с Маклаковым: сообщает интересные факты о претензиях народностей. Он настаивал перед Клемансо, чтобы определение отношений было предоставлено ходу событий; иначе непременно придется определять их двусторонне, путем соглашения, а не по-моему. Финляндцы переменили курс и готовы признать связь. То же — эстонцы, которые, однако, перестали ходить к нему. Вопросов кавказских, видимо, не знает. Нубар здесь отгораживает независимость шести вилайетов от вопроса о присоединении русских армян (я привел справку — мнение константинопольских армян). Грузия не будет признана. Продолжают настаивать на том, чтобы конференция оставила вопрос открытым: иначе усилившаяся Россия не признает решений.

Конгресс народностей в Швейцарии провалился. Приехало только трое под председательством Габриса. Сперва было союзники задумывали воспользоваться этим конгрессом, чтобы провести на нем мысль о федерации русских народностей. Потом — бросили.

Беседа отдельно с Гирсом. Он рассказывает о претензиях поляков на части Ковенской губернии. Местные писатели помогают. Бойе поддерживает поляков (возился с Керенским) и Рене Пинон защищает унию поляков с Литвой. Белоруссов прямо готовы отдать полякам. Италия предъявляет большие требования и ссорится с французами. Он надеется, что Фиуме не будет итальянским. Но, с другой стороны, славяне претендуют на Триест. Французы чрезвычайно сочувствуют юго-славянам. Подробно расспрашивает меня о Сибири, о большевиках, о добровольческой армии, о судьбе государя и семьи. Спра-

шивает мое мнение о монархии. Читал мое письмо Маклакову из Ясс (полученное только дня четыре назад).

Гирс и Маклаков едут на прием греческого короля. Белая жилетка Маклакова топорщится и лезет вверх; заменяет черной. Видно, что эти торжественные приемы для него не часты.

---

За обедом Маклаков прочел важную телеграмму, присланную ему для сведения Демидовым. Деникин (Сазонов) посылает Демидову для передачи Колчаку сообщение, что он *признает верховную власть*, принятую Колчаком, с условием, что Колчак признает политическую и военную программу добровольческой армии: то-есть борьбу с большевиками и объединение России, с отсрочкой вопроса о форме правления до будущего момента.

Спор о том, *какую* «верховную» власть признаёт Деникин: местную или всероссийскую. Мне кажется, что в последнем смысле; но другие думают иначе.

---

По дороге в отель Титов предлагает мне ехать в Америку. Говорю ему, что я не могу этого сделать, если мне нельзя даже здесь видаться с Вильсоном.

---

8-21 декабря. — С утра приходит Васильев, бывший корреспондент «Правительственного Вестника», и рассказывает про союз патриотов, в котором председательствует ген. Гурко, и про «лигу», в которую отошли Извольский, Неклюдов с Мандельштамом и Рафалович (?). Извольский и Неклюдов нуждаются в деньгах и поэтому находятся в зависимости от банкиров. Маклаков сперва высказался за конституционную монархию, потом стал уклончив, в особенности, когда не знал, как примут здесь Керенского. Керенский его возмутил, назначив свидание с журналистами в русском посольстве. Жалуются, что в посольстве слухат с.-ры.

Приходит Вильямс и настаивает на том, чтоб я поехал немедленно (в понедельник), то есть послезавтра, в Англию. У него есть сведения (после разговора с Сетон-Ватсон), что мне надо уезжать скорее. В Англии я буду сперва как частный человек, потом — посмотрим. Я соглашаюсь.

## ВСТРЕЧА С ДЕНИКИНЫМ В ЛОНДОНЕ

17 апреля. Поезд с Деникиным прибыл в 2.40. На вокзале собрались представители посольства, Красного Креста, нашего объединенного совещания. Представлял Е. В. Саблин. Меня Деникин узнал и на мое приветствие ответил: «вот где пришлось встретиться». Заявил, что приехал анонимно, по чужому паспорту и не ждал приема. Я сказал ему, что это — минимум того, что можно сделать. Предупредил его, что нужно поговорить и для «New Russia» и для поездки в Париж. Затем следом за ним я поехал в Кадоган. На вокзале и в отеле, где внизу сидел князь Белосельский, узнал, что в Париже собираются создавать новое правительство и что Саблин послал телеграфный запрос по этому поводу, но ответа не получил. Затем Белосельский, только что вернувшийся из Парижа, рассказал, что видел своими глазами телеграмму Керзона Чичерину, в которой говорится, что он, Керзон, убедил Деникина отказаться и он же обещает убедить Врангеля войти в переговоры с большевиками, если они обязуются сохранять гуманность по отношению к пленным добровольцам (сегодня в «Таймс» напечатана последняя часть со слов большевист. . . . (не разобрано. *Прим. ред.*).

Деникина на вокзале я успел предупредить, что здесь он нами представлен с лучшей (либеральной) стороны, но при этом отделен от антуража.

Шапрон пошел наверх к Деникину и тотчас позвал меня к нему. Беседа продолжалась больше часа. Было 5, когда я вышел.

Я предупредил Деникина, что мне нужно знать, как писать статью для «Новой России» и какую линию вести в Париже и что для этого я буду спрашивать на этот раз самые необходимые вопросы.

Я задал *первый*: с какой властью приехал сюда Деникин. Вопрос естественный, но Деникин к нему не был вполне подготовлен. Он сказал, что он морально разбит, что не хочет заниматься политикой — по крайней мере некоторое время и должен отдохнуть. Я ответил, что он вполне заслужил свой отдых и что мы все заинтересованы в том, чтобы он отдохнул. Но вопрос о власти *не личный*.

Деникин изложил подробно.

Есть *три* документа, на которые можно сослаться для выяснения преемственности власти: 1) Старое назначение Деникина заместителем Колчака в должности главнокомандующего (всероссийского). 2) Документ, присланный Деникину Колчаком, в котором К. возвращает ему, так сказать, суверенные права над *южной* Россией. По объяснению Деникина, этого документа он не опубликовывал: документ у Нератова. Мотив: он хотел до последней возможности сохранить идею *единства* России и не выделяться из-под Колчака особо. Таким образом этот документ остался неизвестен. 3) В последние дни Колчака, по сообщению, которое Деникин получил от японских и английских представителей, Колчак *собирался* передать ему *всю* свою власть, в том числе и гражданскую — всероссийскую (то есть «Верховного Правителя»). Он, однако, не знает, удалось ли Колчаку это сделать.

Я делаю вывод, что, во всяком случае, не доказано, что власть ему *не* передана. И, во всяком случае, он имеет *южно-русскую* военную и гражданскую власть и *всероссийскую* военную.

*Второй вопрос:* что он передал Врангелю?

*Ответ:* командование над южными войсками. *Я:* значит, не всю власть? А как с правительством, которое может назначить Врангель? Будет ли тут преемственность с южнорусским правительством?

*Ответ:* южнорусское правительство я в последние дни выпустил приказом, ввиду сокращения территории, оставив, однако, проф. Бернацкого для функций, которые не были точно определены. (*Я:* для ликвидации?). Но, конечно, при Врангеле Бернацкий остаться не может. Таким образом, и последний обломок моего правительства исчезнет.

На вопрос, обладает ли Врангель гражданской властью, необходимой для назначения нового правительства, у Деникина нет готового ответа.

*Третий вопрос:* как произошло назначение Врангеля? — Деникин предупреждает, что ему неловко это рассказывать, так как Врангель его ненавидит. Но я прошу быть откровенным, что Деникин, видимо и выполняет.

Эта история началась давно. Врангель проявил жажду власти и действовал не открыто, а интригой.

Я предварительно рассказываю Деникину, как я понимаю связь событий. Разногласия произошли из-за того, дружить ли с казаками или отступать в Крым. Когда соглашение с казаками лопнуло, то прорвалось раздражение против Деникина всех,

кто стоял за отход в Крым. Добровольцы не захотели больше служить под начальством Деникина и потребовали назначения генерала Врангеля, который готов был выступить с более приятной им правой программой, поддерживал их германофильскую «ориентацию» и монархизм.

Тогда начинает рассказывать Деникин, в сущности не опровергая существа моего толкования. Он не питал особых надежд на казаков и отлично знал, что тот же Тимошенко под рукой посылает отряды нападать на поезда и т. д. Но ему нужно было временно согласиться с ними, чтобы *в три месяца* эвакуировать передний Кавказ. Иначе вся буржуазия была бы перерезана и не спаслось бы войско. Тем не менее все «буржуи» и реакционеры будировали и требовали отхода. Деникин стоял на своем; в результате он *вывез всё* снаряжение из Новороссийска, устроил новую базу в Феодосии и перевез туда 40 тысяч войска и все семьи. За скорейший отход были двинуты все пружины. Все учреждения, включая сенат, все партии, включая к. д. (крымских), засыпали его петициями о назначении Врангеля. Врангель в последнюю минуту распространил открытое письмо к Деникину, в котором взводил на него всякие небылицы. Между прочим, он там утверждает, что Деникин, лишь уступая давлению, согласился признать Колчака, тогда как в действительности об этом решении даже накануне признания знали только он сам и Романовский, а все остальные, все Особое Совецание было против признания.

Я вставляю тут справку о телеграмме Керзона, что *он* убедил Деникина отказаться, и что убедит Врангеля вести переговоры с большевиками. Спрашиваю, говорили ли ему англичане что-нибудь об этом.

Деникин, улыбаясь, отвечает, что он принял решение совершенно свободно, и что единственный намек Гольмана на то, о чем я говорю, был сделан гораздо позднее, уже после совершившегося факта. Именно, уже при отправлении в Англию Гольман сказал ему, что это хорошо, что оба они уезжают, ибо теперь начнутся «дрянные» события.

Деникин поступил следующим образом при назначении Врангеля. Он созвал в Севастополе военное совещание из всех представителей командования. Ему заметил Драгомиров (единственный, оставшийся верным и не запутавшийся в интригах), что не следует создавать прецедента выборов. Деникин отвечал, что ему нужен только *совет*, а своего заместителя он укажет сам, в порядке *назначения*. Хотя он уже имел в виду Вран-

геля, но интриги последнего не прекращались. Деникин получил заявления (начиная с командиров полков), что просят назначения Врангеля. Правда, обнаружилась и дружественная Деникину сторона, которая умоляла его остаться. Но, по его словам, Деникин слишком «глубоко это продумал» и недаром же созвал совещание. Он повлиял на своих сторонников (Дроздовцев), которые иначе не помирились бы с назначением Врангеля и могли бы убить его. Приказ о назначении был короткий (тот, который у нас напечатан).

*Четвертый вопрос:* как убит Романовский?

Деникин говорит, что эта смерть особенно тяжело на нем отозвалась; Романовский был единственный доверенный человек. Он стал искупительной жертвой: это «Барклай-де-Толли добровольческой армии». Его давно ненавидели правые, обвиняя в левизне; в то же время его критиковали и левые. Слухи о том, что на него будет покушение, ходили уже в Новороссийске и в Крыму, и Деникин всячески старался выпроводить его вперед, но неудачно: Романовский отказывался выехать среди паники Новороссийска. Когда они оба приехали в Константинополь, то, пошептавшись, английские офицеры стали советовать им не ехать в посольство, а прямо пересечь на английское судно. Они отказались. Спросили Агапеева, который заявил, что нет опасности. В посольстве встретили их плохо, отвели какие-то задворки и были нелюбезны. Когда Романовский вышел в вестибюль, был убит офицером «из общежития», который потом бежал, хотя все знают, кто убийца. «На меня и не предполагалось покушения», прибавляет Деникин.

*Пятый* уже не вопрос, а сообщение. Я говорю Деникину, что мы здесь представляем его как *самого левого* из своего антуража. Прибавляю, что сам я считаю, что они шли — даже левые из них — слишком правым курсом, упоминаю аграрный вопрос. Мы объясняем, что Деникин должен был *поневоле* идти с правыми, так как приходилось считаться с настроением.

Деникин подтверждает это и шутя напоминает «знаменитую» историю, как он превратил треть урожая в одну пятаку. Признает, что аграрные решения были фатальны. Я говорю ему, что не раз лорывался к нему приехать, но встречал возражения со стороны партии, которая уверяла, что я могу повредить Деникину и что я неприемлем Добровольческой армии.

Я предупреждаю его далее, что если бы он попал в Париж, ему пришлось бы считаться с затруднениями *слева*, но

здесь он должен принять меры, чтобы его не смешали с правыми, советую не принимать приглашений.

Деникин очень оживленно замечает, что он вообще хочет уклониться от всего и уехать с семьей куда-нибудь в глушь, тем более, что у него нет средств и он принужден принимать «английскую милостыню».

Я отвечаю, что отдохнуть здесь есть где и это очень хорошо, а деньги не могут не найтись у главы правительства: здесь есть Замен, который выдает ассигновки по разрешению парижской конференции.

Деникин отвечает, что это деньги — казенные, и что парижской конференции он не признает: все сношения ограничились одной знаменитой телеграммой. Я напоминаю, что он не имеет права считать себя частным человеком. Если он очистит место власти, то другие займут его, ибо природа не терпит пустоты. Что он скажет, если в Париже объявят новое правительство?

Деникин живо отвечает, что это никоим образом недопустимо. Я замечаю, что и я так думаю, но, однако, даже год тому назад, когда обстоятельства менее благоприятствовали этой мысли она все-таки появилась, и мне пришлось тогда возражать против нее. Тем более она возможна теперь. А что он скажет, если Врангель начнет переговоры и заключит мир с большевиками? Будем мы признавать Врангелевское правительство? А если будем отрицать, то во имя какого, если не Деникинского?

Деникин отвечает, что он отрицает эти правительства и эти действия, *как русский*, а не как глава правительства. Я на это отвечаю, что *и я* отрицаю их как русский, но я — Милюков, а он Деникин: Деникин есть символ и знамя, которое спускать нельзя.

Относительно денег предлагаю ему свою американскую ассигновку — его деньги, им ассигнованные (по правде, национальным центром), чтобы не нуждаться в «английской милостыне».

Деникин решительно отказывается, говорит, что жена привезла серебро, что они продадут его и на это проживут три месяца. У него ничего нет, кроме того, что на нем, так что и визитов он делать не может.

Я, конечно, утверждаю, что платье можно сделать в несколько дней и что все это устроится.

На прощанье крепко расцеловываемся.

---

18 апреля. У Е. В. Саблина. Его разговор с Деникиным — более осторожные выражения, чем со мной. Подчеркивал, что желает остаться частным человеком, чтобы его не втравляли в политику. Новый мотив: «не мешайте Врангелю». Прочел Саблину рукопись моего обзора в «Новой России». Саблин дал мне телеграмму, полученную из Читы 30 января 1920.

---

Затем Саблин показал мне секретную телеграмму Сазонова («расшифровать лично») с вопросом: всю ли верховную власть Деникин передал Врангелю или только военную — командующего над местными силами? Саблин предполагает ответить в моем смысле. Вопрос, видимо, уже характеризует борьбу, которая ведется около вопроса в Париже. Передаю Саблину слух, переданный Румановым, и Поляковым, что в «правительство» уже намечены (или назначены?) кн. Львов, Савинков и Замен. Характерное сочетание имен. Саблин замечает, что еще недавно Коновалов ему сообщил, что кн. Львов считает себя «бывшим человеком».

У Деникина в 5 1/2 часов, после Саблина. Деникин прямо начинает с телеграммы Сазонова и повторяет: не мешайте Врангелю; может быть, он что-нибудь сделает. Я хочу уйти от политики, не вмешивайте меня. Я ему говорю, что больше ничего от него сейчас и не требуется, кроме воздержания от заявления, что он сложил всю власть, ибо эта власть может понадобиться.

Он, между прочим, заявляет, что он и не вправе сложить власть: это может сделать только Россия (кажется, упоминает Учредительное Собрание). Я подчеркиваю: значит, вы со мной согласны? Пока вы официально не сложили, власть у вас. Иначе, как только образуется пустота, что вы скажете, если завтра появится Керенский, после завтра Львов? Признаете ли вы, если Врангель заключит мир с большевиками, что он это может сделать от имени России Корнилова, Алексеева и Деникина?

Деникин очень живо реагирует: конечно, нет. Я вывожу: значит, *такой* власти вы ему не давали и она может вам понадобиться? Я сам думаю, что *сейчас* мешать Врангелю не следует. Но мы и не можем ему помешать. Поверьте, около него уже хлопчат англичане. Я не знаю, помирят ли они его с

большевиками или используют против большевиков в союзе с Махно и с Петлюрой; во всяком случае, вы не можете отрицать, что наступит момент, когда ваша власть понадобится. А что мне делать завтра в Париже, когда там станет вопрос о создании нового правительства? Я должен иметь возможность сказать: нет, нельзя, ибо *есть* власть в России: это Врангель и над ним Деникин.

Переходим к воспоминаниям прошлого. Прежде всего о Львове и Савинкове. Деникин мне рассказывает, что в промежуток между моими двумя приездами в Новочеркасск, Савинков поставил им ультиматум, которого он, Деникин, советовал не принимать, но тщетно: Савинков говорил: если через столько-то часов я не буду назначен в совещание, то... Деникин поэтому сам не хотел войти в Совещание...

Калинин, как я думал, убитый офицерами, оказывается добрался до Казани и через год прислал Деникину отчет («мальчик-социалист»).

Затем Деникин меня спрашивал, что я знаю о проекте заговора против царя до революции. Я рассказал, что знаю.

Когда зашла речь о Чайковском, Деникин рассказал забавный анекдот по поводу отставки южного правительства. Они просили побеседовать с ним в Феодосии, после отставки. Зеллер был поражен отставкой: был в слезах и истерике. А Чайковский спросил, прерывая других: генерал, — перейдем к самому важному вопросу: на каком основании вы совершили переворот? Деникин отвечал: раз вы так ставите вопрос, то я прекращаю разговор: я назначил, я и отставил.

При назначении этого («южного») правительства Чайковский пришел сам просить о назначении и уверял: назначьте меня, это очень важно. Но Деникин сказал: если парламентаризм, так парламентаризм: отправляйтесь к премьеру, пусть он вас предложит.

Посидев с кубанцами неделю, Чайковский пришел второй раз к Деникину и сказал ему: я думал, у вас личное против них, а теперь вижу: они — «сволочь».

Деникин прибавил: я им сказал: я для вас же вас оставляю, чтобы вы не попали в униженное положение. И действительно, так они спокойно выехали в Константинополь и даже получили прогоны. Баратов признал: да, действительно, наше положение было бы ложное. Другие улыбались и молчали. Так состоялась отставка.

Я посоветовал Деникину заняться мемуарами. Он сказал, что, к сожалению, не собирал материалов, хотя сам думал, что может заработать что-нибудь писательством. Но теперь — не может. Я просил, по крайней мере, записывать по свежей памяти отрывки. Он просил мою историю и упомянул о *двух* выпусках.

*П. Н. Милюков*

# ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И СССР\*

Проникновение человека в космическое пространство открыло ему необозримые возможности познания «потустороннего» мира, лежащего вне пределов земного шара и его воздушной оболочки. То, что было лишь плодом фантазии гениального мечтателя Жюль Верна — путешествие на луну — будет несомненно осуществлено в недалеком будущем. Уже теперь можно с уверенностью сказать, что и другие планеты удостоятся со временем человеческого посещения.

## Суверенитет государства в воздушном пространстве

На земле люди живут в юридически организованных единицах, называемых государствами. Для образования государства нужны три условия: территория, народ и верховная власть. Государство обладает неограниченной властью над своей сухопутной и водной территорией (включая прибрежные воды), а также и в воздушном пространстве над этой территорией.

Распространение суверенитета на воздушное пространство было вызвано воздухоплаванием, в особенности ролью, сыгранной авиацией в первую мировую войну. Возникла необходимость оградить территорию государства от вторжений с воздуха. В Париже 13-го октября 1919 г. была заключена международная конвенция о регулировании воздухоплавания, параграф 1-ый которой гласил: — «Высокие договаривающиеся государства признают, что каждое государство обладает

---

\* Статьи того же автора: Sowjetische Souveränitätsansprüche in der Stratosphäre, Osteuropa, 1957, No. 7-8. Legal Problems of Outer Space. Proceedings of the Second Colloquium on the Law of Outer Space in London 1959. Wien, 1960.

полным и исключительным суверенитетом в воздушном пространстве над его территорией».

Затем в 1944 г. была заключена конвенция в Чикаго о «Международной гражданской авиации», в параграфе 1-ом которой также говорится: «Каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом в воздушном пространстве над своей территорией». США подписали Парижскую конвенцию, но не ратифицировали ее, как и Версальский договор и другие договоры, заключенные тогда президентом Вильсоном в Париже. Соединенные Штаты были участниками Чикагской конвенции. РСФСР к участию в международных соглашениях, заключенных во Франции в результате первой мировой войны, приглашена не была, а в заключении Чикагской конвенции Советский Союз участвовать отказался. Официально потому, что Испания, Португалия и Швейцария были одними из договаривающихся сторон, в действительности же Советский Союз не желал открыть свои границы международной авиации. Но Советский Союз установил суверенитет над своим воздушным пространством путем своего законодательства.

Декларация суверенитета в воздушном пространстве была сделана Советским Союзом в Воздушном кодексе 1932 года и повторена в Воздушном кодексе 1935 года, действующем по настоящее время. В § 1 этого кодекса говорится: — «Союзу ССР принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством Союза ССР».

Этот кодекс дает такое определение воздушного пространства: под воздушным пространством Союза ССР понимается воздушное пространство над сухопутной территорией и над территориальными водами, установленными законами СССР. Официальный учебник международного права 1951 года определяет воздушное пространство под суверенитетом Союза, как колонну воздуха над сухопутной и водной территорией Союза ССР, включая тропосферу (нижние слои воздуха) и стратосферу (верхние слои воздушной колонны).

Но как международные конвенции, так и законодательство Советского Союза устанавливают суверенитет только в «воздушном» пространстве. Это совершенно понятно, ибо в то время, когда заключались Парижское и Чикагское соглашения и издавались вышеупомянутые советские законы, другой, кроме воздушной, авиации, не существовало.

Таким образом, в настоящее время нет никаких международных соглашений и никаких правил международного пра-

ва, определяющих юридическое положение надвоздушного, космического пространства и регулирующих движение в межпланетной сфере.

Но если суверенитет государства распространяется на воздушное пространство и прекращается на границе воздушного и безвоздушного пространства, то где же эта граница? В этом вопросе исследователи наталкиваются на чрезвычайные трудности. Дело в том, что смесь газов, называемая воздухом, весьма различна на разных высотах. Кислород на известной высоте превращается в озон. Почти 15% воздушной массы находится на расстоянии 10 миль от поверхности земли, но атмосфера доходит до 60.000 миль от поверхности земного шара, согласно мнению одних ученых и только до 1.500, согласно мнению других. Атмосфера состоит из смеси — около 21% кислорода, 78% азота и около 1% других газов. Эта смесь гуще всего на уровне моря и становится всё разреженной по мере отдаления от земли, пока совсем не исчезнет в пространстве. Стратосфера простирается от 8 до 60 миль вверх. Следующий слой называется ионосферой, — от 60 до 120 миль над землей. Над ионосферой воздух настолько разрежен, что уже не может выполнять своих обычных функций. Но и в следующем слое пространства, экзосфере, находятся частицы воздуха, но они настолько редки и разрежены, что «на высоте 250 миль меньше воздуха, чем в самой лучшей вакуумной трубке», как пишет американский ученый И. Каплан. Таким образом, нет возможности точно установить естественную границу воздушного покрова земной поверхности.

### Суверенитет до небес

Несмотря на то, что существующие международные договоры и законодательства отдельных стран признают суверенитет государства только в воздушном пространстве, некоторые юристы утверждают, что суверенитет государства распространяется и за пределы воздушной оболочки, до бесконечности. Эти авторы приводят в пользу своих утверждений, главным образом, два аргумента: во-первых, еще римляне утверждали, что право собственности на землю распространяется вверх до небес. По римскому праву, небесное пространство было связано с землей, в то время, как воздух принадлежал всем. Средневековый глоссатор Акурсиус, комментируя Дигесты Юстиниана, выразился так: «Кто владеет землей, владеет

ею до неба». Во-вторых, суверенитет был установлен на Парижской и Чикагской конвенциях в «воздушном» пространстве только потому, что в то время движение над землей происходило исключительно в пределах атмосферы. «Было бы гораздо точнее употреблять в терминологии международного права понятие «пространство», а не «воздушное пространство», пишет чехословацкий ученый Мильде. Он справедливо указывает, что целью международных конвенций и законодательства отдельных стран, регулирующих движение в воздушном пространстве, было оградить государства от опасности, грозящей сверху. Но ведь с этой точки зрения, совершенно безразлично грозит ли опасность с воздуха или из космического пространства.

Очевидно, советские юристы разделяли эту точку зрения до 1957 г. и выражали мнение советского государства, как и всегда в вопросах, имеющих прямое отношение к политике. «Учебник международного права» 1951 г., определяя воздушное пространство, находящееся под суверенитетом государства и указывая на то, что суверенитет «в н а с т о я щ е е в р е м я (подчерк. С. К.) распространяется на тропосферу и стратосферу», добавляет: «Ни одно государство не признает ограничения своего воздушного пространства... и это пространство непрерывно возрастает вместе с подъемом потолка современных самолетов». — «С о г л а с н о п о л о ж е н и ю с о в р е м е н н о й т е х н и к и» (подчерк. С. К.), пишет В. И. Лисовский в своем учебнике международного права, «...не только дружественные полеты, но и военные операции, могут совершаться в стратосфере, так что государство должно иметь возможность регулировать полеты чужих самолетов также и в стратосфере». Ясно, что по этому мнению, если «потолок» летательных судов, благодаря «современной технике», будет поднят выше стратосферы, в космическое пространство, то суверенитет государства должен быть распространен и на космическое пространство для того, чтобы иметь возможность регулировать полеты чужих судов и там. Но в то время, как такая точка зрения учебников может быть установлена только путем толкования, в 1956 г. два советских юриста, А. Кислов и С. Крылов, высказали ее самым определенным образом.

Поводом к тому послужил известный инцидент с воздушными шарами. В 1956 г. США запустили большое количество шаров из Германии и Турции для обследования погоды. Занесенные ветром некоторые шары проникли в воздушное пространство других государств, в том числе и Советского Союза.

Последний обратился с нотами к Соединенным Штатам, Германии и Турции, протестуя против нарушения своего суверенитета. Тогда на очередной пресс-конференции Даллес заявил, что так как в международном праве нет ясных правил, касающихся запуска воздушных шаров для установления погоды, США считают, что они имеют право запуска таких шаров на известную высоту по всей земле. Нью-Йоркская газета «Херальд Трибюн» (11 февраля 1955 г.) высказала мнение, что вопрос о том, насколько распространяется в воздухе суверенитет государства еще не разрешен. В ответ — в своей статье «Суверенитет государства над воздушным пространством является общепризнанным принципом международного права», А. Кислов и С. Крылов заявили, что «такой вопрос в международном праве и международной практике давно уже не стоит». Еще в 1913 году известный французский ученый Клуно писал: «Право суверенитета каждого государства на его территориальную атмосферу только теоретически (практически тогда еще этот вопрос не стоял. К. и К.) распространяется usque ad coelum (вплоть до небес, т. е. бесконечно. К. и К.), как говорили древние». По этим же основаниям Кислов и Крылов считали, что «аргументы Даллеса не могут произвести никакого влияния на мировое общественное мнение».

Заявление Кислова и Крылова было сделано, однако, не только с целью подвести юридическое основание под ноты протеста Советского Союза по поводу запуска воздушных шаров, но также, чтобы подготовить почву для протеста на тот случай, если бы США удалось запустить ракету в межпланетное пространство раньше Советского Союза, т. к. 29 июня 1955 г. президент Эйзенхауэр сообщил, что Соединенные Штаты собираются запустить искусственные спутники в космическое пространство.

Однако, случилось так, что Советский Союз, 4 октября 1957 года, первым послал спутника в межпланетное пространство. И тогда, как по команде, мнение советских юристов резко изменилось, т. к. с точки зрения теории суверенитета «до небес», спутник нарушил суверенитет почти всех государств земного шара. Уже 17-го октября того же года появилась статья Г. П. Задорожного в «Советской России», в которой автор утверждал, что спутник не нарушил суверенитета никакого государства, что оспаривать правомерность присутствия спутника над территорией того или иного государства было бы также безрассудно и смешно, как протестовать против появления луны, солнца и другого небесного светила над этой террито-

рией. В этой статье Задорожный утверждает полную аналогию между космическим пространством и открытым морем: и то и другое никому не принадлежат и оба — в общем пользовании всех наций.

Замечательно, что приводя мнения американских юристов о том, что суверенитет не распространяется на космическое пространство, Задорожный объясняет это мнение тем, что американцы считали, что только они будут в состоянии запускать спутники, забывая, что в США мнения ученых не диктуются свыше, не ориентируются на «генеральную линию», а выражаются свободно. Но и другой советский ученый Г. П. Жуков<sup>1</sup> заявил то же, что и Задорожный; он утверждал, что «прежде, чем спутник был пущен в орбиту, Соединенные Штаты были за установление низкого предела для суверенитета в пространстве, т. к. думали, что спутники будут запускаться только ими. Когда же стало ясно, что СССР значительно опередил США в исследовании космического пространства, позиция американских экспертов изменилась». Таким образом, советские юристы обвиняют американских именно в том, в чем они сами повинны, т. е. приписывают другим свой собственный образ действий.

Новая точка зрения советских юристов о режиме космического пространства, была обоснована А. Галиной.<sup>2</sup> Галина тоже, ссылаясь на мнения ряда американских юристов, приходит к заключению, что каждое государство может свободно пользоваться межпланетным пространством и запускать туда свои спутники и ракеты, не испрашивая разрешения других государств. Находясь за пределами действия суверенитета, космическое пространство, по ее мнению, не может быть подчинено законодательству, администрации или юрисдикции никакого государства, т. к. в настоящее время нет норм, регулирующих режим космического пространства. И Галина тоже признает аналогию меж космическим пространством и открытым морем.

Однако, вскоре в Советском Союзе сообразили, что режим свободы, применяемый к открытому морю, не соответствует интересам Союза в вопросе космического пространства. Воен-

---

<sup>1</sup> G. P. Zhukov, *Conquest of Outer Space and Some Problems of International Law*, *International Affairs* (журнал выходящий в Москве на английском языке), 1959, № 11.

<sup>2</sup> А. Галина. *О вопросе межпланетарного права*, *Сов. государство и право*, 1958, № 7.

ные суда свободно плавают в открытом море и открытое море становится театром военных действий во время войны. И так как США стали тоже запускать спутников в космическое пространство, оно может стать источником опасности для Советского Союза. Поэтому Е. Коровин, самый известный советский эксперт по международному праву, внес коррективы в высказывания Задорожного и Галиной. Аналогия между космическим пространством и открытым морем была им отвергнута. Коровин считает, что суверенитет государства не распространяется на космическое пространство. Но из этого, по его мнению, не следует, что действия, нарушающие общепризнанное право другого государства в космическом пространстве, разрешены. Коровин подчеркивает, что государства имеют право принимать меры, соответствующие букве и духу хартии Объединенных Наций, чтобы предотвратить действия, предпринятые против них через космос.

Итак, «генеральная линия» была установлена и, разумеется, соблюдена всеми последующими писателями: суверенитет не распространяется на космическое пространство, но государства имеют право принять меры, чтобы предотвратить опасность, угрожающую сверху.

Так, Г. А. Осницкая пишет, что вместе со всеми другими советскими учеными, печатавшими статьи на эту тему, она также считает, что государственный суверенитет не распространяется на космическое пространство; «принимать меры, чтобы охранять свою безопасность и оградить себя от нарушений верховенства над своей территорией — суверенное право государства».<sup>3</sup>

Ф. И. Ковалев и И. И. Чепров тоже выступили против распространения суверенитета на межпланетное пространство. «Предположение возможности продлить суверенитет государства в бесконечность над их территорией противоречило бы здравому смыслу»,<sup>4</sup> писали они. И подчеркивали необходимость охранять безопасность государства от всякого нарушения при определении верхнего предела государственного суверенитета.

---

<sup>3</sup> Г. О. Осницкая. Проблемы международного права завоевания пространства, Сов. Ежегодник международного права. 1959.

<sup>4</sup> Ф. И. Ковалев и И. И. Чепров. Искусственные земные спутники и международное право. Советский ежегодник международного права. Москва, 1959.

Мы находим противоречие между признанием советскими авторами ограничения суверенитета воздушным пространством, с одной стороны, и с другой, — утверждением, что защита государства от опасности, с какой бы высоты она ни угрожала, является «суверенным правом» государства. Ведь, как было упомянуто выше, необходимость охранить государство от опасности, грозящей сверху, привела к международному признанию суверенитета государства в воздухе над своей территорией. Если охрана безопасности государства есть главное условие при установлении режима космического пространства то, с советской точки зрения, казалось бы логично — распространить суверенитет государства и на космическое пространство. Но почему Советский Союз после запуска первого спутника с этим согласиться не мог? Коровин объяснил это так: «Практически (суверенитет государства в космическом пространстве) дал бы возможность подорвать всю программу интенсивного изучения космического пространства протестом одного какого-либо государства, над территорией которого земной спутник пролетал бы».

### **Шпионаж через космическое пространство**

Обвинение в шпионских действиях через космическое пространство было предъявлено Соединенным Штатам советским правительством. Это также и излюбленная тема советских юристов, пишущих о режиме космического пространства. Они считают шпионские действия нарушением международного права, так как таковые направлены против «суверенного» права государства на безопасность. «Американские планы шпионажа через космическое пространство», пишет Г. П. Жуков, «направлены против безопасности СССР и других социалистических государств; они несовместимы с общепризнанными принципами международного права, охраняющими безопасность государств от посягательств извне, включая и из космического пространства».

В своем письме к английскому философу Бертрану Расселю 8 марта 1958 г. Хрущев писал: «В Соединенных Штатах Америки самый запуск искусственных земных спутников рассматривается многими официальными лицами, а прессой прежде всего, с точки зрения военного значения».

Жуков подготовил обширный доклад о мнимых шпионских планах Соединенных Штатов. По его мнению, спутник

Самос, находясь в полярной орбите, будет держать территорию СССР и других социалистических государств под постоянным наблюдением, и тем самым Самос будет в состоянии следить за каждым квадратным дюймом земного шара и передавать американским станциям данные о местонахождении советских баз метательных снарядов и сообщать о всякой необычной концентрации войск или материалов. «Проект производства Самоса, — пишет Жуков, — тесно связан с разработкой военного спутника Мидаса. Главная цель последнего — держать земной шар под наблюдением при помощи аппаратов, чувствительных к лучам, испускаемым газами, образующимися при запуске ракет. Идея заключается в том, чтобы как только Самос обнаружит базы метательных снарядов на советской территории, Мидас станет за ними наблюдать и будет регистрировать запуск метательных снарядов».

Равным образом, по мнению Жукова, и спутник Дискаверер тесно связан с шпионской деятельностью Самоса и Мидаса. Задача военного спутника Дискаверер заключается, якобы, в том, чтобы доставлять разведочный материал (фотографии) на землю. Даже метеорологический спутник Тирос, предназначенный для съемок облачного покрова, заподозрен Жуковым в шпионаже: после инцидента с Ю-2, Тирос получил, якобы, задание снимать фотографии, проходя над СССР и Китаем.

Хотя Жуков и признает, что всякое государство имеет право пользоваться космическим пространством по своему усмотрению, он всё же считает, что поступать следует так, чтобы не причинять вреда другим странам; космическое пространство не должно быть использовано для угроз или насилия над территориальной безопасностью или политической независимостью какого-либо государства, как это требуется Хартией Объединенных Наций. «С точки зрения безопасности государства, — заявляет Жуков, — не представляет никакой разницы с какой высоты имеет место шпионаж. Государство не будет себя чувствовать более в безопасности, если военные приготовления будут вестись против него с очень большой высоты. Суть в том, что объект шпионажа и его результат остаются те же, независимо от высоты, с которой он ведется. Так что нет никаких оснований утверждать, что шпионаж с большой высоты с помощью искусственных земных спутников вполне легален; при существующих нормах международного права, всякие попытки пользоваться спутниками с шпионски-

ми целями так же незаконны, как и употребление самолетов с этой целью».

Советской военной газетой «Красная Звезда»<sup>5</sup> было предъявлено Соединенным Штатам обвинение в шпионаже и по поводу запуска Мидаса III и Тироса III 12 июля 1961 г. В этом обвинении говорилось, что Соединенные Штаты пользуются космическим пространством для шпионских действий потому, что им пришлось прекратить подобные действия при помощи самолета Ю-2, что Мидас III и Самос III оба предназначены для активной рекогносцировки советских ракетных баз и других объектов, а также для донесения о состоянии погоды над СССР. «Пентагон не отказался от этих шпионских планов по отношению к социалистическим странам», заявляет автор статьи. Этот автор того же мнения, как и Жуков, что «шпион остается шпионом, независимо от того на какой высоте он летит». Другой автор, А. Н. Варваров,<sup>6</sup> обвиняет Соединенные Штаты уже просто в бандитизме. Он утверждает, что у США не было никакой необходимости запускать 30 Дисковереров и наводнять космическое пространство спутниками, не считаясь с другими странами. «Соединенные Штаты, — пишет Варваров, — интенсивно вооружаясь, устанавливают сложную систему космической разведки, связи и передвижения в космосе. В сущности говоря, это — бандитизм в интернациональном масштабе: но бандитизм всегда остается бандитизмом, независимо от его методов», — заключает автор.

Следуя общему заданию, и восточно-германское радио обрушивается на США по поводу запуска Дисковерера, заявляя, что США пошли по опасному пути, послав «видящее око» в космическое пространство. Это радио говорит, что Советский Союз имел несомненную возможность уже некоторое время тому назад запустить спутников, способных измерить каждый дюйм Соединенных Штатов, «но делать это не в интересах его политики» — так утверждал диктор. В той же передаче было дано интересное объяснение, почему СССР в лучшем положении в смысле собирания военной информации, чем США. «Со времени второй мировой войны СССР имеет достаточный опыт, как пользоваться всеми возможностями, чтобы приспособить свою военную промышленность к специфическим требованиям воздушной войны. Таким образом, объекты наблюдения оста-

---

<sup>5</sup> 23-го июля 1961 г.

<sup>6</sup> Экономическая газета, ноябрь 6, 1961.

ются скрытыми для Дисковерера, в то время, как дело обстоит совсем иначе с Соединенными Штатами, промышленность которых сосредоточена в разных местах, совершенно открытых для глаза».

Что же касается Советского Союза, то, говоря о советских спутниках, Жуков заявляет, что они преследуют исключительно мирные цели. Однако, как правильно заметил М. Квигг, «мы совершенно не уверены в том, не доставляют ли и русские спутники (как и другие космические корабли) снимки Соединенных Штатов в Москву».<sup>7</sup> Что Советский Союз может добыть точные фотографические данные о Соединенных Штатах при помощи своих спутников было уже сообщено Г. В. Петровичем.<sup>8</sup> Он рассказал о конструкции ряда искусственных спутников, предназначенных для разных целей, и в первую очередь о группе спутников, оснащенных научными аппаратами (включая оптические и телевизионные), могущими образовать наблюдательные пункты над всей поверхностью земли и окружающего ее воздушного океана.

### Присвоение небесных светил

16 сентября 1959 г., на завтрак в Пресс-клубе в Вашингтоне, Н. Хрущеву был задан вопрос: значит ли водружение советского вымпела на поверхности луны, что Советский Союз собирается присвоить себе эту планету? Хрущев ответил так: «У нас понятие «мое» отживает и водворяется новое понятие «наше». Поэтому посылку ракет в космос и доставку нашего вымпела на луну мы рассматриваем, как наше завоевание. И в этом смысле «наше» мы подразумеваем — страны всего мира, т. е. мы подразумеваем, что это является и вашим достижением и достижением всех людей, живущих на земле».<sup>9</sup>

А П. С. Ромашкин заявил, что в этих словах Хрущев превосходно выразил мнение советских ученых и всего советского народа по этому вопросу.<sup>10</sup> И Е. Коровин облек ту же мысль в юридическую форму. По его словам, космическое простран-

<sup>7</sup> Foreign Affairs, October 1958.

<sup>8</sup> Г.В. Петрович. Первый искусственный спутник солнца. Известия Академии Наук СССР, 1959, № 3.

<sup>9</sup> Правда, 18 сентября 1959 г.

<sup>10</sup> П. С. Ромашкин, Технический прогресс и советское право, «Советское государство и право». 1960 г., № 1, стр. 24.

ство и всё, что оно содержит, должно рассматриваться, как «предметы общего пользования», не подлежащие взятию в собственность одним государством; форма этого общего пользования должна быть установлена только посредством взаимного соглашения, т. е. путем международного соглашения всех государств, заинтересованных в использовании космосом.

Однако, советские юристы утверждают, что такая точка зрения не разделяется Соединенными Штатами. Так, Ю. А. Победоносцев<sup>11</sup> заявил, что американские военные придают большое значение луне, как «*place d'armes*» — для господства над всей землей. Эту информацию советский профессор почерпнул из американской книги.<sup>12</sup> И того же источника Победоносцев узнал о следующих, приписанных Пентагону планах, в отношении луны. Сначала на луну будет послан человек, который организует прием будущих ракет. Затем планирована постройка укрытий, предохраненных от метеоритов под навесами или в расщелинах скал. В дальнейшем будут расположены в надежных убежищах силовые установки; для этой цели ряд американских фирм уже теперь, якобы, работает над созданием мощных солнечных батарей, способных пустить электрический ток на луне; также будут использованы местные минералы, содержащие кислород, а следующий этап, продолжает Победоносцев, доставка на луну необходимого оборудования: оптические и радарные наблюдательные инструменты, комбинированные снаряды, могущие быть посланными обратно на землю. «В свете этих планов, заключает советский профессор, совершенно ясно, почему Пентагон так болезненно реагирует на огромные достижения Советского Союза в исследовании космического пространства, хотя они преследуют строго миролюбивые цели».

Вероятно, для того, чтобы рассеять сомнения тех, кто мог бы всё-таки не поверить в подлинность этих «планов» Пентагона, Г. А. Задорожный авторитетно поддержал эту информацию. «Я хочу подчеркнуть, заявил Задорожный, что идеи, приведенные в книге, цитированной проф. Победоносцевым, не досужие выдумки обоих авторов, а сущность планов Пентагона... Пространственные аппетиты американских военных лидеров сдерживаются лишь одним, правда, очень существенным

---

<sup>11</sup> International Affairs,

<sup>12</sup> Eric Bergaust and Seabrook Hull, *Rocket to the Moon*, New York, 1958.

обстоятельством, а именно скромными практическими возможностями, отставанием Соединенных Штатов в освоении космического пространства».

Другой автор, В. Печеркин, раскрыл, якобы, другие планы Пентагона.<sup>13</sup> По его мнению, создаются планы пользования космическим пространством во время войны; эти планы основаны на предположении, что по мере того, как космические проблемы будут разрешены и мощные военные аппараты будут построены и усовершенствованы, явится возможность совершенно исключить землю, как театр военных действий, а войну со всеми ее операциями перенести в пространство.

Что же касается мнения американских юристов по вопросу о присвоении небесных светил, то Задорожный считает, что оно изменилось в зависимости от обстоятельств. «До того, как советские достижения в межпланетном пространстве стали известны, — раньше такие достижения ожидалось только от Соединенных Штатов, — американские политики, эксперты и ученые считали, что каждое государство имеет право на территориальные претензии в космическом пространстве. Когда же оказалось, что Соединенные Штаты далеко позади Советского Союза в исследовании межпланетного пространства, американская позиция изменилась». К сожалению, Задорожный не объясняет, как же эта новая точка зрения американцев вяжется с «планами» Пентагона, приведенными Победоносцевым и подтвержденными им самим? По мнению Ромашкина, Соединенные Штаты уже деятельно готовятся к оккупации луны. Он заявляет, что «американские милитаристы особенно шумят по поводу опасности оккупации небесных светил Советским Союзом, хотя они сами охотно так поступили бы. Известно, например, что уже несколько лет тому назад, продажа участков земли на Марсе и луне были организованы в Соединенных Штатах. Даже, паспорта, разрешающие поездку на луну и обратно, продавались в Чикаго. Межпланетные дельцы делают заявки на лунные долины и кратеры». В том же духе пишет и Коровин:<sup>14</sup> «претензии на космос, предъявляющиеся от времени до времени более-менее безответственными лицами в Соединенных Штатах прямо стали смехотворны. Среди таких

---

<sup>13</sup> V. Pecherkin, *The Pentagon Theoreticians and the Cosmos*, International Affairs, 1961, № 1.

<sup>14</sup> E. Korovin, *International State of Outer Space*, International Affairs, January 1959.

лиц предприимчивый спекулянт, продающий землю на луне, чрезмерно усердные генералы и конгрессмены, которые, вопреки логике и здравому смыслу, призывают правительство Соединенных Штатов предъявить свои притязания на космос (в особенности, на луну), или же сбить коммунистических соперников в космическом пространстве».

### **Ответственность за убытки, причиненные космическими кораблями**

До сих пор нет ни международных соглашений, ни норм международного права, устанавливающих ответственность государств за телесные повреждения или материальные убытки, принесенные космическими кораблями. Однако, ответственность государств за такие повреждения и убытки признается в принципе советскими юристами. Например, тот же Коровин считает, что так как запуск ракет, спутников и т. д. производится в настоящее время исключительно государственными учреждениями, то ответственность за возможные произойти телесные повреждения или убытки, причиненные иностранным гражданам, всецело падает на государство, запустившее летательный аппарат в космос. А. Галина предлагает, чтобы искусственные спутники были снабжены распознавательными знаками, на случай, если бы спутник упал на землю или причинил бы какой-либо убыток.

Признание ответственности государства за телесные повреждения и убытки, причиненные его самолетами, выражено в Советском Воздушном Кодексе. Статья 75 этого Кодекса гласит:

«За причиненные при стартах, полетах и посадках смерть и телесные повреждения пассажирам воздушных судов, а также за вред имуществу, не находящемуся на гражданском воздушном судне, учреждение, предприятие, организация или лица, которые эксплуатируют гражданские воздушные суда, несут имущественную ответственность по общему законодательству Союза ССР и союзных республик, если не докажут, что вред произошел вследствие умысла или грубой неосторожности самого потерпевшего».

Таким образом, ответственность государства (в СССР все авиационные линии государственные) отпадает лишь в случае грубой неосторожности или умысла самого потерпевшего. Ответственность авиационной линии (государства) идет даже

дальше ответственности предприятий (государства), деятельность которых связана с особой опасностью. Так, статья 404 Гражданского Кодекса РСФСР определяет, что

«Лица и предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, как то: железные дороги, трамваи, фабрично-заводские предприятия, торговля горючими материалами, держатели диких животных, лица, выводящие строения и иные сооружения и т. п., ответственны за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы, либо умысла, либо грубой неосторожности самого пострадавшего».

Таким образом, ссылку на «непреодолимую силу» Воздушный Кодекс не допускает. Но если воздухоплавание — источник совершенно особой опасности по советским законам, то нет никаких оснований считать, что плавание в космическом пространстве будет считаться в СССР источником меньшей опасности. Нужно думать, что Советский Союз будет настаивать, чтобы в будущем международном соглашении была предусмотрена столь же полная ответственность государства за телесные повреждения и материальный вред, причиненный его космическими кораблями, как и ответственность, определенная советским Воздушным Кодексом.

### **Космическое пространство исключительно для мирных целей**

Разумеется, все советские юристы, пишущие по этому вопросу, согласны в том, что межпланетное пространство должно служить исключительно мирным целям. Так, А. Галина выражает надежду, что величайшее открытие, освоение космического пространства, послужит мирным, а не военным целям. По выражению Жукова, идея государства в космическом пространстве должна соответствовать целям и принципам Хартии Объединенных Наций.

Однако, демилитаризация и нейтрализация космического пространства является с точки зрения советского правительства только одним аспектом, неразрывно связанным с всеобщим разоружением.

Все американские заверения о преследовании мирных целей и предложения демилитаризации космического пространства встречаются в Советском Союзе с величайшим подозре-

нием. Там считают, что эти предложения — лишь попытка получить военные преимущества. Так, предложение американского правительства, чтобы «поставить испытание межконтинентальных метательных снарядов под международный контроль», было заклеено Коровиным, как «излюбленный метод» правительства США предлагать международный контроль и инспекцию, надеясь при этом получить техническую информацию, недостающую американским военным силам.

На письма президента Айзенхауэра председателю совета министров СССР — 12-го января и 8-го апреля 1958 г. — с предложением, чтобы космическое пространство было использовано только в мирных, а не военных целях, Н. С. Хрущев ответил 22-го апреля того же года, что американское предложение «нейтрализовать» космос практически сводится к попытке запретить советские межконтинентальные метательные снаряды и искусственно выделить эти снаряды из общего контекста разоружения. Ответ Хрущева выявил основной принцип советского отношения к демилитаризации космического пространства: вопрос должен быть разрешен вместе с общей проблемой разоружения.

Кроме того, ликвидация американских военных баз за границей была поставлена условием демилитаризации космического пространства. Советское правительство опубликовало 15-го марта 1958 г. следующее предложение:

«1. Запрещение использования космического пространства в военных целях и обязательство государств производить запуск ракет в космическое пространство только в соответствии с согласованной международной программой.

2. Ликвидация иностранных военных баз на территориях других государств, и в первую очередь, в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке.

3. Установление в рамках ООН соответствующего международного контроля за осуществлением, указанных в пунктах 1 и 2 обязательств.

4. Создание органа ООН по международному сотрудничеству в области изучения космического пространства...»

В ведении к этому предложению было сказано: «Нельзя не видеть, что поднимая вопрос о запрещении использования космического пространства в военных целях, Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы путем запрещения межконтинентальных баллистических ракет отвести от себя ответный

ядерный удар через космическое пространство, сохраняя в то же время в своих руках многочисленные военные базы на чужих территориях, предназначенные для нападения с применением ядерного оружия на Советский Союз и дружественные ему миролюбивые государства».

Советское правительство представило Первому Комитету 13-ой Генеральной Ассамблеи ООН (в сентябре 1958 г.) проект резолюции, содержание которой было весьма схоже с приведенным выше заявлением от 15-го марта. Соединенные Штаты, со своей стороны, внесли, вместе с 19-ю другими государствами, 13-го ноября 1958 г. резолюцию с предложением учреждения особого Комитета, который должен представить 14-ой Генеральной Ассамблее ООН доклад о действиях и возможностях ООН, связанных с мирным использованием космического пространства, о путях международного сотрудничества и программы для мирного использования межпланетного пространства, о будущих организационных мерах в ООН для содействия международному сотрудничеству в этой области, и о правовых проблемах, могущих возникнуть при осуществлении программы исследования космического пространства.

Но 18-го ноября 1958 г. Советский Союз внес новую резолюцию, в которой требование ликвидации иностранных баз и учреждения специального органа ООН было опущено. В резолюции предлагалось учредить Комитет ООН для сотрудничества в исследовании космического пространства и организации группы наций для выработки проекта программы работы этого Комитета. По советскому предложению, в группе должны были участвовать Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Индия, Чехословакия, Польша, Румыния, Объединенная Арабская Республика, Швеция и Аргентина.

Соединенные Штаты, вместе с 19-ю государствами, участвовавшими в разработке резолюции от 13-го ноября, возражали против состава группы, предложенной Советским Союзом. Компромисса не удалось достигнуть. Советский Союз взял свой проект резолюции назад. Пересмотренная резолюция, представленная Соединенными Штатами и их единомышленниками, была принята и Особый Комитет учрежден, состоящий из Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канады, Чехословакии, Франции, Италии, Ирана, Индии, Японии, Мексики, Польши, Швеции, Советского Союза, Объединенной Арабской Республики, Великобритании и Соединенных Штатов.

Тогда Советский Союз, Польша и Чехословакия вышли из Комитета, заявив, что участвовать в его работе не будут. В течение двух лет Советский Союз бойкотировал работу Комитета по мирному использованию космического пространства, делая эту работу фактически бесплодной. Однако, в декабре 1961 года, в отношении Советского Союза к этому Комитету произошла неожиданная перемена. 11-го декабря советская делегация в ООН поддержала резолюцию Политического Комитета, в котором участвуют 25 стран, предлагающую Комитету по мирному использованию космического пространства собраться 31-го марта 1962 г. для обсуждения вопроса о международном сотрудничестве в космическом пространстве. В резолюции Политического Комитета было также сказано, что ни одна страна не имеет права предъявлять претензии на космическое пространство или на часть его, что государства должны обязательно делать международному центральному учреждению подробные сообщения о всех запусках в космическое пространство. Кроме того, резолюция говорила о международном сотрудничестве в деле предсказания погоды и установления связи между государствами через космическое пространство.

Разумеется, участие Советского Союза в принятии резолюции Политического Комитета никак не предрешает вопроса о позиции Советского Союза в вопросах, поставленных на обсуждение Комитета по мирному использованию космического пространства. Надо отметить, что на этот раз советская делегация не предъявила требования, чтобы вопросы в Комитете решались «по соглашению», а не большинством голосов. Этим устраняется требование права «вето».

Общее мнение советских юристов по вопросу о правовом режиме космического пространства было выражено Коровиным в следующих словах: «Строго говоря, международное право не дает ответа на вопросы о режиме в космическом пространстве... Теперь, когда эти вопросы поставлены, Советский Союз и Соединенные Штаты находятся в особом положении: всякая новая стадия в разрешении правовых проблем космического пространства должна быть результатом международного соглашения и в первую очередь, соглашения между Советским Союзом и Соединенными Штатами, как наиболее заинтересованными в этих проблемах».

Однако, нужно считать, что не юристы будут призваны разрешать проблемы правового режима космического про-

странства.<sup>15</sup> Американский профессор Леон Липсон был, очевидно, прав, когда писал: «Было бы неправильно со стороны Соединенных Штатов считать, что советские лидеры придают значение правовым доктринам, думая о космическом пространстве».

С точки зрения Советского Союза, пользование космическим пространством, прежде всего, проблема политическая.

*С. Л. Кучеров*

---

<sup>15</sup> Весьма видный советский ученый на вопрос автора настоящей статьи, почему советские юристы не участвовали в 1959 г. на Съезде в Лондоне International Astronautical Federation, к которой СССР также принадлежит, ответил: «Не юристы разрешат проблемы космического пространства».

## ЗА ФАСАДОМ 22-ГО СЪЕЗДА

Наиболее разительную особенность 22 съезда КПСС можно определить так: — этот съезд был совсем не таким, каким он был задуман. Он был не съездом «величайшего торжества и всеобщего ликования», а съездом разоблачений, яростной полемики против отсутствовавших оппонентов и жутких воспоминаний. Никакой официальный оптимизм, широко разлившийся по советской печати, не может затушевать того, что торжество не удалось. Что же произошло? Я не могу, конечно, дать окончательный и бесспорный ответ на это: многое остается еще неизвестным и через три месяца после съезда. Но я думаю, что кое-что, и весьма существенное, все же можно выяснить, исходя из того, как съезд был задуман и чем он стал.

Основной задачей съезда было принятие новой программы, которая в то же время должна стать конкретной программой перехода к коммунизму. Новая программа всегда является большим событием для партии, в особенности, если она принимается более чем через сорок лет после предыдущей (в марте 1919 года). Если же эта партия, которая, как коммунистическая партия в Советском Союзе, безраздельно правит страной, то ее новая программа может оказаться большим событием для всей страны. На этот раз новой программе было придано особое значение тем, что она должна возвестить начало новой исторической эпохи — периода трансформации советского социалистического общества в общество коммунистическое. Этим должен был определиться весь характер съезда и, в особенности, его психологическая атмосфера. Программа открывает широчайшие перспективы, но и ставит задачи огромной трудности. Поэтому она уже сама, как таковая должна быть могучей движущей силой. А для этого прежде всего было необходимо, чтобы она была обсуждена и принята радостно и с таким энтузиазмом, который захватил бы не только участников съезда, но — через них — и всех членов партии, и всех тружеников Советского Сою-

за, которым предстоит напряженными усилиями осуществлять поставленные программой задачи.

Вряд ли можно сомневаться, что съезд был задуман именно так и, как я уже сказал, должен был бы стать съездом величайшего торжества и всеобщего ликования. Ведь конечная цель, которая, согласно коммунистической телеологии, является целью всей истории человечества, уже не за горами, не в каком-то отдаленном будущем, а уже перед глазами, становится почти осязаемой. И для всего мира какое ослепительное свидетельство правоты и мудрости советской коммунистической партии и ее руководства во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Из этого «ослепления» можно было извлечь ценный капитал и для текущей политики в различных ее сферах, включая отношения между коммунистическими партиями, а, стало быть, и теми странами, которые этими партиями управляются. Словом, великое торжество — и всенародное и международное.

Но это торжество не состоялось, и, судя по многочисленным сведениям из Советского Союза (опубликованным и неопубликованным), преобладающей реакцией на съезд и его эпилог (изгнание мертвого Сталина из мавзолея) было не великое ликование, а великое смущение. Это не значит, конечно, что задуманный план не выполнялся. На съезде было сказано — и в докладах Хрущева и в речах делегатов — все, что полагается, об историческом значении новой программы, об ее грандиозных перспективах и поставленных ею задачах. Но первоначальный замысел выполнялся с дополнениями, которых никто не ожидал и за пределами Кремля не мог ожидать. Напомню, что эти неожиданные дополнения проводились по двум линиям — в виде разоблачения так называемой «антипартийной группы» (Молотов, Каганович и другие) и связанного с ним нового, усиленного и на этот раз публичного разоблачения Сталина, а, с другой стороны, в виде атак против албанских коммунистов и тех, кто с ними солидаризируется. Не может быть и речи о том, что это была импровизация, внезапно начатая Хрущевым в его отчетном докладе. Слишком ясно, что роли были распределены и был отобран подходящий для поставленной цели материал с явным намерением произвести потрясающее впечатление, вызвать по отношению к разоблаченным не только чувство ужаса, но и отвращение. И это удалось гораздо лучше, чем идея превратить съезд во всепартийный и всенародный праздник.

Если представить себе отчетливо, как велика разница между тем, как съезд был задуман, и тем, каким он оказался, то нельзя не прийти к заключению, что должны же быть чрезвычайно серьезные причины для такого искажения основного замысла. Нужно постараться отыскать эти причины, чего, не зная всех фактов, нельзя сделать без догадок и предположений, то есть без известной доли гипотетического толкования того, что известно. Руководство итальянской коммунистической партии, без сомнения, много лучше осведомлено, чем некоммунистические комментаторы — включая пишущего эту статью. Тем не менее Тольятти, поставив вопрос, почему понадобилось еще раз вернуться к сталинскому периоду, сказал, что на этот вопрос «трудно дать исчерпывающий ответ, потому что мы не знаем всей внутренней жизни советской компартии и ее руководящих органов». Это замечание можно и, наверное, нужно истолковать так, что не зная всего, Тольятти все же достаточно осведомлен о том, что происходило в советской компартии, чтобы быть осторожным в своих публичных высказываниях. Другие итальянские коммунисты шли дальше, и я еще буду пользоваться тем, что мы узнали из отчетов о заседаниях ЦК коммунистической партии Италии.

Начну, однако, свой анализ с другого конца. Новая программа содержит, если не план, то основные очертания экономического развития на ближайшие двадцать лет. Если эта часть программы вообще — как и вся программа в целом — очень оптимистична, то предвидения роста особенно близкой сердцу Хрущева сельскохозяйственной продукции производят впечатление самой бурной фантазии. Согласно программе объем сельскохозяйственной продукции должен увеличиться за двадцать лет в три с половиной раза. В своем докладе Хрущев сказал, что «такой огромный объем производства сельскохозяйственных продуктов может показаться некоторым слишком смелым. Цифры действительно потрясают своим величием». И несколько дальше: «Возможно, в буржуазной прессе по этому поводу напишут — вот, мол, какая у Хрущева фантазия о планах производства сельскохозяйственной продукции! Пусть пишут эти господа, но не забывают, что это говорится на съезде партии по поручению Центрального Комитета. Съезд призвет партию, народ, а народ — горы свернет». В этом месте отмечены «бурные, продолжительные аплодисменты».

«Пусть пишут» — что же, воспользуюсь этим снисходительным разрешением, не забывая, что это говорится на

съезде, который был задуман, как великий праздник. Объем сельскохозяйственной продукции должен за двадцать лет увеличиться в три с половиной раза, причем в два с половиной раза уже за первое десятилетие, в течение которого он должен увеличиваться в среднем примерно на 10 процентов в год. Такая цифра действительно «потрясает». Но «народ горы свернет». Вернемся от ожиданий к реальности и посмотрим, как горы сворачивались за последние годы (ведь народ к этому и раньше призывался). Возьмем статистические ежегодники «Народное хозяйство СССР» за 1959 и 1960 годы. В сборнике за 1959 год валовая продукция сельского хозяйства оценивалась в сопоставимых ценах 1956 г. По этому расчету, она составляла в 1958 г. 472 миллиарда рублей, а в 1959 г. 470 миллиардов, то есть даже несколько уменьшилась. В сборнике за 1960 г. продукция сельского хозяйства приводится в сопоставимых ценах 1958 г. и в новых рублях. По этому расчету она составляла 48,5 миллиарда рублей в 1958 г. и 48,7 миллиарда в 1959, то есть увеличилась за год меньше чем на полпроцента. В 1960 г. стоимость продукции в тех же ценах составила 49,8 миллиарда, что по сравнению с предыдущим годом дает увеличение почти точно на два процента. Подсчета стоимости сельскохозяйственной продукции в 1961 г. еще нет, но из годичного отчета Центрального статистического управления видно, что увеличение по сравнению с предыдущим годом могло быть лишь незначительным. Производство всех видов зерна увеличилось на два процента, а производство мяса вообще только «несколько увеличилось», но «без производства колхозами и домашнего производства населением» уменьшилось на четыре процента, и государственные закупки мяса «несколько уменьшились». Контраст между обещаниями программы и нынешней действительностью настолько разителен, что Хрущев имел полное основание сказать, что «такой огромный объем производства сельскохозяйственных продуктов может показаться некоторым (только ли «некоторым»? Ю. Д.) слишком смелым». Возможно, что Хрущев, когда он делал свой доклад, и сам думал, что лучше было бы формулировать эту часть программы более осторожно и тем сделать ее более правдоподобной. Думал он это или нет, но менять уже было поздно. Дело в том, что в момент опубликования программы (30 июня) ее предсказания могли не казаться такими дикими, какими они должны были представляться сколько-нибудь мыслящим людям в октябре, когда происходил съезд. В то

время ожидался очень хороший, даже рекордный для всех времен урожай. Хрущев еще в августе очень оптимистически говорил об урожае этого года. Выступая 7 августа по радио и телевидению, он сказал: «В текущем году сбор сельскохозяйственных продуктов и их закупки, видимо, будут такими, каких мы не имели за все годы существования советской власти». И это был для него чрезвычайно важный козырь. Если бы он мог возвестить на съезде очень значительный рост сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом, то это было бы и блестящим оправданием его сельскохозяйственной политики и сделало бы «потрясающие» цифры программы более правдоподобными — по крайней мере в глазах тех, кто не в состоянии или не хочет в этих цифрах критически разбираться. Но надежды на рекордный урожай не сбылись, и, что для нас особенно важно, главным образом вследствие неудовлетворительных результатов на целинных землях. Для нашей темы это особенно важно потому, что тут выплывает вопрос об «антипартийной группе».

На Пленуме ЦК в декабре 1958 г. Хрущев говорил: «Как известно, антипартийная группа боролась против политики партии в освоении целинных земель. Между тем именно за счет освоения целины страна резко увеличила валовое производство и заготовки зерна, что позволило поднять благосостояние народа, еще более укрепить могущество нашей родины». 1958-й был годом, действительно, рекордного урожая, и Хрущев торжествовал, тем более что большой успех можно было отметить и на целинных землях. Но в следующие годы дело обстояло уже не так блестяще. По всей стране урожай 1958 г. достигнут больше не был. Правда, по официальной статистике, в «основных районах освоения целинных и залежных земель» в 1960 году урожай был несколько выше, чем в 1958, но всего примерно на полпроцента. А вспахано было в том же 1960 году на 11 процентов больше чем в 1958. Кстати сказать, советская статистика урожаев серьезно оспаривается многими специалистами. Но здесь я в это не вхожу, так как пишу не о проблемах советского сельского хозяйства, а о политическом отражении его состояния и развития. На съезде в своем отчетном докладе Хрущев говорил об огромном значении освоения целинных земель, иллюстрируя его цифрой среднего урожая за пятилетие 1956-1960 г.г. Но когда он перешел к текущему году, то он восхвалял успехи на Украине, упомянул Центрально-чернозем-

ную зону, Краснодарский край, «ряд районов Поволжья, Урала и Сибири», но даже слов «целинные земли» не произнес. И в октябре ни для кого уже не было тайной, что на целинных землях результаты были в общем весьма неудовлетворительными. Ожидания, связанные с целинными землями, не оправдываются вот уже третий год. А ведь члены антипартийной группы именно и предсказывали и старались доказать, что ожидания, связанные с освоением целинных земель, не оправдаются. Это еще не забыто — уже потому, что об этом постоянно напоминалось. Не возникает ли теперь в партийной среде мысль, что ведь Молотов-то и другие были, пожалуй, правы? Не наблюдалось ли, что их престиж в партии подымался? Не усиливались ли эти настроения трудностями в сельском хозяйстве, такими, как недостаток мяса, так, что в некоторых местах наблюдается ведь своего рода «мясной голод»? А если эти предположения правильны, то вполне понятно, что Хрущев и возглавляемое им партийное руководство решили ответить на эти настроения встречным ударом против будто бы уже потерявшей всякое значение антипартийной группы. Тогда понятны разоблачения с целью загрязнить, морально уничтожить Молотова и других членов группы и припугнуть тех, кто к ним тяготеет. Хрущев не связал своей атаки против «антипартийцев» с их критикой его сельскохозяйственной политики. Ему было бы менее всего выгодно напоминать об этой критике, о которой, вероятно, и без того слишком много — с его точки зрения — вспоминают. Правильность своей политики он защищал указаниями на прегрешения исполнителей. «Целина, — восклицал он на съезде, — это детище нашей партии, гордость нашего народа! Мы должны добиваться, чтобы целинные земли далее стали символом культуры социалистического сельского хозяйства». Почему же тогда целина приносит горькие разочарования? Предвидя этот вопрос, Хрущев отвечает: «Следует сказать, что сейчас в использовании целинных земель имеются крупные недостатки. В Казахстане, например, по существу господствует монокультура, совхозы и колхозы много лет сеют только яровую пшеницу, то есть хлеб по хлебу. Это привело к засорению полей, затормозило рост урожайности. ЦК компартии Казахстана и Совет министров республики не думали о завтрашнем дне целины, занимали неправильную позицию в решении вопросов целинного земледелия».

Та же линия и по другому вопросу, который уже прямо подводит нас к проблеме «сталинизма». На Пленуме ЦК в

декабре 1958 г., нападая на антипартийную группу, Мацкевич рассказал о наименее известной стороне конфликта: «В последний период, когда встал вопрос о реорганизации МТС и продаже техники колхозам, укреплении и развитии колхозного строя, эти оторвавшиеся от партии и народа отщепенцы поднимали свою руку на все новое и передовое, на всё то, что могло содействовать развитию колхозного строя и укреплению нашей страны. Надо сказать, что, когда практически встал вопрос о подготовке материалов по реорганизации МТС, Молотов и Каганович буквально пытались терроризировать аппарат Министерства сельского хозяйства, чтобы раздобыть, вернее, состряпать какие-нибудь материалы, которые опорочили бы эти мероприятия. А Шепилов и его подручные, вроде академика Лаптева, пытались 'теоретически' обосновать 'ошибочность' разрабатываемых предложений». Это относится к лету (или концу весны) 1957 г. Тут уже дело явно шло о разрыве хрущевской политики со сталинской догмой, утверждавшей необходимость превращения колхозов в совхозы, как «высшую форму социалистической собственности», и исключавшей старания, так сказать, увековечить колхозное хозяйство. Споры о колхозах и совхозах ведутся до сих пор. Мнения специалистов расходятся. В докладе о программе Хрущев говорил: «Некоторые товарищи задают вопрос: как пойдет дальше развитие сельского хозяйства — колхозным или совхозным путем? Партия исходит из того, что строительство коммунизма в деревне пойдет путем развития и совершенствования обеих форм социалистического производства. Нельзя противопоставлять одну социалистическую форму другой». Хрущев говорил, однако, и о «преимуществах совхозов», но, «если в настоящее время во многих колхозах производительность труда ниже, а себестоимость продукции выше, нежели в совхозах, то это не потому, что колхозная ферма будто бы исчерпала себя и перестала соответствовать уровню развития современных производительных сил (так было бы по Сталину, Ю. Д.). Причину надо искать в другом — прежде всего в организации производства, в руководстве, а также в уровне технической оснащенности». Но колхозная форма освящена высшим авторитетом: «Это, по словам Хрущева, открытый В. И. Лениным путь перехода миллионов одиночных мелких крестьянских хозяйств к социализму». Хрущев, конечно, отстаивает колхозы не потому, что они будто бы были «открыты» Лениным, а на другом и очень серьезном основании, но гово-

речь об этом по существу я здесь не могу. Мне важно подчеркнуть другое: не упоминая антипартийцев и их критики, Хрущев выдвигает авторитет Ленина против сталинской догмы, как он это делает и в другом, первостепенной важности, вопросе, который фактически доминировал на съезде над всеми остальными. Это — вопрос о мирном сосуществовании.

Вслед за Хрущевым советские ораторы и писатели неизменно говорят о «ленинской политике мирного сосуществования». За последнее время ни по одному другому вопросу авторитет Ленина не выдвигается так настойчиво и... так бездоказательно. Потому что те ленинские высказывания, которые, например, приводил на съезде Пospelов, отнюдь не доказывают, что Ленин допускал возможность мирного сосуществования, как состояния не временного, а перманентного, и даже вообще к этому вопросу не имеют никакого отношения. Молотов отрицал и отрицает, что это политика ленинская. Он повторил это в заявлении, присланном перед съездом, с резкой критикой новой программы — в заявлении, которое подверглось на съезде яростным нападкам, но опубликовано не было. Там он, наверное, приводил цитаты, существование которых не может быть приятным для нынешних толкователей ленинизма. Но устранять их из полного собрания сочинений Ленина сейчас уже поздно. Да они имеются и во многих других местах. Одну из таких цитат привел в интервью, данном им парижскому еженедельнику «Экспресс», французский коммунистический теоретик Виктор Ледюк.\* То, что говорил Ледюк вообще настолько неожиданно в устах именно французского коммуниста, что его интервью является в полном смысле слова сенсационным. Ледюк привел цитату из статьи Ленина «Лучше меньше да лучше», которую я приведу по русскому оригиналу: «Можем ли мы спасти от грядущего столкновения с этими империалистическими государствами? Есть ли у нас надежда на то, что внутренние противоречия и конфликты между преуспевающими империалистическими государствами Запада и преуспевающими государствами Востока дадут нам оттяжку второй раз, как они дали в первый?» «Ленин, — продолжал Ледюк, — имел тут в виду неудачу попыток раздавить советскую революцию сейчас же после окончания Первой мировой войны». Ледюк указывает и, без сомнения, совершенно пра-

---

\* Его статья «Новые пути ревизионизма» была перепечатана в советском сборнике «Против современного ревизионизма». Москва, 1988.

вильно, что из самой постановки вопроса ясно, что «Ленин верил в возможность этой второй оттяжки, но и в неизбежность новой мировой войны», — что, добавляет Ледюк, и случилось. Являясь сторонником политики мирного сосуществования, но, очевидно, не признавая ее «ленинской», Ледюк спрашивает, должна ли эта ситуация (приведшая ко Второй мировой войне, Ю. Д.) «неизбежно возобновляться до всемирной победы социализма»? В марте 1923 г., когда Ленин писал эту — его последнюю — статью, Ленин такого вопроса не ставил. Но он считал, что победа социализма в мировом масштабе обеспечивается тем, что «Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское большинство населения». А задачей Российской коммунистической партии и Советской власти является «обеспечить свое существование до следующего **военного** (подчеркнуто мной, Ю. Д.) столкновения между контрреволюционным империалистическим Западом и революционным и националистическим Востоком». Этого Ледюк не цитировал, но добавленными мною словами Ленина вполне подтверждается его заключение, что Ленин верил в возможность еще одной передышки, но в то же время и в неизбежность новой мировой войны. С тех пор прошло почти сорок лет. Международное положение и соотношение сил в мировом масштабе теперь совершенно иные. Если бы Ленин жил сейчас, он, без сомнения, писал бы иначе, а не держался бы, как это делает Молотов, за то, что было написано в 1923 году. Но никак нельзя доказать, что он был бы сторонником мирного сосуществования, как его понимает Хрущев, или как нельзя доказать и того, что он был бы согласен с Молотовым. Ссылаться в этом вопросе на авторитет Ленина совершенно бессмысленно, делается ли это в защиту политики мирного сосуществования или в борьбе против нее.

Но для коммунистов ссылки на всеми ими признаваемый авторитет Ленина являются слишком сильным оружием, чтобы они могли от него отказаться. Ведь и югославские коммунисты подчеркивают свой «ленинизм» так же как и советские. Вопрос, который нас здесь интересует, это — против кого в данном случае Хрущев направляет это оружие? Открыто против Молотова и... против албанских коммунистов. Но сейчас уже совершенно несомненно, что атака ведется не только против маленькой Албании, но через Албанию и против грандиозного Китая (имею в виду, конечно, албанскую и китайскую компартии). Китайское партийное руководство публично солидаризи-

ровалось с албанским, которое в китайском «праздничном» приветствии было названо «безупречным». Теперь уже нельзя сомневаться в том, что между Москвой и Пекином существуют очень серьезные разногласия, наличие которых подтвердило выступление Чу Энь-лая на 22 съезде, протестовавшего против того, что Хрущев публично напал на албанцев. О существовании советско-китайских разногласий имеется теперь очень важное — и очень компетентное — свидетельство Луиджи Лонго, который, как заместитель генерального секретаря итальянской компартии, является по своему положению в этой партии вторым лицом после Тольятти. В декабре Лонго ездил в Москву, где провел десять дней и, как он говорил, «разговаривал», то есть, конечно, совещался с «советскими товарищами». Тем более интересно, что он по возвращении из Москвы рассказал 22 декабря на заседании ЦК коммунистической партии Италии, и что было на следующий день опубликовано в центральном органе партии «Унита». Речь Лонго поражает своей откровенностью. Лонго указал на то, что «китайские товарищи до сих пор не высказались по существу о позиции албанских руководителей». Они, продолжал Лонго, «предпочитали умножать выражения симпатии Албании к ее правителям и воспроизводить в своей печати клевету и ложь Тираны по адресу Советского Союза и его руководителей». Затем Лонго перешел к разногласиям между советской и китайской партиями. По его «мнению» (как осторожно сказано в отчете «Унита»), эти разногласия «идут дальше вопросов о мирном сосуществовании, о возможности избежания войны и о культе личности». Или сам Лонго или редактор отчета вставляет опять-таки осторожное «может быть», которое, однако, не устраняет впечатления, что Лонго знает, о чем он говорит. Он продолжает: «в основе расхождения, может быть, лежит различие концепций о движении к социализму стран социалистической системы. По одной концепции (по китайской, как видно из контекста. Ю. Д.) это движение («марш») должно происходить как единое целое; страны более продвинувшиеся вперед, должны равнять свой шаг по более отсталым странам, предоставляя всё свое материальное преимущество в распоряжение этих последних, чтобы ускорить их движение. Ясно, что если исходить из такой концепции, то нельзя согласиться ни с экономическим вызовом, который Советский Союз бросает капиталистическим странам, ни со стратегической и тактической установкой мирного существования, ни с советской экономиче-

ской помощью бывшим колониальным странам, ни даже с программой перехода к коммунизму и известной мерой демократизации советских учреждений с целью превращения диктатуры пролетариата в государство всего народа». Всё это сказано так определенно, что можно забыть о том, что это «мнение» Лонго, а что такое различие концепций, «может-быть», действительно лежит в основе расхождений. Да и сам Лонго сейчас же за приведенным местом сказал, что «китайские товарищи не скрывают их критического отношения к этим сторонам советской политики». Вспомним, что Лонго произнес эту речь, вернувшись из Москвы, где, надо думать, было условлено, что можно сказать публично о советско-китайских разногласиях — для внешнего мира, так как в самом Советском Союзе об этих разногласиях все еще открыто не говорится.

Речь Лонго проливает особый свет на одно место в программном докладе Хрущева, которое после этой речи явственно представляется возражением против китайской концепции, как ее изложил Лонго. Указав на то, что в странах социалистической системы «степень развития производительных сил еще не одинакова», Хрущев продолжал: «Эти объективные факторы и обуславливают то обстоятельство, что не может быть какого-то единого для всех социалистических стран 'часа' вступления в высшую фазу нового общества». И то, что это вступление в одних странах произойдет раньше, чем в других, «соответствует интересам всей социалистической системы, так как ускорит процесс общего движения народов к коммунизму и создаст более благоприятные условия для расширения помощи и поддержки другим социалистическим государствам со стороны стран победившего коммунизма». Итак: по китайской концепции сначала расширение помощи, а потом — равным шагом вместе с другими переход к коммунизму, а по Хрущеву, сначала переход к коммунизму (очевидно, Советского Союза), а после этого расширение помощи. Другими словами, китайские коммунисты хотят, чтобы Советский Союз отказался от цели «догнать и перегнать» Америку, а остановил свой экономический рост ради помощи отстающим странам. Но китайские коммунисты слишком горды, чтобы жаловаться на то, что Советский Союз не оказывает им достаточной помощи. Инициативу атаки против советских коммунистов они предоставили маленькой Албании. В той же речи Лонго рассказал о конфликте на совещании 81 партии в ноябре 1960 г. В выражениях, «которые обычно применяются только по отношению к открытым вра-

гам», албанцы «яростно» протестовали против того, что они не получают достаточной помощи. «Как основа таких протестов, — говорил Лонго, — обнаружилась концепция отношений между социалистическими странами, согласно которой Советский Союз должен взять на себя заботу о всех трудностях и нуждах отдельных социалистических стран. Иначе, Советский Союз пренебрег бы долгом социалистической солидарности и саботировал бы социалистическое строительство в других странах», чем, очевидно, по мнению албанцев, советские коммунисты и грешат. Значительное большинство участников совещания выступали, по словам Лонго, против албанцев. О единодушии он не говорил: на совещании было и меньшинство, более или менее солидарное с албанцами. О сущности конфликта до сих пор не было точной информации. Речь Лонго явилась своего рода откровением. Больше известно о том, какие партии поддерживают китайскую позицию. Это прежде всего партии в странах восточно-азиатских (но за исключением Монголии), некоторые партии в Латинской Америке и в Африке, а также, повидимому, австралийская. В Европе после того, как немецкая и французская партии склонились перед волей Хрущева, на стороне китайцев остаются только албанцы.

Это географическое распределение весьма показательно и, в сущности, вполне естественно. Война всего опаснее для Европы, которая может стать областью наибольшего разрушения, даже уничтожения. Спасти свои страны и вместе с ними себя от уничтожения, конечно, гораздо важнее, чем получение более широкой помощи. Поэтому эти партии за ту политику, которая, если и не дает абсолютной гарантии, а иногда и сама создает опасные положения, то все же направлена на избежание войны, словом, за политику мирного сосуществования. Виктор Ледюк, которого я выше цитировал, придает огромное значение тому, что на 22 съезде была подтверждена необходимость и при том «объективная необходимость» мирного сосуществования. «Я прошу вас, — сказал он, — верить, что когда марксисты говорят о политике, что она выражает 'объективную необходимость', то это не пропаганда». Ледюк, очевидно, считает, что политика мирного сосуществования находилась под угрозой — как со стороны Молотова и молотовцев в самом Советском Союзе, так, и в особенности, со стороны китайских коммунистов. Правда, говорил он, китайские коммунисты не против мирного сосуществования, но они продолжают считать войну неизбежной, что до сравнительно недавнего времени бы-

ло общим убеждением всех коммунистов. «Я думаю, — говорит Ледюк, — что в западном мире, а, может быть, и во всем коммунистическом мире, еще не оценили всего значения того новшества, каким является тезис о мирном сосуществовании, связанный с отказом от тезиса о неизбежных войнах». И подтверждение этого тезиса на 22 съезде открывает, по мнению Ледюка, «новый период в истории марксизма и коммунизма и должно иметь глубокие последствия во всех областях».

Можно, конечно, заподозрить искренность этих заявлений Ледюка, подозревать, что они являются пропагандой в пользу Хрущева. Но почему ему нужно было бы тогда опровергать Хрущева, демонстрируя, что, вопреки его постоянным утверждениям, политика мирного сосуществования не является «ленинской», что в устах коммуниста является большой дерзостью? Я допускаю, что элемент пропаганды у Ледюка имеется, поскольку он, прямо этого не высказывая, дает основание для вывода, что и политика западных держав должна быть более примирительной. Но, повторяю, я считаю совершенно естественным, что сколько-нибудь мыслящий европеец, хотя бы и коммунист, должен хотеть избежания войны и быть сторонником той политики, которая предоставляет для этого больше шансов. Тем более, что теперь уже нет сомнений в серьезности разногласий между советской и китайской партиями, в том, что китайская политика является более угрожающей и что Хрущев отстаивает против «китайских товарищей» свою политику мирного сосуществования. Наиболее угрожаемые партии и управляемые коммунистами страны не могут не поддерживать этой политики. А на «китайской» стороне группируются партии, которые, в сущности, находятся, так сказать, «на отлете» — в стороне от той зоны, которая наиболее подвержена опасности уничтожения.

Но как же быть с «мнением» Луиджи Лонго, согласно которому более глубокой основой советско-китайских разногласий является различие концепций движения к коммунизму? Ведь основным вопросом как будто оказывается все же вопрос о мирном сосуществовании и возможности избежать войны? Противоречия тут нет, потому что одно вытекает из другого. Для Хрущева мирное сосуществование необходимо не потому, что он является принципиальным пацифистом, а потому, что без сосуществования не может быть даже и частичного выполнения грандиозной программы, а вместо этого в случае войны грозит невообразимое разрушение. А с китайской точки зре-

ния, Хрущев, стремясь построить «коммунизм в одной стране», заботясь прежде всего о росте своей страны, создает иллюзии возможности избежать войны и ради этого предает дело мирового коммунизма, стараясь договориться с капиталистическим миром. А коммунисты албанские, политику которых китайцы считают «безупречной», прямо обвиняют Хрущева в том, что он капитулировал перед капитализмом.

Помимо оппозиции, которую условно можно назвать «молотовской», я не затронул обширной области противоречий, препятствий и сопротивлений, которые Хрущев встречает при проведении своей политики в самом Советском Союзе. Об этом все еще слишком мало известно, слишком мало точной информации. Я старался найти правдоподобное объяснение тому факту, что 22 съезд оказался не таким, каким он был задуман, и надеюсь, что нашел это объяснение, во-первых, в том, что в партии обнаружилась опасность роста «консервативно-догматических» (по определению Микояна) тенденций, а, во-вторых, в том, что прогрессирующее расхождение с китайскими коммунистами достигло такой остроты и стало так широко известно, что на него уже нельзя было не реагировать хотя бы в виде атаки — в сущности, контратаки — против коммунистов албанских. И эта контратака была своего рода апелляцией ко всем коммунистическим партиям, поставленным перед необходимостью выбирать, на чью сторону им стать. Отмечу, что даже лидер французских коммунистов Торрез, упорно противившийся десталинизации, заговорил теперь о «преступлениях Сталина». Хрущев вынес спор на более широкое обсуждение (но не в Советском Союзе), потому что убедился в невозможности компромиссного соглашения. Китайцы упорно отстаивают свою позицию, а Хрущев не хочет уступать. Уже потому, что достижение Китаем, с его населением втрое большим, того же уровня развития, как и в Советском Союзе, или близкого к нему, — и для Хрущева должно представляться, как «видение, внушающее ужас». Или более прозаически: гигантский Китай с тем же уровнем экономического и военного потенциала, как Советский Союз, был бы неизмеримо сильнее и вообще стал бы государством, по своей мощи далеко превосходящим теперешние «великие державы».

Что же касается итогов съезда с их внутренне советской стороны, то я предпочту, не делая собственных догадок, привести суждение видного итальянского коммуниста Амендолы, вождя молодого поколения («молодых львов») и самого **серь-**

езного соперника Тольятти. Еще при первом обсуждении 22 съезда в ЦК коммунистической партии Италии (10-11 ноября) Амендола высказал убеждение, что 22 съезд дал могучий толчок для обновления и прогресса коммунистического движения. Поэтому, продолжал Амендола, «необходимая критика характера и ограничений 22 съезда не должна затемнять значение такой победы, которая не была ни обеспеченной, ни легкой, но была плодом тяжелой и острой борьбы, которая все еще продолжается и, без сомнения, еще не привела к окончательному решению».

*Ю. Денике*

# ЗЕМСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

## I

Когда в ноябре 1904 года собрался первый земский съезд, среди его участников не было лиц, которые бы считали возможным сохранить традиционное неограниченное самодержавие; все были согласны в том, что необходимо установить народное представительство. Но по вопросу о том, какой характер должно иметь народное представительство, — съезд раскололся. Земцы конституционалисты полагали, что народное представительство должно быть основано на всеобщем, прямом, равном и тайном голосовании, а правительство должно иметь парламентарный характер. С другой стороны, так называемая Шиповская группа считала необходимым организовать народное представительство на основе земских учреждений.

Взгляды конституционалистов были сформулированы Ф. Ф. Кокошкиным в его брошюре «Об основаниях желательной организации народного представительства России».

Признавая, что создание народного представительства через выборы от губернских земств и городских дум имеет то преимущество, что эта система опирается на организованные общественные силы, что при полном разладе и неустойчивости русского общества только земства и города дают такую общественную среду, в которой люди прошли известную подготовку, приобрели навыки, умения и знания для руководства делами, земцы-конституционалисты тем не менее утверждали, что остановиться на таком устройстве народного представительства невозможно, в виду его существенных недостатков. Основным из них они считали то, что этим устанавливается такая многостепенность выборов, при которой ставятся не только затруднения, а прямо-таки преграды для непосредственного выражения желаний и мнений населения. Тем самым нравственные узы между представителями и народами будут порваны и они останутся чуждыми друг-другу. Народ не будет видеть в этих людях своих избранников, а они не к народу будут обращаться

за указаниями и поддержкой. Представительство, лишенное живой и непосредственной связи с массой населения, окажется как бы висящим в воздухе без твердой опоры на земле. Ни в глазах правительства, ни в общественном мнении такое представительство не может получить подобающего ему значения. Это значение, по мнению Ф. Ф. Кокошкина, может иметь только представительство, избранное на основе прямого и всеобщего избирательного права, так как только при таком порядке народные представители будут действительными выразителями народной воли.

В первые годы нашего столетия, когда Ф. Ф. Кокошкин писал свою брошюру, парламентский режим, при котором правительство опирается на большинство законодательного собрания, избранного на основе всеобщего прямого и тайного голосования, казался высшим достижением демократии и в нем видели наиболее совершенную форму государственного устройства. Но история XX века показала, что парламентский режим страдает весьма существенными недостатками.

Среди наших общественных деятелей и представителей науки нашлись лица, которые в острой форме отмечали недостатки парламентского режима. Так, В. А. Маклаков в своей статье «Еретические мысли» (Новый Журнал кн. XIX и XX) пишет, что общая воля народа должна была бы совпадать с действительными интересами государства и находить себе выражение в единогласии народного представительства, но так как достигнуть такого единогласия в парламенте невозможно, демократии стали учить, что за общее мнение всего представительства следует считать то мнение, которое соберет за собой большинство голосов; на этом утверждении все было построено... «Это начало наложило на жизнь демократий особый отпечаток. Управление государством при демократическом строе превратилось в войну за большинство. Военное искусство, как говорил Наполеон, — есть искусство быть сильнее неприятеля в определенный момент. Таким моментом в демократии прежде всего сделались выборы. К нему мобилизовали сторонников. Чтобы оказаться в этот момент сильнее противника, пускали в ход обещания и ложь во всех формах... Власть опиралась на большинство представительства, но выборы не окончательно решали этот вопрос. Большинство в парламенте могло разлагаться, создаваться из других элементов; поэтому война за большинство продолжалась и после выборов. Депутаты учитывали новые выборы, готовили в своих округах образование

новых «большинства», а пока занимались перетасовкой большинства в самом парламенте.

В этих условиях неустойчивости, власть не могла решать тех задач, которые ставила современная жизнь перед государствами, — ни организации безопасности в международном масштабе, ни водворения внутри общего довольства и справедливого социального строя. Парламентский порядок превращался в спортивный спектакль, где очень часто думали не столько о пользе и судьбе всего государства, сколько о сохранении или приобретении власти, о создании или разложении большинства» (Н. Ж. кн. XIX стр. 147).

«Поскольку демократии принимали безусловный примат «большинства», они сами подготовили, как результат, — «тоталитарный режим». Признавая обязательность «воли» большинства над другими, они исключали необходимость соглашения всех, как основу народоправства. И они одних приучили к подчинению силе, а в других развивали привычки «господства». Добрые начала в человеке они подавляли. Тоталитарный режим оказался только «пьяным илотом», который показал, куда мы идем». (Н. Ж., кн. XX, стр. 145).

Деспотический характер большинства в свое время уже был отмечен Б. Н. Чичериным: «Большинство не знает никаких препятствий; оно ни возле себя, ни над собой не видит силы себе равной. Ему нечего бояться, ибо оно может подавить всякое противодействие... Деспотизм большинства тем невыносимее, что от него нет спасения, он проникает всюду, во все углы общества, в частную жизнь. Властитель не живет в отдаленной столице, на недоступной высоте; он сам везде и лицом, у него миллионы глаз, зорко следящих за населением... Никто не смеет возвысить голос в противность общественному мнению, которое является тираином мысли и совести в гораздо большей степени, нежели какой бы то ни было самодержец.» («О народном представительстве», стр. 75).

В своей книге «Теория государства» Н. Н. Алексеев указывает на то, что невозможно существование государства без ведущего слоя, который дает общее направление государственной жизни, тогда как народные массы пассивно следуют за своими руководителями. Всякое государство является некоторой организацией, — организацией, хотя бы стихийно возникшей; а организация нуждается в том, чтобы ею кто-нибудь руководил. Ведущий слой возникает не потому, что группа обманщиков захватила власть, а в силу тех же естественных процессов, в ре-

зультате которых в организме более тонкие мозговые клетки отбираются от других.

При объяснении возникновения ведущего слоя Н. Н. Алексеев признает относительную справедливость теории Маркса, согласно которой властвующим в государстве является экономически более сильный класс, подчиненными — классы экономически слабые. Классическим примером классового государства является Англия XVII-го и первой половины XVIII века.

Но уже с половины XIX столетия на арене политической и парламентарной истории европейских демократий появляется новый класс — промышленный пролетариат. Те предположения, на которых строилась западная демократия — возведенный в принцип закон большинства и эгоистический интерес человека, как верховный принцип жизни, — привел к тому, что политическое выступление этой новой социальной группы приобрело чисто классовый характер. Западная демократия не представляла общественное благо, как благо органической целостности, она привыкла представлять его, как благо личных интересов некоторого численного большинства. Пролетариат, организуясь, как класс, повел жестокую борьбу с господством буржуазии, — борьбу, которая еще не разрешилась. Эта борьба и определяет действительную картину современных западных демократий. Но политическая сущность этих социальных отношений получила бы неправильное освещение, если бы мы не приняли во внимание организацию и деятельность партий. Современная демократия имеет дело не с органическими частями государства, а с дезорганизованной массой отдельных голосующих граждан. Эта масса может совершить любое политическое действие только предварительно организовавшись. Таким образом, партийный режим не есть результат обнаружения свободы, но есть проявление тех особых форм, которые придала демократии западная культура. И получилось, что классовая борьба в западных обществах, чтобы приобрести парламентские формы, должна была стать борьбой партийной. Таким образом, демократический режим стал режимом, управляемым при помощи комитетов политических партий и их вожаков, классовая борьба стала борьбой партийной, а правительство превратилось в согласительную комиссию партийных вожаков.

Но что представляют собой партийные вожаки?

«Человеку, желающему играть политическую роль, — пишет Б. Н. Чичерин, — нужно не возвыситься духом, а, напро-

тив, понизиться; он стремится не к пониманию высших общественных интересов, а к искусству говорить толпе; от него требуется не самостоятельность взглядов и суждений, а своего рода угодливость, гораздо более низкая и тлетворная, нежели та, которая проявляется в неограниченных монархиях... Это ведет к оскудению политических дарований, которое идет рядом с развитием демократических начал... Господство посредственности составляет характеристическую черту всякой демократии». («О народном представительстве», стр. 73, 74).

Таким образом, мы видим, насколько спорным было мнение Ф. Ф. Кокошкина и большинства представителей русской интеллигенции, что парламентарный образ правления, основанный на всеобщем, прямом, равном и тайном голосовании, является лучшей формой государственного устройства, и что эта форма обеспечивает действительное осуществление народной воли. Напротив, можно даже высказать парадоксальную мысль, что именно всеобщее прямое голосование является непреодолимым препятствием для выражения действительной народной воли. Поэтому особый интерес представляет та форма государственного устройства, которая в 1904 году намечалась Шиповской группой и которая может рассматриваться, как некоторое изменение того плана Сперанского, который по замечанию проф. М. М. Карповича представляется «одним из самых замечательных памятников русской политической мысли» («Imperial Russia» p. 19).

В особой брошюре, изданной Шиповской группой, устанавливались следующие положения:

Народное представительство должно быть построено не на всеобщем избирательном праве, а на основе реорганизованного представительства в учреждениях местного самоуправления, при чем последнее должно быть распространено на все части империи.

Русский земско-государственный строй представляется в следующем развитии: мелкие земские единицы и уездные города объединяются в уездных земствах, уездные земства и уездные города — в губернских земствах, губернские земства и города с населением свыше установленной нормы в государственном земском совете, который и является высшим законодательным учреждением империи.

Свой план организации народного представительства на основе организованного самоуправления Д. Н. Шипов мотивировал так: — «В современном конституционном государстве

предполагается, что каждый гражданин способен судить о всех вопросах, которые приходится разрешать народному представительству. Едва ли, однако, можно признать такое предположение справедливым. Для обсуждения и правильного разрешения всех сложных вопросов государственной жизни необходимо, чтобы лица, входящие в состав народного представительства, были достаточно к тому подготовленными, обладали жизненным опытом и установившимся определенным мирозерцанием.

Народное представительство должно вносить в государственную жизнь непосредственное знание местных и общих потребностей, назревающих в стране. Участие в общественных, земских и городских учреждениях и усвоение навыков в делах местного самоуправления является лучшей школой для подготовки людей к государственному народному представительству. Представление избрания народных представителей земским и городским общественным учреждениям обеспечивает, с одной стороны то, что выборы эти будут произведены людьми, близко знакомыми с потребностями местной жизни и привыкшими к общественной самодеятельности, и, с другой — то, что лица избираемые народными представителями, будут хорошо знакомы избирателям, которые имеют возможность остановить свой выбор на людях, способности и достоинства которых им хорошо известны.

Избрание народных представителей органами общественного самоуправления обеспечивает правильный отбор действительно лучших и более зрелых сил общества для целесообразного направления государственной жизни страны и исключает или значительно сокращает элемент политической борьбы, в которую при всеобщем голосовании неизбежно вовлекается все население страны». («Воспоминания и думы», стр. 300, 301).

Указываемый Д. Н. Шиповым отбор совершается именно по тому принципу, что гласные всякого вышестоящего собрания избираются из своей среды собранием нижестоящим.

Совершенно аналогичный план народного представительства выдвигал позднее быв. министр земледелия А. Н. Наумов. Но он останавливался не только на организации законодательного народного собрания, но и на форме правительства. Наверху страны он ставит — Государственное Земское Собрание, которое избирает Государственную Управу с председателем — Государственным старшиной и членами ее, заменяющими современных министров.

Вышеупомянутые Земские Собрания, начиная с волостного и кончая Государственным, должны были, по мнению А. Н. Наумова, подразделяться на обыкновенные или очередные, и экстренные. Компетенция первых должна была заключаться, главным образом, в рассмотрении годовых отчетов и смет, при чем все собрания должны были носить сессионный характер. Сроки очередных собраний предполагались следующие: волостные собрания должны были созываться в половине сентября на один-два дня; уездные в конце сентября на три-шесть дней; губернские — в декабре на 2-3 недели; государственные — на январь, февраль, март месяцы.

Указание А. Н. Наумова на характер (рассмотрение годовых отчетов и смет) и срочность Земских Собраний несомненно связано с существовавшей практикой земств, которая обеспечивала тщательную, предварительную разработку и подготовку всех вопросов, подлежащих обсуждению земских собраний. Инициатива предложения новых мероприятий в большинстве случаев принадлежала Управам, но и в тех случаях, когда инициатива исходила от гласных земского собрания, их предложения должны были быть переданы для разработки Управам. Всякое новое начинание, говорит Д. Н. Шипов, может быть принято только тогда, когда становится ясным его необходимость. Тогда оно должно быть тщательно изучено и должны быть найдены средства для его осуществления. Такая необходимая подготовка представлялась докладами Управ. С ними могли ознакомиться все гласные перед обсуждением всякого вопроса. Многие же из них, работая в земских комиссиях, сами принимали участие в предварительной разработке вопросов. Вследствие этого работа земских собраний всегда носила деловой характер и была направлена на разрешение вполне конкретных задач. В то же время обсуждение докладов Управ представляло широкий простор для такой же деловой критики их деятельности, и давало возможность делать указания для исправления существующих недостатков.

Выставленное А. Н. Наумовым положение, что Государственное Земское Собрание избирает Государственную Управу и Государственного Старшину, дает основание думать, что, по его мнению, и все управление государством должно было быть передано органам самоуправления. Одним из больших недостатков существовавшего у нас тогда самоуправления было то, что земства были лишены исполнительной власти и не являлись органической частью общей административной систе-

мы. По закону, изданному Временным Правительством, эти недостатки были в значительной мере устранены. Земства надеялись расширением власти и компетенции и вводились в общую административную систему, как автономные органы правительства. Но таким образом не устранялась двойственность земских и правительственных органов, унаследованных от старого режима. Правительство предоставляло земствам известную долю своей административной власти, но вместе с тем сохраняло за собой главное руководство народной жизнью. Тогда не было мысли о том, что весь строй государственной жизни должен получить коренное преобразование на основе местного самоуправления. Предполагалось, что во главе государства должно стоять законодательное собрание, избранное всеобщим и прямым голосованием, и министерство с подчиненными ему органами, опирающееся на большинство парламента. Наряду с организованным таким образом правительством должно было существовать новое земство. Принципиальное единство государственной жизни таким образом не достигалось. Между тем, если последовательно развивать планы А. Н. Наумова, которые, к сожалению, он только очень бегло намечает в своих «Уцелевших воспоминаниях», никаких правительственных органов, кроме земских не должно бы быть. Вся государственная жизнь должна была строиться на последовательных, все более широких органах самоуправления. Основное различие между указанной системой и обычным парламентским режимом заключается в том, что при последнем правительство сверху диктует формы общественной жизни, тогда как в государственном устройстве, основанном на самоуправлении, общественная жизнь начинает организовываться снизу в деятельности мелких самоуправляющихся единиц и постепенно переходит к более широким союзам и к более широким задачам. Несомненно, что последняя форма более приспособлена к удовлетворению народных нужд, может более полно выражать народную волю и способствовать осуществлению общественных свобод.

И Д. Н. Шипов и А. Н. Наумов в своих построениях ставили во главу угла волостное земство, как наиболее мелкую единицу самоуправления, оставляя без рассмотрения сельскую общину. Между тем в сельской общине, в так называемом мире, особенно ярко проявлялись исконное стремление и вместе с тем способность народа к свободному самоуправлению. Всякая сельская община представляла собой как бы крохотную республику, самостоятельное значение которой, как замечает Мэкензи

Уолес, должен был признавать даже такой самодержец, как Николай I.

Распорядительным органом сельской общины был сельский сход. Ведению схода подлежали дела по пользованию землей, поступившей в надел крестьянам, раскладки податей, сборов и повинностей и меры к их взысканию, назначение ссуд из запасных хлебных магазинов и осуществление других видов вспомоществования; совещания и ходатайства об общественных нуждах, благоустройстве, призрении и обучении грамоте; назначение сборов на мирские расходы; разрешение семейных разделов; принесение жалоб и просьб через доверенных лиц и дача доверенностей на ходатайства по делам; выборы должностных лиц — сельского старосты и его помощников, — представителей исполнительной власти общины.

Таким образом сельский сход обладал большими полномочиями и его постановления охватывали все стороны крестьянской жизни, осуществляя действительные принципы самоуправления. Думается, что в той или иной форме сельская община должна была бы быть сохранена и в будущем, являясь фундаментом всех стоящих выше самоуправляющихся единиц.

Существовавший в земстве порядок, согласно которому председатели и члены управ избирались на три года, и только по истечении этого срока мог встать вопрос об их переизбрании, давал земскому строю стабильность.

Руководящие органы земства, так сказать, были избавлены от заботы о самосохранении в течение трехлетнего срока, на который они были избраны, и все свое внимание могли полностью сосредоточить на разрешении стоявших перед ними задач чисто общественного характера. В случае неудовлетворительности их деятельности управа в полном составе, или отдельные ее члены, могли быть заболлотированы на новых выборах; таким образом, земские собрания выражали им свое недоверие. В том же случае, когда деятельность председателя и членов управы заслуживала одобрения земского собрания, они могли быть переизбраны и, таким образом создавалась длительная непрерывность власти. Например, в Московском губернском земстве за 40 лет его существования было только два председателя управы: А. Н. Наумов с 1865 по 1893 и Д. Н. Шипов с 1893 по 1904.

По аналогии с практикой уездных и губернских земских управ и земских собраний может мыслиться и практика высшей государственной власти — Государственного Старшины и

Государственной Управы. В противоположность парламентским режимам, такая власть, избавленная от заботы о самосохранении и основывающаяся в своей глубине на самостоятельности общественных объединений была бы несомненно сильной властью. В сознании собственной силы, она могла бы предоставлять свободу и относительную самостоятельность ниже стоящим общественным организациям. Предполагаемый государственный строй соответствовал бы действительным народным идеалам: в нем была бы наличность сильной объединяющей власти и свободы самоуправляющихся единиц. В нем мог бы быть осуществлен своеобразный оригинальный русский замысел государственного строя. Возможно, что он и получил бы начало своего осуществления в 1906 году, если бы не безусловное преклонение русской интеллигенции перед выводами науки государственного права Западной Европы, так ярко выраженными в брошюре Ф. Ф. Кокошкина.\*

Когда А. Н. Наумов сообщил свой проект П. А. Столыпину, последний сказал: «Конечно, это было бы лучше, но теперь уже поздно».

## II

До сих пор в этой статье мы останавливались на внешней, так сказать, структуре государства, основанного на самоуправлении и могли указать на его преимущества перед парламентарным режимом, но, может быть, еще важнее указать на те внутренние живые силы, которые получают возможность своего осуществления в рассмотренном строе.

«Марксизм, — пишет Н. Н. Алексеев, — следует признать соответствующим действительности научным обобщением. Необходимо только поставить вопрос, всю ли историческую действительность он охватывает?» («Очерки государства» стр. 71).

---

\* «В фазисах народной жизни», пишет Н. И. Костомаров, «следует отличать идеал, какой имел народ для своего политического и общественного строя, и образ действительный, в каком этот идеал осуществлялся только до известной степени, по несовместимости его с временными обстоятельствами, и собственным недостатком в народе ясности сознания самого идеала и средств к его достижению». («О значении Великого Новгорода в русской истории»).

Марксисты упускают из виду, что не всякое государство есть организация классового господства и классового принуждения. «Они упускают из виду, что политическая история знакомит нас и с совершенно противоположными тенденциями, — с более или менее ярко выраженным стремлением построить правящий слой в государстве на надклассовой основе, превратить его в функционального исполнителя некоторых общих государственных задач. С характерным воплощением такой тенденции знакомимся мы в истории русского государства.

По сравнительно общему признанию наших историков, едва ли не самой характерной чертой нашей истории является преобладание в ней стремления к образованию чисто служилого ведущего слоя, — откуда и вытекает столь ясно выраженная в разные исторические периоды жизни нашего государства борьба с классовыми и сословными преимуществами отдельных социальных классов. Так было в Московском государстве в период сложения его в национальное целое. По мнению В. О. Ключевского, в XV—XVI веках, когда складывалась Московская Русь, мы не находим в ней твердо выраженного понятия о каких-либо сословных преимуществах отдельных групп и классов. Московское законодательство знало хозяйственные выгоды, которыми пользовались различные классы и которые служили не интересам этих классов, а целям государства, были средствами исправного исполнения государственных обязанностей, наложенных на общественные чины, а не средствами обеспечения интересов этих чинов» (Там же, стр. 76).

«В таком изображении московский политический строй, поистине является противоположностью английского. Московское государство было тяжелым тягловым государством. Но с точки зрения государственной теории, Московское государство решило проблему, не менее важную, чем «правовая» Англия: оно решило проблему образования чисто служилого правящего слоя. Такова была политика всех великих и выдающихся русских царей. Можно относиться отрицательно к жестокости, с которой проводил эту программу Иван Грозный, но нельзя отрицать, что борьба его с княжатами, с боярским правлением, была идейно вдохновлена глубоко для его времени продуманной проблемой образования функционального, народного, служилого, правящего отбора» (там же, стр. 77). Неудавшаяся попытка Ивана Грозного была возоб-

новлена Петром I, который стремился превратить русское дворянство из привилегированного сословия в служилый государственный слой.

Но, если в силу сложившихся исторических условий и попытка Петра I оказалась неудачной, то всё же следует признать важность существования таких тенденций в русском государственном строе. Наконец, с введением земских учреждений эти тенденции получили частичное осуществление. В земстве лица, пользующиеся властью, — председатели и члены управ — обладали ею не в силу каких-либо сословных классовых преимуществ и не в силу назначения верховной власти, а в силу той работы, которую они вели. Ведущим слоем в земстве являлась группа лиц, интересующихся общественной жизнью и посвящающих ей свою деятельность. Здесь происходил естественный отбор лиц, наиболее приспособленных к государственному делу. Если мы представим себе вполне осуществленной схему А. Н. Наумова, то мы увидим государство, построенное не на классовой, а на функциональной основе. Практика старых земств показала, что несмотря на то преобладающее значение, которое законом было предоставлено дворянству, земство преследовало не классовые, а общественные цели; в предоставленной его компетенции сфере оно осуществляло обще-государственные задачи.

Это осуществление реальных обще-государственных целей, а не проведение той или иной партийной программы, должно было явиться общей задачей всех земских органов и прежде всего, конечно, задачей Государственного Старшины и Государственной Управы, получающих права и значение премьера и кабинета в парламентских режимах.

Часто указывается на то, что в высшем законодательном собрании должны принять какое-то участие профессиональные союзы, отражающие интересы различных профессиональных групп.

При рассмотрении этого вопроса существенно важно обратить внимание на то различие, которое существует между западными профессиональными союзами и тем, что создавалось в русском земстве.

На Западе профессиональные союзы рабочих возникли в борьбе пролетариата с капиталистами, и по настоящее время они являются главным орудием рабочих в отстаивании их интересов. Преследуя чисто классовые интересы, профессиональные союзы часто забывают о государстве и борются толь-

ко за осуществление своих эгоистических целей. Это особенно ясно в современной Америке, где профессиональные союзы часто не считаются с интересами всего населения, и отдельные группы рабочих, проводя забастовки, нередко наносят значительный ущерб своим же товарищам, создавая вынужденную безработицу. В некоторых острых случаях совершенно ясно, что деятельность профессиональных союзов может представить несомненную угрозу благополучию и даже безопасности государства. Но и там, где такая угроза не очевидна, практика профсоюзов может иметь иногда неблагоприятные последствия. Непрерывно отстаивая повышение заработной платы, профессиональные союзы тем самым повышают и расходы производства. При чем такая деятельность вызывается не необходимостью защитить рабочих от невыносимых условий, которые существовали в середине прошлого века, а стремлением к повышению и без того высокого жизненного стандарта, жаждою всё новых жизненных удобств. Иногда начинает казаться, что профессиональные союзы становятся школой антигосударственных настроений, школой забвения всего, кроме личного благополучия во чтобы то ни стало.

В земстве намечались союзы совершенно иного характера. Я укажу здесь, например, на деятельность медицинских организаций, которые служили примером и для всех других групп земских работников. Деятельность медицинских советов и медицинских съездов, была прежде всего направлена на возможно лучшую постановку медицинской помощи населению, а отсюда уже вытекали некоторые преимущества, которыми пользовались медицинские работники. Свои общественные задачи врачи могли с успехом осуществлять только в том случае, если они представляли организацию людей, проникнутых одинаковым пониманием стоящих перед ними задач. Отсюда вытекала необходимость профессионального объединения медицинских работников, одним из существенных прав которых было право рекомендации новых сотрудников. Таким образом, мы видим, что при возникновении подобных объединений в земстве они носили функциональный характер и должны были служить возможно более совершенному достижению определенных общественных целей. Чем менее земские служащие заботились о своих личных интересах, тем большим уважением и влиянием они пользовались в общем деле, как бескорыстные специалисты, отдающие свои знания и силы порученному им делу. Не было необходимости особого предста-

вительства профессиональных групп в земском собрании, так как и без того фактическое направление земской работы обусловливалось взглядами специалистов.

Для успеха общественной деятельности необходима наличность идей, объединяющих тех лиц, которые посвятили себя этой работе. Такие объединяющие идеи находят себе выражение в политических программах различных партий. Но основным недостатком всех партийных программ является то, что они по преимуществу отражают односторонние классовые или групповые интересы и строятся, как говорит Федотов, не на вечных началах заложенных в человеческом духе, а на принципах вчера или сегодня открытых Руссо, Марксом, Лениным.

В земской деятельности также была своя идеология. В своей книге «Воспоминания и думы о пережитом» Д. Н. Шипов пишет: «Я всегда понимал земскую идею, как идею этико-социальную, призывающую всех членов земских союзов к выполнению требований общественной правды и справедливости; требований нравственного долга». Эта этико-социальная идея и была той земской идеей, которая воодушевляла земских деятелей. Она соответствовала исконному стремлению русского народа воплотить в жизни правду-справедливость, но не путем осуществления придуманной программы, а путем постоянной непрерывной работы, направленной на возможные улучшения жизненных отношений.

Думается, что опыт подчинения большевистской власти создал в сознании народа известное отталкивание от всяких партийных лозунгов; но стремление найти нравственную опору для своей практической деятельности, стремление внушенное народу церковью в самом начале его исторического существования, несомненно сохранилось. Свидетельством тому может служить усиление религиозного чувства, которое по нашим отрывочным сведениям, приобретает всё большее значение и заставляет большевиков усиливать свою антирелигиозную пропаганду и даже меры насилия. В религии народ находил опору для своих лучших стремлений, и должен в будущем найти те нравственные силы, которые необходимы для восстановления нормальной общественно-политической жизни в России.

Некоторым может казаться, что когда большевики выкинули лозунг: «Вся власть советам», они тем самым явились

выразителями народной воли к образованию такой формы правления, где руководящую роль играли бы самоуправляющиеся единицы. Но, как всегда во всех словах и делах большевиков, и здесь заключалась внутренняя ложь: на деле советы оказались прямой противоположностью действительного самоуправления.

Если, как мы видели, деятельность земств носила функциональный характер и являлась попыткой построения государственной жизни на сверхклассовой основе, то советы, как прекрасно указал Н. Нароков в своей статье «Старые мехи» (Н. Ж., кн. 62), являлись прежде всего организациями, главной задачей которых было обострение классовой борьбы. С другой стороны, если, как мы видели, в построениях Д. Н. Шипова и А. Н. Наумова, проводилась та мысль, что государственная жизнь должна иметь своим основным принципом удовлетворение нужд населения, организуясь первоначально в мелкие земские единицы и постепенно выходя к более крупным организациям с более широкими задачами, строясь, так сказать, снизу вверх, то советы всецело подчиненные партии, являлись всегда только проводниками приказов центральной власти, органами, осуществляющими ее задачи без всякого внимания к местным нуждам и потребностям. Советский строй представляет высоко-централизованную власть, диктующую сверху, по своему произволу, все условия общественной жизни.

Демагогические лозунги большевиков не могли обмануть народ и большевистские советы всегда были ему чужды. «Это прямо вытекает», пишет проф. Н. С. Тимашев («Вместо комментария», Н. Ж., кн. 63) «из того ныне позабытого факта, что вплоть до начала 30-х годов в деревнях сельские советы играли лишь второстепенную роль, а первая принадлежала пережиткам сельских сходов. За те годы советская печать постоянно возмущалась по поводу того, что сельские советы не смеют и шага ступить без предварительного одобрения сельским сходом, который созывался под флагом «общих собраний граждан», мимоходом допущенных советским законодательством. Иными словами, крестьянство продолжало доверять своей исконной «непосредственной демократии»; а тогда крестьянство составляло почти 80% всего населения».

Таким образом, если мы думаем, что при создании государственного строя, должно считаться с известными исторически сложившимися формами, то не следует возвращаться к про-

возглашенным в 1921 году «Кронштадтским тезисам», а необходимо строить новый строй на идущих вглубь русской истории, совершенно своеобразных стремлениях, в которых проявлялся национальный государственный инстинкт народа. Освобожденный от долгого большевистского рабства, народ должен освободиться и от преклонения перед западными теориями. Мы должны верить своему национальному творчеству, а не оглядываться постоянно на Западную Европу. Мы должны помнить, что перед нами может стоять наш национальный идеал государства, основанный на местном самоуправлении строящемся снизу, а не сверху, имеющий не классовый, а функциональный характер, и проникнутый нравственным стремлением осуществить правду-справедливость.

*М. Поливанов*

# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

*Д. Ю. Далин*

21 февраля с. г. после тяжелой болезни скончался Д. Ю. Далин. В течение многих лет Д. Ю. был близким сотрудником нашего журнала, и с его кончиной «Новый Журнал» понес большую потерю. Д. Ю. родился в 1889 году в Рогачеве Могилевской губернии. Учился сначала в Виленской, потом в Петербургской гимназиях. По окончании поступил на юридический факультет Петербургского Университета. Смолоду Д. Ю. примкнул к социал-демократическому движению. Студентом был арестован. И дальнейшее образование вынужден был продолжать за границей. С 1910 по 1913 год он учился в Берлинском, потом в Гейдельбергском университетах, изучая политическую экономию. И в 1913 году в Гейдельберге защитил докторскую диссертацию.

Начало первой мировой войны Д. Ю. провел за границей. Как только произошла революция, в марте 1917 года он вернулся в Россию, в Петроград, где сразу занял видное положение в с. д. партии. Одно время был членом Московского Совета Рабочих Депутатов, редактором газеты «Печатник» и на последнем легальном съезде РСДРП был избран в ее Центральный Комитет. В рядах с. д. партии Д. Ю. вел активную борьбу против коммунистической диктатуры. В 1920 году был вынужден эмигрировать.

Здесь, в Берлине, в течение долгих лет Д. Ю. принимал активное участие в журнале «Социалистический Вестник», после смерти Мартова войдя в редакцию этого журнала, и одновременно состоя членом заграничной делегации меньшевиков. В 1922 году Д. Ю. выпустил книгу «После войн и революций» — сборник статей на темы русской революции и ее отражения в Западной Европе. Превосходно владея не-

мецким языком, Д. Ю. сотрудничал и в немецкой социал-демократической прессе.

После прихода Гитлера, Д. Ю. уехал в Польшу, а в 1939 году приехал на короткое время в Париж. Но события тех лет уже не дали ему возможности вернуться назад и в 1940-м году он переехал из Европы в Америку.

По своим взглядам в эти годы Д. Ю. отошел от марксизма. За двадцать лет проведенных им в США Д. Ю. стал выдающимся специалистом по вопросам советской внешней и внутренней политики. За эти годы в изд-ве Иельского У-та он выпустил 11 книг. Упомянем хотя бы главные его труды: «Внешняя политика Советской России», «Россия и послевоенная Европа», «Подлинная Советская Россия», «Три великих — Америка, Англия и Россия», «Принудительный труд в Советской России» (в сотрудничестве с Б. И. Николаевским), «Советская Россия и Дальний Восток», «Советский шпионаж» и другие. Одновременно Д. Ю. сотрудничал в американских журналах («Нью Лидер», «Проблемы коммунизма» и др.), выступая главным образом на темы советской внешней политики. На эти же темы он писал в «Новом Журнале» и в других русских изданиях.

Прекрасно образованный, свободно владевший всеми главными европейскими языками, это был публицист милостью Божьей, с широким кругозором и острым пером. Как человек Д. Ю. мог некоторым казаться замкнутым, но кто знал его ближе — знал его, как отзывчивого и доброго человека. После последней войны Д. Ю. отдал много сил и времени, помогая новым эмигрантам выбраться из Европы и устроиться в США. Этой помощи, надо думать, многие не забудут. В лице Д. Ю. русская эмиграция, и особенно наш журнал, потеряли крупного политического писателя и серьезного противника диктатуры. Да будет Д. Ю. легка земля.

*Р. Г.*

# БИБЛИОГРАФИЯ

**БОРИС ЗАЙЦЕВ.** «Тихие зори». Избранные рассказы. Изд-во Товарищества Писателей. Мюнхен. 1961.

К сборнику избранных рассказов писателя — а «Тихие зори» Бориса Зайцева являются именно таким сборником — надо подходить особенно внимательно. Какие темы по простетвию долгого писательского пути кажутся писателю самыми важными, с чем был он неразлучен всю свою жизнь? — вот вопросы, которые возникают, как только раскроешь книгу. Литературное наследство Б. Зайцева огромно. Но всё же именно эти, а не другие рассказы были выбраны им, показались наиболее характерными или, может быть, лично ему особенно дорогими.

Зайцевский мир — особенный мир. Зайцев непохож ни на одного из своих предшественников и современников. Те часто «искали бури», он — тишины. Эпитет «тихий» соединяет рассказы этого сборника, как еле заметная, но крепкая нить. Первый рассказ «Тихие зори» помечен 1904-ым годом. В нем еще нет словесного мастерства зрелых лет, но, как в фокусе, дано всё то, что впоследствии будет развито Зайцевым. Тема рассказа — писательский одинокий подвиг воскрешения любовью исчезнувшего и одновременно приятие смерти, «ибо земля есть». За этим рассказом, как основа — Писание ичеловеческое, но человеку данное и им услышанное. Умирающий Алексей говорит своему другу: «У тебя как-то чинно в квартире, как-то важно, торжественно». Эта чинность разлита у Зайцева повсюду, даже когда он описывает хаос и разгул революции. Хаос — вне, а внутри всё важно и не гаснет иеугасимая лампада тишины. И еще говорит Алексей: «Как ждал я этой тишины», и слышит ответ: «Но всё это в тебе самом, ты везде и всегда будешь таким». И, читая эту книгу, думается: в мир зайцевских рассказов входишь, как в просторную горницу, где можно передохнуть, умириться.

Первый и последний рассказ сборника о смерти. Алексей говорит своему другу, что ему «не страшно умирать». И главная мысль этого раннего рассказа, а, может быть, и всего сборника это пове-

дать, что «умирать не страшно»: — «То, что случилось с Алексеем, в сознании моем, не была смерть». И дальше: «Я не помню отчаяния в своем доме».

Тема смерти доминирует в этой книге, но ею не отменяется ни любовь, ни творчество. И то и другое дань человеку для преодоления смерти, повергающей в отчаянье, — в «нестрашную смерть».

Два рассказа о смерти: «Тихие зори» и «Разговор с Зинаидой», как бы кольцом охватывают книгу. В «Тихих зорях» речь была о «смерти нестрашной», кротко принятой, но сам образ Алешки воздушен, без ярких очертаний, почти призрачен. Зинаида же стоит перед нами во весь рост, горячая, бурная. И снова твердо и уверенно говорит Зайцев: «Тебя давно уже нет. Это ничего не значит. Вижу тебя и слышу, и вот говорю с тобой, какую ты была много лет назад полоумной девчонкой в деревне, позже другом на чужбине».

Зинаида — вечная память о России. С России начата эта книга, ею и кончена. Тень Зинаиды — часть прежней жизни, «дикий полет в бескрайность России...» «Смотрю вновь на образки, завещанные тебе солдатом. И опять ты, Россия, солдат, всё сливается в одно: в стон, в молитву о всех страждущих». Книга, начатая словами о «нестрашной смерти», кончается другими: «Поглощена смерть победою». Это та мудрость, которую Зайцев пронес через всю жизнь.

Фоном рассказов является или Москва, или русская деревня, порою Италия, вторая родина писателя. Даже унылым пригородам Парижа умеет Зайцев придать незамеченное другими благообразие.

Рядом с двумя рассказами о смерти, два других о вечной любви, не ущербленной ни невзгодами, ни годами. В «Мифе» предстоит нам молодость, ничем не омраченная, ликующая, гармоническая. В жизни героев Зайцева может быть горе, обида, несправедливость, но в ней нет ни уныния, ни отчаяния. В «Мифе» Зайцев хочет прославить сияющий полдень жизни, столь прекрасный, что он кажется мифом. С одной стороны, приятие горя и смерти, с другой — полное, без трещинки, счастье любви. И то и другое — благословенное. «Светлое» цветение яблонь и Мишиной любви реет над жизнью. Лисичка «может побежать, поплыть по воздуху». Она «пьяна светом», хочет «поцеловать солнце». И всё кругом светозарно: белые березы напоминают Мише христиан, «успокоенно белеющий хор». Миша и Лисичка говорят о том, что «чудесно растопить душу в свете, и плакать и молиться», что здесь «в самом деле целомудренное место», словно все они «плывут к какой-то более сложной и просветленной жизни».

В рассказе «Звезда над Булонью» та же любовь, но углубленная всем жизненным опытом. Она светит над унылым пригородом

Парижа, над войной, над старостью. «Миф» написан в 1906-ом году. «Звезда над Булонью» — в 1955-ом. Почти пятьдесят лет отделяет один рассказ от другого, но самое важное — то, что было в «Мифе», уцелело. Оно и в любви и в верности вечному. От «Никола на Песках» до «страшных древностью своей» башен Нотр Дам путь не так далек, как может показаться. Зайцев держит сердце по звездам и синяя звезда Вега идет с ним из занесенного снегом Арбата до серой и непримечательной Булони. Впрочем, унылой Булонь кажется только тем, кто не видит, что над нею. Героиню этого рассказа Элли за ее любовь ко всему живому «приветствуют неведомые типы», она в Булони «не инородное тело». С окружающим ее французским миром ее соединяет сочувствие, сострадание. И как герой «Мифа» Миша охранял когда-то сон Лисички, так герой «Звезды над Булонью» во время бомбардировки, сидя в подвале с женой, не чувствует своей беспомощности: «Но и у меня было тоже странное чувство — мужчины, защиты... Я тоже считал, что могу защитить...»

А приятельница Элли, мадам Брошэ, с ее словами: «...если бомбардировка, то значит Бог так хочет и нечего суетиться», тоже легко находит свое место в зайцевском мире. Всё одни и те же мысли и спутники сопровождают его в дороге. Казалось бы всё здесь, в Булони, русскому сердцу чужое. А вот не так: «В Страстную Пятницу всё молчит, потому что *le Christ est mort*». Зайцеву достаточно взглядеться, чтобы найти «свое».

Смерть, любовь — это темы вечные. Ими и начинается и оканчивается сборник. Но писателю дорого и иное. Прежде всего неповторимый исчезнувший русский быт: «Москва — древний любимый город». В «Жемчуге» — облик Москвы артистической, безалаберной, грешной. Но у Зайцева нет осуждения ничему, кроме безобразного. Может быть, не всё было как надо, но было главное — горенье, творчество, молодость, даже у шестидесятилетних. Русь. Ее вечное ненстребимое очарование. Этот быт Зайцеву дорог, он в нем возрос. И судьей ничьим быть не хочет. «Судий и так довольно» — как бы говорит он нам. А это просто жизнь «прекрасная, порою несправедливая, но всегда значительная». Грусть перегоревшей страсти, незадачливой любви описаны здесь с большой силой: обреченный мир, над которым Зайцев склоняется с грустью, сочувствием. В «Вечернем часе» нарисована такая же неудавшаяся жизнь женщины, но дан из нее и выход. Героиня «Вечернего часа» сознает, что «счастье — дар Божий». Он не для нее. Но от всей души она его желает другим. И в этом ее победа над несправедливым миром ее молодости. «Мифа» нет в ее жизни, но нет и зависти. Есть покой, дающийся отстрадавшим. И тихий час тоже веет над нею.

В этих двух рассказах Зайцев еще раз прощается со спутниками своей молодости, прежде, чем его самого отнесет волна к совершенно иным берегам.

В страшные годы революции уходит Зайцев душою на свою вторую родину — Италию и создает один из наиболее ему удавшихся образов художника. В «Рафаэле» он как бы говорит нам: в мире есть любовь и смерть — значительнейшее. Но для жизни каждому дан дар при рождении. И этот дар — радость. Писатель, художник не может не любить своего ремесла. И каждое мгновение жизни — служение своему дару.

Всё в этом совершеннейшем рассказе поэзия: «Капли падают серебром», «Под рукой мрамор казался тающим — светлой божественной природы». И дальше: «Пар вставал над болотцем». Упоеание любовью и творчеством и рядом смертоносное ядовитое болото, лихорадка. Зайцев отлично передает двойную природу искусства. Но кому что дано — дано! В ткань жизни входят и яды. Зайцев здесь снова не судья, а созерцатель. Сорадуется, страдает, а главное — приемлет. Лаурана, предвещающая Рафаэлю гибель; сова, вылетающая из расселины, — приняты Рафаэлем так же безмятежно, как и любимая трастевинка. Рафаэль по-детски беспечен и простодушен. Возмездие, преследующее творца за полноту бытия, его не страшит: надо платить — заплатим! — а пока будем идти «одним путем». За ним «день, полный исканья». Простодушное, детское радостно-творческое подчеркивается в нем Зайцевым. Рафаэля все любят: «Никогда животные не обижали его». И среди неспокойного ночью Рима «невозбранно возвращается Рафаэль». «И быть может, сама жизнь его — каждый ее миг — есть хвала, высший фирмиам Творцу». Рафаэль всё умиротворяет. Он такой же носитель тишины, как и все любимые герои Зайцева. Жизнь Рафаэля приемлет во всем, кроме уродства. Вид воров, обокравших церковь, вызывает одно: «Нет! Мимо! Мимо! Ни издевательств и не краж, ни казней не желает проезжающий художник, — это мелко, горестно и ненужно». Такова точка зрения каждого творца перед безобразием жизни, будь то доктор Живаго в лагере повстанцев или сам Зайцев во дни революции. Каждый художник «накладывает светлый покров радости» на жизнь. И рядом с «мифом любви» и «нестрашной смертью» это третья центральная тема его творчества.

Легко прошел по жизни Рафаэль. Легко и уходит. «Вся жизнь, — сказал Рафаэль, — как вон то облачко, золотая ладья, скользящая в закате. Приходит. Уходит». И умирает покойно. По мысли его ученика Дезидерио, «он надолго тут загоститься не мог».

Юг. Все эти пинии на закате переданы Зайцевым в «Рафаэле» так, как будто он сам жил во дни Рафаэля. Это не перевоплощение,

а соприсутствие, словно у него всегда были две родины: Россия и Италия. И в разгар революции, смертей, голода уходит Зайцев душою в светлый мир Рафаэля и снова находит тишину.

Но не всегда жизнь, хвала и благообразие. И вот в «Улице Святого Николая» звучат иные слова: «Сурова жизнь и неприятна и не прекраснодушна». Москва первых дней революции. Легкомысленная юность отшумела. Идет грозное и надо перестраиваться: «Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени-ль пожаров, в мирных ли цыгарках». В этих словах нет гнева, только тихая печаль летописца, который должен занести, отметить, от забвения уберечь, поведать о новом «с крепкой, цепкой лапой», о «машине смерти».

Любит Зайцев свою Москву — и во дни жизни легко-беззаботной и теперь, когда профессора везут на салазках свои пайки и торгуют конвертами. За временным безобразием любимого города чувствует он вечное, то, что останется и ради чего стоит быть летописцем грозных лет. Вера в Россию не подорвана. И теперь, через сорок лет, Зайцев снова включает эту летопись в свои избранные рассказы, чтобы подчеркнуть — в каждой жизни надо по-своему решить вопрос любви и смерти, творчества и «родного пепелища». Без этого «пепелища» жизнь — пустоцвет. И пусть торжествует временно «безобразие», — не вечно ему стоять. Ведь «среди горечи и стонov отчаянья, среди крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека и животного — всегда в субботний день, перед вечером, и воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Трех Никол, вливаясь в сорок сороков церковей Москвы».

«Улица Святого Николая» останется навсегда в русской литературе, как дань любви сыновней родному городу и как прославление Святителя — покровителя Арбата, словно ездит Святитель в облике «седенького извозчика в санках вытертых, как корабль нехитрый, но верный» и по сей день по Москве.

И не только Москва, но и Русь деревенская, жалкая и жестокая, описанная в «Авдотьи-смерти», осталась в душе Зайцева. Рассказ этот один из лучших в книге по проникновению в душу совсем не зайцевской героини. Авдотья описана так, что за ее словами и жестами, часто отталкивающими, видна измученная душа крестьянки, никогда ни от кого доброго слова не слышавшей, вечно голодной, вечно скитающейся за насущным куском хлеба ради сына. Пусть она бьет и ругает его: «Пралик тебя расшиби», — всё это наносное, материнская же любовь, сама себя не сознающая, но подлинная, прорывается в минуту смерти Мишки. В обычной жизни Авдотья гнусна, вся в мелком. В битье матери «исходила некая сила, гнез-

дившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршином ситца». Но для кроткой и тихой Лизы, понявшей, что надо за Авдотью молиться, это не так: «Когда Лиза мысленно, стоя на коленях в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, — Евдокия была как-то лучше, благообразнее, чем Авдотья-смерть, словно та «сила», которая гнала Авдотью, оставляла свою жертву и проступало в ней человеческое. И недаром именно Лиза тайным зрением увидела, что в минуту смерти Авдотьи «Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут...»

Нужно быть большим писателем, чтобы так описать чужое, проникнуть в душу, совсем не созвучную.

Крестьянка Авдотья тоже часть России. И Зайцев не отверг, не осудил, и не приукрасил ее в зрячей своей преданности родине. Принес эту преданность с собой в изгнание, сохранил до часа еще неведомого, когда позовет Россия всех «украшителей жизни».

*Приморские Альпы*

*Екатерина Таубер*

**С. П. МЕЛЬГУНОВ.** Мартовские дни 1917 г. Париж, 1961.

В самом конце 1961 г. в Париже вышла в свет книга покойного С. П. Мельгунова «Мартовские дни 1917 г.». Эта объемистая книга (444 страниц убористого шрифта) составляет третью часть тетралогии, остальные томы которой («На путях к дворцовому перевороту», «Легенда о сепаратном мире» и «Золотой немецкий ключ к большевицкой революции») вышли значительно раньше, равно как и самая значительная работа покойного историка, «Как большевики захватили власть».

Странна судьба «Мартовских дней». В 1950-4 г.г., в парижском журнале «Возрождение», редактором которого С. П. одно время состоял, появлялись отрывки из нее, которые, будучи отделены друг от друга, не давали представления о том, что говорит труд в целом. Внезапно автор порвал с редактором, и остановил печатание своего труда, который был написан им за последние годы второй мировой войны и впоследствии проредактирован к печати. Благодаря героическим усилиям вдовы покойного, труд этот теперь появился, без обозначения издательства и цены.

Книга начинается *ex abrupto*, с переговоров, происходивших в ночь с 1-го на 2-е марта между Временным Комитетом Государственной Думы, представлявшим «цензовую общественность», и

исполнительным комитетом совета рабочих депутатов, представлявшим то, что тогда называлось «демократией» — в порядке узурпации термина, обозначающего «власть народа», а не части народа, еще меньше какую-то часть народа. Автор объясняет, что он так поступил, потому что события «первых февральско-мартовских дней» были с достаточной полнотой и отчетливостью рассказаны в хронике февральской революции, составленной Заславским и Канторовичем (1924 г.), и в труде генерала Мартынова «Царская армия в февральском перевороте» (1927 г.). Приходится пожалеть, что автор не предварил своего повествования хотя бы краткой вступительной главой об этих ранних днях, тем более, что он сам о них часто говорит, а временами полемизирует с названными им источниками.

Начатый таким образом отчет о событиях чрезвычайно подробен в отношении первых дней марта. Затем изложение становится всё более и более суммарным и как-то неопределенно кончается, доводя читателя примерно до момента ухода со сцены Временного Правительства первого состава, иногда с экскурсами в события мая и даже июня. Как почти во всех своих работах, Мельгунов не стремится к обобщениям, к установлению тенденций развития, к выяснению причинных рядов, к рассуждениям о том, что было бы, если бы.... Его задача — установить точные факты, показать прошлое “*wie es eigentlich gewesen*”, по знаменитому изречению Ранке, совершившим своего рода революцию в историографии. До того времени она была преимущественно морализирующей и ставила себе задачей устанавливать «уроки истории», которые, как известно, никогда никого ничему не учат.

Но просто вести рассказ о том, что действительно случилось, невозможно. Вокруг действительно случившегося нарастают легенды, творимые участниками или просто современниками событий, в дневниках, которые часто ведутся со значительным запозданием против событий, когда память, этот весьма несовершенный аппарат рекордирования событий, уже изменяет; мемуаристами, обыкновенно из числа участников событий, которые по человеческой слабости приписывают себе совсем не то, что они сказали или сделали, и историками тенденциозного типа, тоже часто участниками событий.

Разрушать легенды дело, в котором покойный Мельгунов вряд ли имеет соперников. Легенд, крупных и мелких, разоблачаемых им в «Мартовских днях», просто не счесть. Назову из них некоторые, из числа ходячих (или в свое время ходивших). Революция не была вызвана провокационной стрельбой полиции; а протопоповских пулеметов просто не было: план борьбы с возможными «беспорядками» оставался старым, и за ним не стояло достаточной правительственной

силы. Не было царского приказа о вводе в Петроград гвардейской кавалерии, будто бы не исполненного генералом Гурко, который одно время заменял Алексеева, однако, — до начала описываемых в «Мартовских днях» событий.

По этому поводу позволю себе привести, в дополнение к сообщаемым Мельгуновым данным, факты, известные мне со слов ген. Поливанова. В бытность его военным министром, он обратил внимание императора Николая II на опасность сосредоточения в Петрограде огромной массы запасных, плохо дисциплинированных и подвергавшихся революционной пропаганде, и предложил все гвардейские запасные батальоны распределить по стране, а вместо них вводить в Петроград, по очереди, одну гвардейскую пехотную и одну гвардейскую кавалерийскую дивизию; рассказано это было им мне тогда же, т. е. задолго до революции. Но император отверг этот план, считая, что огромные военные силы, собранные в Петрограде, совершенно обеспечивают порядок. Поливанов не стал настаивать, так как знал, что император его только терпит (как и генерала Н. В. Рузского, о чем неоднократно упоминается у Мельгунова).

Но возвращаясь к труду последнего. В нем весьма убедительно опровергается легенда, будто в решающие дни императорский поезд был заблокирован восставшими рабочими и солдатами. Была телеграмма Бубликова, эту блокировку предписывающая; но она исполнена не была, и поезд двигался свободно. Поворот на ст. М. Вишера, по пути из Бологое в Тосно, был вызван ложными слухами о занятии станции Любань восставшими солдатами; на самом деле, там был просто разгромлен станционный буфет какими-то запасными частями.

Легендой является и «засекреченность» поездки Гучкова и Шульгина в Псков. Ее полностью опровергает телеграфная переписка между Ставкой и Северным фронтом. Автор при этом указывает, что отдельные свидетельства об этой поездке называют различные часы отъезда из Петрограда, от рассвета до 4 ч. дня; на самом деле, по сохранившимся станционным записям, поезд отошел в 2 ч. 47 м. и прибыл в Псков в 9 ч. в. — для военного времени хорошая скорость. Аналогичные легенды создались вокруг «карательной экспедиции» ген. Н. И. Иванова. Никакого кровопролития не было; Иванов благополучно прибыл в Царское Село, где имел полуторачасовую беседу с императрицей Александрой Федоровной, и потом решил вернуться на ст. Вырица. Кстати, информация о событиях, полученная Ивановым там от Алексева, совершенно искажала действительность — в Ставке истинного положения вещей не знали.

Полна легенд история «псковской трагедии», как Мельгунов называет отречение; ближе всех к истине подходит запись вел. кн. Андрея Владимировича, со слов ген. Рузского; вообще этот днев-

ник, по словам Мельгунова, выгодно отличается от других источников достоверностью и точностью в передаче событий.

Из легенд об отречении, Мельгунов подробно разбирает две. Одна гласит, будто 3-го марта император Николай II передумал и передал трон сыну; соответствующую телеграмму он вручил Алексееву, который ее, однако, не отправил. Как убедительно показывает автор, телеграмма, оставшаяся у Алексеева — та самая, которую император составил накануне, до разговора с приезжими из Петрограда. Вторая легенда толкует отречение в пользу брата как коварный шаг, рассчитанный на то, что такое отречение (за себя и за сына) будет признано незаконным, а это позволило бы Николаю II вернуться на трон. Мельгунов очень убедительно показывает всю невероятность такой «догадки». К тому, что он говорит, можно было бы прибавить, что Основные Законы вообще не упоминали об отречении, так что, при желании, «незаконным» можно было бы признать и отречение в пользу сына.

Применительно к февральской революции, задача выяснить факты, как они действительно произошли, осложняется одной особенностью этой революции, часто упоминаемой исследователями. Эта революция, в сущности, не имела вождей. Были подстрекатели, но на первых порах никто событиями не руководил. Все бродили в потемках, никто, в сущности, не знал, что и где происходит или только что произошло. В военную комиссию при Временном Комитете отовсюду поступали сведения об огромных полицейских засадах, о пулеметах на крышах домов, о каких-то таинственных черных автомобилях. Но на бумагах комиссии почти всегда есть отметка — неверные сведения, не подтвердилось.

Не только не было взаимной осведомленности между Петроградом и Ставкой, но ее не было и между отдельными центрами действий в Петрограде, даже между отдельными частями Таврического дворца, которому суждено было стать главной ареной исторических событий. Всюду господствовали напрасные страхи — например, перед «36 военными эшелонами» верных правительству войск, движущихся на Царское Село; всюду рождались преувеличенные надежды, ни на чем не основанные предвидения.

Автор не пытается, и правильно делает, найти какой-то синтез, объединяющий разрозненные поступки и движения. Только понемногу выкристаллизовалось что-то из космического хаоса; но это нечто было неясно и бесформенно и потому неспособно руководить социальными процессами. Автор опровергает легенду о двоевластии, но не очень убедительно. Случаев формального расхождения Временного Правительства и Исполнительного Комитета Петросовета

было немного, но самая возможность протеста парализовала членов Временного Правительства. Однако, всё это вполне выяснилось уже за пределами той хронологической рамки, в которой автор рассматривает события.

Читатель не посетует на меня за то, что я не попытался глубже войти в суть материала, предлагаемого автором; по характеру труда, это почти невозможно. Но труд, несомненно, является ценным и солидным вкладом в русскую историческую науку. Надо надеяться, что с ним ознакомятся не только образованные круги русской эмиграции, но и те не-русские читатели, которые читают по-русски и хотят узнать правду о фактах, из коих сложилась революция. А толкований ее уже существует великое множество, но часто построенных на песке ошибочной информации.

*Н. С. Тимашев*

## ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА О СОВЕТСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

**ПРОФ. Д-р А. З. АРХИМОВИЧ.** Растениеводство СССР. Институт по изучению СССР. Исследования и материалы. Серия 1-я, вып. 57. Мюнхен 1960, 232 стр.

Как видно из приложенной биографической справки, автор в 1917 г. окончил Киевский университет, затем Киевский политехнический институт, где позже был профессором. Автор — доктор биологических наук, специалист по растениеводству и селекции. В эмиграции опубликовал по-русски и по-украински ряд работ по своей специальности, из которых часть появилась также на английском языке.

Реферируемая книга проф. Архимовича прошла как-то мало замеченной теми, кто должен был бы особенно заинтересоваться ею, т. е. экономистами, изучающими советское хозяйство, и политическими писателями, оценивающими общее состояние СССР. Виной тому, может быть, является название книги, отпугивающее не агрономов и не растениеводов. Но при специальном заглавии книга, кроме узких специальных проблем, рассматривает целый ряд вопросов общего значения, опрокидывает многие, установившиеся на Западе и даже среди эмигрантов, ложные представления и приводит критически проверенные данные, ведущие к далеко идущим выводам.

Географическим зонам и сельскохозяйственному районированию СССР, на основе почвенных и климатических условий, посвящена глава II. В ней также дана ценная сводка дореволюционных и позднейших работ по этим вопросам. Здесь же автор отмечает крайне низкий процент посевной площади во всей территории страны. Процент этот при советской власти долгое время очень мало превышал его дореволюционный уровень: 5,2% в 1912 г. и 6,5% в 1940 г. Лишь с 1954 г. он заметно увеличился (до 9%), благодаря стремительной распашке целинных земель.

Интересные данные о сельскохозяйственных культурах и их географическом распространении собраны в главе III. Здесь дано процентное соотношение площадей под зерновыми, техническими, огородными и кормовыми культурами с 1913 г. по 1958 г. Если по ежегоднику «Народное хозяйство СССР в 1959 г.» (стр. 329-330) довести эти данные до 1959 г., то получается следующее изменение с 1913 г. по 1959 г. (в % %):

	Зерновые	Техни- ческие	Огород- ные	Кормовые	Итого
1913 . . . . .	90,1	4,3	3,6	2,0	100
1959 . . . . .	61,0	6,3	5,9	26,8	100

Рост площади под техническими огородными и кормовыми культурами обычно считается признаком перехода от отсталых форм землепользования к передовым. «Так бы оно и было, замечает автор, если бы этот процесс происходил в силу гармонического развития сельского хозяйства. Но элемент гармоничности в условиях советской экономической системы с ее «революционными» методами отсутствует. В результате это привело к настолько сильному упадку зернового хозяйства, что для выхода из создавшегося положения партийному руководству СССР пришлось приступить к освоению целинных и залежных земель на востоке СССР» (стр. 63). К тому же рост посевов кормовых растений обязан, главным образом, принудительному расширению посевов кукурузы на зеленый корм и на силос, в том числе в районах мало пригодных для этого. С особой тщательностью рассматривает автор культуры на более знакомой и близкой ему территории Украины.

Агротехнике и селекции посвящена глава IV. Общеизвестным, говорит автор в начале этой главы, считается очень низкий уровень агротехники в дореволюционной России: «Об этом писали не только экономисты и политики левого направления в России, но и официальные представители Департамента земледелия при Главном

управлении землеустройства и земледелия. В этом отношении многие из руководящих лиц Департамента земледелия, желая быть возможно объективными, на самом деле проявляли излишнюю строгость в оценке состояния сельского хозяйства в дореволюционной России» (стр. 124). Не замалчивая агротехнической отсталости России, автор, однако, указывает, что «во многих крупных хозяйствах, главным образом, в черноземной полосе, агротехника полей была вполне на уровне агрономических требований того времени», а «благодаря деятельности земств, участковых агрономов и сельскохозяйственных обществ, более совершенная агротехника распространялась и на мелкие крестьянские хозяйства» (там же). Россия не только кормила свое растущее население, но в ней «в свое время существовал обыкновенно избыток сельскохозяйственных продуктов. Этот избыток экспортировался... По экспорту пшеницы Россия стояла до первой мировой войны на первом месте среди других государств. С началом революции это место было потеряно» (стр. 124-125). «Общее производство зерна настолько уменьшилось, что в период военного коммунизма между городом и деревней возникла настоящая война за хлеб» (стр. 125). Именно на это время приходится описываемая автором по советским источникам «голодная кампания», равно как «последгол» с «кошмарами людоедства, трупоедства, массового питания такими суррогатами как земля, глина, кожа животных, кости падали, мука из лошадиного кала и пр.» (стр. 185). Американская АРА кормила в это время 10 мил. чел. и раздавала голодающему населению Сов. России 34,4 мил. пуд. продуктов, а Нансеновская организация — 470,9 тыс. пуд. «В современной советской печати, прибавляет автор, предпочитают умалчивать о размерах американской помощи во время голода 1921 г.» (стр. 186).

Сельское хозяйство начало поправляться в период Нэпа, в связи с «ростом индивидуальных хозяйств и заинтересованностью крестьян в развитии таковых». Но, продолжает автор, это было оборвано насильственной коллективизацией с ликвидацией «кулаков»: «Зимой 1930 г. было сослано на север и в Сибирь не менее 500.000 крестьян с семьями, вся «вина» которых заключалась лишь в том, что они достигли некоторого хозяйственного благополучия, пользуясь теми правами, которые предоставила им сама советская власть в период Нэпа». Завершилось это катастрофой 1932-33 гг., когда от голода погибло около 9 миллионов человек» (стр. 125).

Несмотря на МТС и введение машин, урожаи оставались крайне низкими. Но вместо возврата к нормальному хозяйству, советская власть безрезультатно бросалась от одного необыкновенного способа повышения урожая к другому. Автор дает беспощадную критику таких методов, как «сверххранний сев», предложенная знаменитым Лы-

сенко «яровизация», повсеместное при всех климатах введение травопольных севооборотов, рекомендованных акад. В. Вильсоном, или введение, по совету Т. Мальцева, «велкой пахоты без отвала». Рассмотрена также Хрущевская распашка целинных и залежных земель с нелепым хозяйничаньем на них, равно как неудача Хрущевских же посевов кукурузы в непригодных для этой культуры районах. Вместе с тем автор отмечает неоцененные действительные научные заслуги акад. Н. И. Вавилова, сосланного в 1942 г. в Сибирь, где он и погиб в том же году. Говорит он и о репрессиях, которым подвергались многие другие научные и практические работники в области растениеводства, с интересом отдававшие своей работе в стремлении вывести народные массы из хронической нужды. Рассказан, между прочим, типичный случай с селекционером Б. П. Соколовым, чья работа по получению гибридных семян кукурузы была 20 лет назад прекращена, вследствие неодобрения его метода небезызвестным Лысенко, хотя такой же метод дал прекрасные результаты в США; а в 1956 г. пленум ЦК КПСС потребовал перехода в 3 года на посев гибридными семенами (стр. 177).

Но одной из самых оригинальных глав в книге проф. Архимовича является глава I, особенно при сопоставлении ее данных с данными главы V. Первая посвящена сельскому хозяйству дореволюционной России, вторая — результатам советского хозяйства.

Автор едва ли не единственный исследователь в наше время, использовавший для характеристики дореволюционного сельского хозяйства России не советские данные, а официальные издания Департамента земледелия и других учреждений, равно как многочисленную дореволюционную литературу.

Из этих приводимых автором данных отметим, например, количество частновладельческой и крестьянской (надельной) пахотной земли, в среднем за 1910-12 гг. в мил. дес. и %% (стр. 7):

	Всего	Частновлад.	Крестьян.
50 губ. Европ. России	76,9	24,00	52,90 (68,8%)
Царство Польское	5,2	2,30	2,90 (55,8%)
Кавказ . . . . .	8,3	1,50	6,80 (81,9%)
Сибирь и Среднеаз. владения	9,9	0,13	9,77 (98,7%)
Итого . . .	100,3	27,93	72,37 (72,2%)

В Сибири и среднеазиатских владениях почти 99% пахоти принадлежало крестьянам, свыше 80% ее принадлежало им на Кавказе и без малого 3/4 в среднем по всей стране. При этом часть частно-

владельческой пахотной земли составляли земли, купленные крестьянами. К этому можно добавить, что немалую часть помещичьей пахотной земли крестьяне держали в аренде, платя за нее несравненно меньше того, что берет от них советская власть за «бесплатную» землю. В общем, по обследованию 1916 г., в 43 губерниях 64,0 мил. дес. из 71,7 мил. дес., т. е. до 89% посевной площади этих губерний засевалось в этом году крестьянами.

Далее автор говорит, что «во многих крестьянских хозяйствах, особенно после Столыпинской реформы, перед первой мировой войной и революцией происходил быстрый переход от трехполья к многопольной системе» (стр. 9). Начало распространяться в них и широкое применение машин, а равно и минеральных удобрений. Вообще же в России за 17 лет, с 1895 г. по 1912 г., ввоз сельскохозяйственных машин из-заграницы возрос в 6 раз и собственное производство их возросло в 5 раз. Конечно, в то время это были еще более простые машины, но указанный рост мало уступал по своей скорости росту в советском хозяйстве почти полувеком позже, а именно с 1940 г. по 1959 г., числа уже более совершенных машин в виде тракторов и тракторных сеялок (в 7 и 6 раз) и превышал скорость роста числа грузовых автомобилей, тракторных плугов и зерновых комбайнов (в 4 раза, см. «Народное хозяйство СССР в 1959 г.», стр. 422). О потреблении минеральных удобрений автор пишет, что кроме быстро возраставшего домашнего производства, ввоз их за 6 лет, с 1906 г. по 1912 г., вырос с 7,8 до 35,2 мил. пуд., т. е. почти в 5 раз (стр. 9). Между тем в СССР за 6 лет, с 1953 г. по 1959 г., т. е. в годы «крутого подъема» советского сельского хозяйства, количество минеральных удобрений, поставленных сельскому хозяйству, возросло с 6,5 до 11,1 мил. тонн, т. е. менее, чем в 2 раза. Останавливается автор также: на деятельности Департамента земледелия; на сельскохозяйственной статистике, не только не занимавшейся очковтирательством и фальсификацией данных, но скорее страдавшей неполнотой и преуменьшением их; на развивавшихся опытных станциях и селекционном деле; на начавшем расти сельскохозяйственном образовании; на сельскохозяйственных обществах и журналах. Всё это росло свободно, без т. н. «штурмовщины» и темпами, не уступавшими советским.

Особенно интересны приведенные в книге данные о валовом сборе зерновых и их урожайности. Данные эти пополнены автором в его статье «Валовая продукция зерна в России и в СССР», помещенной в «Вестнике Института по изучению СССР», Мюнхен, № 3 (35), 1960, стр. 74-81.

Из всей посевной площади на долю зерновых приходилось в 1913 г., по дореволюционным официальным данным, 98,23 мил. дес.

или ок. 107,8 мил. га. По советским же данным, под зерновыми в 1913 г. было «в границах до 17 сентября 1939 г.» всего 94,4 мил. га и «в современных границах» 104,6 мил. га. Для современных границ разницу нельзя объяснить отпадением некоторых областей, так как территория России в 1913 г. равнялась 22,3 мил. кв. км, а территория СССР в современных границах, хотя и в несколько ином составе, равна 22,4 мил. кв. км («Нар. хоз. СССР в 1959 г.», стр. 7). Уменьшенная цифра, говорит автор, просто бралась, потому что «представляла для статистической эквилибристики в советских докладах и изданиях» выгоду, позволяя «начислять более высокий процент увеличения посевных площадей при советской власти» (стр. 8). По советским данным, площадь под зерновыми составляла в 1958 г. 125,2 мил. га и в 1959 г. — 119,7 мил. га.

Валовой сбор зерна в среднем за 18 лет, с 1895 г. по 1912 г., составлял 3.957 мил. пуд. или 649 мил. центнеров, за 6 лет, с 1907 г. по 1912 г. — 4.446 мил. пуд. или 729 мил. ц., и за 2 последние перед войной года 5.072 мил. пуд. или 832 мил. ц. в 1912 г. и 5.637 мил. пуд. или 924 мил. ц. в 1913 г. (стр. 15 и 74 в «Вестнике»). При этом известно, что дореволюционная статистика урожаев преуменьшала урожай, так как люди, дававшие сведения о нем, боялись повышения налогов при высоких урожаях. Разные же советские издания приводят для 1913 г. цифры валового сбора зерновых в 820, в 801 и даже в 765 мил. ц. Ежегодник «Нар. хоз. СССР в 1959 г.» дает для 1913 г. 4.670 мил. пуд. или 765 мил. ц. для границ до 17 сентября 1939 г. и 5.253 мил. пуд. или 860 мил. ц. для современных границ. В СССР, говорит по этому поводу автор, официальные данные дореволюционной России скрываются, а вне СССР найти соответствующие издания трудно. Поэтому иностранные и эмигрантские экономисты, пользовавшиеся советскими изданиями, чаще всего принимали сбор зерновых в России в 1913 г. за 801 мил. ц.

Эта цифра приведена и нами в работе «Эра пятилетних планов в хозяйстве СССР» (Мюнхен, 1959. Часть 2, стр. 270-а). Но и после книги автора и его статьи в «Вестнике» эта уменьшенная советская цифра сбора зерновых в России 1913 г. приведена в статье Stefan C. Stolte "Agricultural Problems in the Communist Bloc" ("Bulletin of the Institute for the Study of the USSR, Vol. VIII, No. 4, Munich, April 1961, p. 31). Там же приводятся со ссылкой на издания ООН без всяких поправок советские данные о сборе зерновых в позднейшие годы. Поэтому ценным дополнением к реферируемой книге автора является критический разбор этих данных, сделанный автором в указанной статье в «Вестнике». Здесь не только показана ложность советских сведений о сборе зерновых в дореволюционной России, но и приведено собственное признание советской статистики

в ложном повышении сбора зерновых с 1933 г. по 1956 г. путем подмены амбарного урожая «биологическим» (на корню). При этом процент фальсификации, признанный самой советской властью, оказался для 1933-1940 гг. равным 23-27%, т. е. выше, чем его вычислял Н. М. Ясный (ок. 20%), которого весьма многие западные советологи упрекали в чрезмерном критицизме. А в 1949-1953 гг. этот процент, как об этом заявил Хрущев, выступая против Маленкова, достигал 36%. Но и при Хрущеве, говорит автор, фальсификация не прекратилась. Хотя, сообщаемый теперь урожай называется «амбарным», но он не является таковым. Для этого нужны «амбары», т. е. элеваторы, зерносушилки и складские помещения. Ничего этого в достаточном количестве нет, особенно в районах целины. Обмолоченное зерно сваливается в бунты под открытым небом, прорастает и приходит в негодность. «Поэтому Хрущеву следовало бы применить к себе урок, преподанный им Маленкову, и не считать амбарным урожаем зерно, сваленное в кучах под открытым небом» («Вестник», стр. 81). Проф. Архимович считает, что эти потери достигают 10-20%. Но если учесть то массовое очковтирательство, о котором должен был поднять вопль на январском пленуме ЦК КПСС в 1961 г. Хрущев, то действительный процент недобора зерна гораздо выше. Для 1958 и 1959 гг. советская статистика дает валовой сбор зерновых в 8.621 и 7.686 мил. пуд. или 141,2 и 125,9 мил. тонн. Если отсчитать от этих чисел 20%, то получается для 1958 г. 6.897 мил. пуд. или 1.130 мил. ц., а для 1959 г. — 6.080 мил. пуд. или 998 мил. ц. Проф. Архимович заключает указанную статью следующим общим выводом: «В течение 45 лет, с 1913 г., валовое производство зерна увеличивалось, главным образом, за счет увеличения посевной площади. Если принять за 100% площадь под зерновыми и валовой сбор зерна в России в 1913 г., то в СССР в 1958 г. их величина будет составлять для посевной площади под зерновыми 120%, а для валового сбора зерна от 108% до 121%. Темп роста населения за этот период значительно обогнал темп роста производства зерна: 159,2 мил. (100%) в 1913 г. и 208,8 мил. (130%) в 1959 г. На душу населения в СССР приходится меньше хлеба, чем было в России» (стр. 81). Здесь есть некоторые неточности по сравнению с числами, приведенными самим автором, кроме того, преуменьшено население России в 1913 г. Но и после поправок остается правильным вывод, что за 45 лет, из которых почти 30 уже осчастливлены полной социализацией земледелия, количество зерна, собираемое на душу населения, не увеличилось, а уменьшилось. Если же измерять прогресс социалистического земледелия ростом урожайности, т. е. сбора с 1 га, то получается следующий результат: исходя из данных, приводимых автором и считая нынешние данные советской статистики преувеличенными

только на 20% находим, что урожайность зерновых, составлявшая в 1913 г. 8,6 ц. с 1 га, через 45 лет достигла в урожайном 1958 г. всего 9,0 ц. и в менее благоприятном 1959 г. — лишь 8,3 ц. с 1 га. Никакого прогресса за пол столетия. И это несмотря на навезенные в совхозы и колхозы машины, увеличение вносимых в землю минеральных удобрений, направление в деревню армии специалистов с высшим и средним образованием (366 тыс. чел. в 1959 г.) и десятки тысяч брошенных туда партийных погонял. Более убийственной характеристики советского социалистического хозяйства нельзя дать. Ни в одной, кроме уж очень захудалой, некоммунистической стране такого отсутствия прогресса и даже регресса за целое полу столетие не было. Это рекорд отрицательного результата, которым поистине может гордиться 22-ой съезд партии при переходе СССР от «построенного социализма» к «коммунизму». Приведенные числа вместе с тем кричат об основной причине такого результата: об исключении из хозяйства самой элементарной свободы, о лишении хозяйствующих людей возможности проявлять личную инициативу и индивидуальное творчество, равно как права свободно располагать продуктами своего труда. В этом смысле советское сельское хозяйство оказалось не радикальной аграрной революцией, а самой грубой контр-революцией, новым закрепощением крестьянства. Именно это попрание свободы индивидуального творчества в таком индивидуальном промысле, каким является сельское хозяйство, почти полу столетия мстит за себя убожеством достижений советского сельского хозяйства. Самая механизация его происходит, несмотря на громадные затраты, неудачно, так как и механизация требует человеческого интереса и инициативы. И надо удивляться тупому упорству советских правителей, с каким они, вопреки всем противопоказаниям, продолжают уродовать хозяйство и безжалостно мучить людей в этой казарменной системе. Неужели никто из них, хотя бы движимый инстинктом самосохранения, до сих пор не понял в каком направлении должна быть изменена эта система? Поразительно и то, что 100-миллионное население почти полу столетия рабски влачит нищенское существование в этом ультра-крепостническом хозяйстве. Терпит его, имея уже достаточный революционный опыт, и терпит не в 18-ом или начале 19-го столетия, а во второй половине 20-го века, при почти всеобщей грамотности и значительном числе образованных людей, несмотря на железный занавес, всё же знающих, как живут мелкие и средние сельские хозяева в культурных свободных странах.

Приведенные проф. Архимовичем данные тем более показательны, что урожайность зерновых несравненно быстрее росла в дореволюционной России и не только на частновладельческих землях,

но и на крестьянских наделных землях. Соответственные данные имелись в изданиях Департамента земледелия. Оттуда их взял и привел в статье о «Земельном вопросе в России» (Энциклоп. словарь т-ва бр. А. и И. Грант и Ко., 7-ое изд., том 21, стр. 128, год не указан) проф. М. И. Туган-Барановский, который отнюдь не был склонен преувеличивать успехи дореволюционного хозяйства. Из того же издания Департамента земледелия «Сельскохозяйственный промысел в России» (Петроград, 1914) вновь берет эти данные и выносит их на свет в своей книге проф. Архимович (стр. 11 и 178).

По этим данным, за 40 лет с освобождения крестьян урожайность на частновладельческих землях возросла более, чем на 60%, но и на крестьянских наделных землях она выросла без малого на 50%. К 1913 г. она поднялась в среднем для всех хозяйств до 57,7 пуд. с дес. Автор ссылается также на проф. В. Тимошенко, по подсчетам которого, средние урожаи озимой пшеницы в лесостепи Украины с 1883 г. по 1913 г. увеличились на 40% (стр. 178). Даже у советских авторов, говорит проф. Архимович, в начале 30-ых гг. еще проскальзывало признание роста дореволюционного хозяйства. Так, в изданной в 1933 г. книге «Растениеводство СССР» А. Орлов и другие авторы сообщают, что урожай ячменя в Европейской России за 25 лет, с 1888 г. по 1912 г., увеличился с 6,1 до 8,2 ц. на 1 га, т. е. на 34,4% (стр. 178). Позже, прибавляет автор, такие признания были строжайше запрещены.

Как видим, до революции не только не было хронического застоя, типичного для советского сельского хозяйства, но происходил ускоряющийся рост. Конечно, делать сопоставления и выделять отдельные причины для таких слишком во многом различных исторических периодов, как полустолетия до и после 1913 и 1917 годов, можно лишь с очень большими оговорками. Но и при всех оговорках всё же ясно выступает влияние органической порочности советской хозяйственной структуры, насильственно и противоестественно навязанной сельскому хозяйству России.

Интересные данные собраны в книге проф. Архимовича также о посевах и урожаях других культур, кроме зерновых, особенно по сахарной свекле, хлопчатнику, льну, подсолнечнику.

В конце книги приведена обширная литература по вопросам растениеводства в России и СССР на русском и других языках.

*Александр Билимович*

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. *Десять лет*. Стихи. Изд-во «Рифма». Париж. 1961.

Ирина Одоевцева — давно сложившийся мастер, поэт со своим лицом. Ее ранние стихотворения, написанные еще в России в 1920 гг. — особенно ее баллады — с интересом перечитываются и теперь, они не утратили своего значения.

Сборник «Десять лет», по сравнению с прежними сборниками И. Одоевцевой эмигрантского периода, лишний раз подтверждает непрерывное совершенство ее поэтического мастерства. Как и творчество Анны Ахматовой, творчество Ирины Одоевцевой в прошлом связано с акмеизмом и дореволюционным Петербургом.

«О жизни, что прошла давно,  
Бесследно канула на дно,  
Не надо громко говорить  
Не надо ломко время лить.»

На мой взгляд, «Десять лет», это исповедь насквозь одинокого человека, которому трудно в этом мире («Одна вдоль чужого забора»). Но читатель не найдет в этих стихах ни жалоб, ни сожалений о неласково сложившейся судьбе. Сквозь горечь и безысходность каким-то обостренным внутренним зрением Ирина Одоевцева видит и свет и радости мира. Это не стихи отчаявшегося человека, который потерял все, или почти все, нет, поэт не только сохранил, но даже укрепил в себе жизнеутверждающие силы. Может быть это парадоксально, но оптимистическое мироощущение Ирины Одоевцевой как бы вырастает из бедствий окружающей жизни. И уже это говорит о том, что автор «Десяти лет», — настоящий большой художник. Истоки этого заражающего оптимизма Одоевцевой — в ее иррациональной вере — наперекор всему — в чудо.

Сомнения и колебания возникают только при воспоминаниях о смерти самого близкого человека, когда от горя уже некуда уйти, некуда скрыться:

Я не могу простить себе —  
Хотя другим я всё простила,  
Что в губельной твоей судьбе  
Я ничего не изменила,  
Ничем тебе не помогла,  
От смерти не уберегла.

Но, как только вера в чудо возвращается к поэту, тот холод мира,

о котором она часто пишет, внезапно исчезает. Опять — свет и солнце и даже страх смерти преодолевается неясной надеждой.

«Скользит слеза из-под усталых век,  
Звенят монеты на церковном блюде,  
О чем бы ни молился человек,  
Он непременно молится о чуде.  
Чтоб дважды два вдруг оказалось пять,  
И розами вдруг расцвела солома,  
Чтобы к себе домой прийти опять,  
Хотя и нет ни у себя, ни дома.  
Чтоб из-под холмика с могильною травой  
Ты вышел вдруг веселый и живой.

С годами творчество Ирины Одоевцевой, мне кажется, формально изменяется. Музыкальность ее стихов теперь часто внезапно обрывается каким-то срывом, каким-то сильным душевным движением.

Разбиваются чайки о снасти,  
Разбиваются лодки о льды,  
Разбиваются души о счастье.  
Расцветают крестами сады,  
Далеко до зеленой звезды...  
Как мне душно.  
Дайте воды...

Тут в последних двух строках в общую музыку стиха врывается сдавленный стон. И этот пример далеко не единственный. Ирина Одоевцева этим часто оттеняет силу душевных переживаний. Наряду с этим в ее стихах все сильнее проявляется способность превращать в музыку и делать неповторимым самое обыденное, самое простое, что у других могло бы показаться пустым и банальным.

Мне дышать не надоело,  
Хоть «печален наш удел».  
Жизнь приятнейшее дело  
Изо всех приятных дел  
Я во сне и наяву  
С наслаждением живу.

Как талантливого поэта Ирину Одоевцеву мы знаем давно. «Десять лет», на мой взгляд, самый своеобразный из сборников ее стихов.

*Вяч. Завалишин*

NINA GOURFINKEL. *“Dostoevski, notre contemporain”*. Calman-Levy. Paris. 1961.

Нина Гурфинкель, автор книг о Горьком, Толстом, Ленине, специалистка по истории русского театра, выпустила книгу: «Достоевский, наш современник».

О Достоевском на французском языке существует огромная литература. О нем писали Андрэ Жид и Альбер Камю, им вдохновлялся Пруст, его изучали философы, психологи, но к большинству этих книг можно применить фразу А. Жида: «Достоевский для меня лишь предлог для выражения моих собственных мыслей». В Достоевском часто исследователи ищут подтверждений своих личных теорий и взглядов.

Цель книги Нины Гурфинкель иная: анализируя творчество Достоевского, она попутно отмечает в нем темы, которые именно в наши дни приобрели особую актуальность. Уже в ранних вещах — «Бедные люди», «Хозяйка», «Белые ночи» — намечается хорошо знакомая нам тема одиночества человека большого города. В «Двойнике» и «Слабом сердце» впервые возникает мотив раздвоения личности, превращения человека в автомат под влиянием однообразного труда. Протест против обезличения, которым грозит человеку «общество будущего», звучит в «Записках из подполья».

Вопрос о ценности отдельной человеческой личности, о моральном праве на насилие, который со времени первой мировой войны, оказался в центре нашей проблематики, был уже поставлен Достоевским с большой остротой. Все его знаменитые романы построены вокруг темы убийства: убийство «интеллектуальное» (Раскольников), убийство чувственное («Идиот»), политическое убийство («Бесы»), отцеубийство («Братья Карамазовы»). В сущности, все эти романы, тематически между собой связанные, могли бы называться «Преступлением и наказанием». Преступивший Божеский закон — *преступник* — сам себе уготовляет казни. Прообраз «концентрационного» мира, с его организованной жестокостью и абсолютным презрением к человеку, впервые с художественной яркостью воспроизведен в «Записках из Мертвого дома». Именно у Достоевского, одаренного гениальной интуицией, мы находим исчерпывающий анализ тирана и тирании — диктатора и тоталитарного государства.

Вопрос о взаимоотношениях Запада и Востока — в наше время один из самых основных — никогда не переставал волновать Достоевского. Как известно, он многим был обязан западной литературе — Гюго, Ж. Занд, Диккенсу, особенно Шиллеру, — его политические взгляды сложились под влиянием французских теоретиков социализ-

ма — Прудона, Фурье. Но, после каторги, в Достоевском произошла резкая перемена: западник, он переходит в лагерь славянофилов, социалист становится консерватором.

Но как собственно Достоевский относился к Европе, к вопросу, так сказать, о «существовании»? Ответ на это надо искать в его письмах и особенно в «Дневнике писателя». На этом подробно останавливается автор отчетной книги.

Книгу Н. Гурфинкель, обращенную к французскому читателю, не без интереса прочтут и русские: они найдут в ней анализ творчества Достоевского, и сжатый очерк по истории главных течений русской мысли.

*Е. Каннак*

**В. П. МАРЧЕНКО** — *Основные черты хозяйства послесталинской эпохи*. Издание Института по изучению СССР. Мюнхен, 1959.

Читая эту работу, нельзя отделаться от впечатления, что она написана двумя разными лицами. Один автор — ученый и стремится описать и оценить новейшие хозяйственно-политические сдвиги в СССР со всем возможным беспристрастием. Другой — пропагандист, усматривающий свою задачу в том, чтобы не давать ученому идти дальше беглой и заведомо односторонней зарисовки происходящего и, главное, чтобы захватить в свои руки толкование фактов, устанавливаемых ученым, и, не задумываясь, автоматически вкладывать в них радужный смысл. На всем протяжении книги между обоими авторами идет борьба, причем в мелочах обычно берет верх первый, в основном же и решающем победа неизменно остается на стороне второго.

Поэтому вряд ли эту книгу можно оценить, как надежное руководство по послесталинской социально-экономической истории СССР.

Осветить советскую жизнь более или менее академически автору удастся лишь постольку, поскольку он пишет об обстоятельствах, не связанных непосредственно с проведением очередных социально-политических кампаний, и потому не привлекающих к себе обостренного внимания пропаганды. О таких, например, как «ликвидация технической отсталости СССР» (гл. I) или «внешне-экономические отношения» СССР (гл. IV). Главы, посвященные этим темам, кое-кто прочтет не без пользы, хотя и не найдет в них всего, что должен был бы найти, ввиду того, что автор знакомит его в обоих случаях лишь с чисто внешней, казовой стороной дела. Бесспорно ценны в книге так-

же отдельные страницы, касающиеся первых (отнюдь не последних!) лет послесталинской хозяйственной политики Кремля, особенно по обилию используемого материала.

Но от академичности не остается и следа, чуть только книга касается горячих точек хозяйственно-политической действительности. Идет ли дело об уровне потребления в городе и деревне, или о состоянии сельского хозяйства, или об аграрных реформах Хрущева и о положении колхозных масс, каждый раз мы наталкиваемся на одно и то же.

Из всего, что мы находим в книге относительно хозяйственно-политических сдвигов в той или иной названной области, 99% представляет собой (пусть читатель не вводится в заблуждение обилием литературных ссылок и других обманчивых атрибутов учености!) пересказ соответствующих кремлевских мифов. Среди отмечаемых автором фактов и отстаиваемых им заключений очень мало можно найти таких, которые не были бы целиком взяты из пропаганды. В то же время автор склонен брать из пропаганды решительно всё, что только подвертывается под руку, не отличая важного от третьестепенного и не разбирая, касается ли дело хозяйственно-политических сдвигов в их целом, или только отдельных эпизодов; фактического состава подчеркиваемых пропагандой явлений, или их хозяйственной и моральной оценки; логического смысла отстаиваемых пропагандой формул или их словесной оболочки. Автор настолько склонен к этому, что с легким сердцем дает свою подпись даже под утверждения, от открытого солидаризирования с которыми ему, во всяком случае, следовало бы воздержаться. Например, на стр. 27 он заявляет: «в сталинское время подавление личного хозяйства являлось одной из мер усиления эксплуатации колхозников; теперь же это мероприятие выглядит, как попытка рационализировать труд путем более эффективного приложения сил колхозников». На стр. 53 он находит возможным, среди симптомов «ощутимого повышения доходов колхозников», упомянуть и о «возвращении (в деревню) отходников, искавших заработков на стороне», как будто отходники эти, — в первую очередь студенты и студентки, а никак не «лица, искавшие заработков», — возвратились в колхозы по доброй воле и в расчете на лучшую, чем в городе, жизнь, а не из страха, что иначе на их близких обрушатся кары, введенные для семей невозвращенцев в 1956 году. Хрущевский «новый порядок» заготовок, знаменующий собой не что иное, как замаскированный полувозврат к продразверстке, он комментирует на стр. 48 таким образом: «отныне советское руководство определенно стало на путь 'экономически обоснованных цен' (на покупаемые в деревне продукты), т. е. цен, более

или менее соответствующих издержкам производства, плюс контролируемая свыше прибыль». И т. д. без конца.

Что же касается утверждений, не заимствуемых из пропаганды (главным образом отрывочных замечаний относительно ограниченности успехов и перспектив в оздоровлении сельского хозяйства и повышении потребления), то они преподносятся читателю в форме, не позволяющей им удержаться в памяти неспециалистов, или даже просто быть замеченными при беглом чтении. Они насильственно втискиваются там и сям в текст, не будучи органически связаны ни с предыдущим, ни с последующим изложением; коренным образом противоречат (своей трезвостью) всему, что упорно утверждается на всем остальном протяжении книги по соответствующему вопросу; высказываются догматически, без доказательств; раз будучи выказаны, немедленно забываются автором и уступают место тому, что они только что отвергали или ограничивали; на общих выводах автора не отражаются никак. (Ср., напр., сказанное о потреблении на стр. 23, с одной стороны, и на стр. 26, с другой).

Но то, что книга заполнена (в отмеченных границах) пропагандным материалом, есть лишь одно обстоятельство, делающее ее неспособной ориентировать читателя в происходящих в СССР событиях (и позволяющее рецензенту не останавливаться на изложении общей системы развиваемых в ней взглядов и воздержаться от их разбора по существу). Другое обстоятельство заключается в порочном использовании материала: в том, что выдвигаемые автором факты и соображения систематически группируются и истолковываются таким образом, что читателю оказывается трудно извлечь из книги какое-нибудь другое представление о современном хозяйственно-политическом положении СССР, кроме того, какое ему неустанно внушает и советская пресса.

В книге замалчиваются или искажаются обстоятельства, не вяжущиеся с ее общим радужным тоном, как бы ни были они бесспорны и важны. Например, о разрушении приусадебного хозяйства колхозников автор вскользь упоминает лишь два раза, — притом один раз (стр. 27) для того, чтобы уверить читателя, что оно преследует благородную цель рационализации труда, другой же раз (стр. 27), чтобы заявить, что материальный ущерб, причиняемый им колхозникам, с лихвой покрывается увеличением их заработков в колхозе. Ничего (кроме буквально двух слов) не говорит он и о том, что бок-о-бок с пресловутым повышением цен на приобретаемые в деревне продукты, советская власть все время принимала и принимает до сих пор другие меры, частью подрывавшие, частью сводившие на-нет конечный положительный эффект повышения; например (и

это далеко не всё!), душила свободный колхозный рынок с его несравненно более выгодными для деревни условиями сбыта. Сокращение натуральных выдач по трудодням превращается в изложении автора из удара по доходу колхозников в социально нейтральное мероприятие чисто технического порядка, проводимое в связи с переводом колхозов на денежный расчет (стр. 50) и не отражающееся на общей высоте оплаты трудодня (стр. 56).

В то же время, кажется, нет средства, к какому бы не прибег автор, чтобы выдвинуть на первый план и раздуть любое обстоятельство и любое соображение, если его можно использовать, с грехом пополам, как показатель обилия светлых явлений в хрущевском СССР и богатства возможностей их дальнейшего умножения.

Автор старается внушить читателю веру в наступление светлой эпохи и засыпает его (напр., на стр. 25-26) соображениями, доказывающими, как ему кажется, что недалеко время, когда советской власти волей-неволей придется смягчить режим. Несколько раз он даже уверяет, что время это уже пришло и что, например, в своей рыночной политике «советское правительство определенно стало на ту точку зрения, что необходимые издержки производства в колхозах должны покрываться ценами, уплачиваемыми за колхозную продукцию» (стр. 44).

Характеризуя задания и методику проведения послесталинских реформ, автор сосредоточивает внимание читателя только на том, что о них говорится в их официальном, т. е. пропагандном описании; что в действительности они совсем не идиличны, он во всей книге отмечает лишь два раза, в обоих случаях мимоходом и невнятно.

Простое издание соответствующего закона или распоряжения он склонен представлять читателю, как немедленное осуществление его на практике, как реальное достижение благих целей, приписываемых ему пропагандой. Реформы только что начались, а, если верить автору, в СССР сейчас «стагнация сельского хозяйства... преодолена» (стр. 7); «существенной чертой новой хозяйственной фазы является балансирование колхозной экономики в доходной и расходной частях, при одновременном росте оплаты труда колхозников» (стр. 43); «определенный рост потребления у колхозников очевиден» (стр. 27) и т. п.

Автор не останавливается ни перед какими нарушениями правил логики и добрых академических правил, используя, в целях прикрашивания советской хозяйственной жизни, такие бесспорные и на вид утешительные факты, как рост производства предметов потребления, повышение закупочных государственных цен на сельскохозяйственную продукцию, рост денежных доходов колхозов и денежной

оплаты трудодня, возвращение отходов в деревню и т. п. Перечислять и даже классифицировать их я не буду, как ни невероятны некоторые из них; это можно сделать только в специальном исследовании. Отмечу только, что в основном они сводятся либо к тому, что неверно изображается действительный хозяйственный и бытовой смысл этого рода фактов, как таковых (например, рост денежных доходов колхозников изображается, как рост оплаты трудодня, между тем как на самом деле он является частичной компенсацией понижений этой оплаты в результате сокращения или прекращения выдач натурой); либо эти факты неправомерно используются в качестве симптомов или даже доказательств существования других, документально не установленных фактов положительного характера (например, предполагаемый рост оплаты трудодня принимается за доказательство роста потребления колхозников); либо (и это особенно часто) искажение реального смысла фактов соединяется с искажением их реальной связи с другими.

Наконец, есть еще одно средство, каким (повидимому, бессознательно) пользуется автор для придания вескости выдвигаемым им на первый план явлениям и соображениям. Это то, что можно назвать моральным пленением читателя и что заключается в доведении читателя до такого состояния, при котором у него отпадает охота разбираться в деле, и он без раздумья принимает развертываемую перед ним лучезарную картину за точное изображение действительности. С одной стороны, автор терроризирует читателя длиннотой, путанностью, туманностью, иногда абсолютной непонятностью аргументации и безапелляционностью тона. С другой — он привлекает к себе симпатию читателя указаниями на то, что описываемые им благотворные сдвиги в советских порядках есть «неконтролируемый властью процесс» (стр. 35), и еще более на то, что в СССР нарастает в стихийном порядке активность широких масс настолько, что советское руководство не делало бы сейчас многого из того, что делает, если бы не испытывало на себе ее давления. С третьей стороны, читатель не может не отнести на счет беспристрастия автора его, отмеченные выше разрозненные и как будто вне текста стоящие, скептические замечания относительно объема и перспектив советских достижений (поскольку обратит на них внимание) и не проникнуться к нему доверием.

Моральное пленение читателя это, если и не вполне оригинальный, то, во всяком случае, сильный прием. К сожалению, остановиться на нем с тем вниманием, какого он заслуживает, невозможно в короткой рецензии.

*Д. Иванцов*

БОРИС ПАСТЕРНАК. *Собрание сочинений в четырех томах*. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступительная статья В. В. Вейдле. Издание Мичиганского Университета. Анн Арбор. 1961.

Это первое собрание сочинений Бориса Пастернака — большой вклад в русскую литературу. Издано оно прекрасно. И за этот ценный вклад всякий русский читатель будет благодарен Мичиганскому Университету, осуществившему это издание. Конечно, в СССР тоже когда-нибудь настанет время, когда и там полностью будут изданы сочинения Пастернака. Но Улита едет — когда то будет. А за границей это уже осуществлено. В отзыве на эти книги я не буду говорить о месте поэзии и прозы Пастернака в русской литературе, о значении его творчества и т. д. Этот отзыв — только описание, как издано первое собрание сочинений и некоторые замечания по этому поводу.

В своем предисловии редактора собрания сочинений говорят, что оно «не притязает на исчерпывающую полноту» и указывают, что в него, например, не входит самое крупное и прославленное произведение автора — роман «Доктор Живаго». Но на обложке книги несогласно с редакторами говорится, что четвертым томом этого собрания является как раз «Доктор Живаго», выпущенный тем же Мичиганским Университетом, но значительно раньше. Придерживаясь указаний издательства, будем считать это собрание сочинений *в четырех* томах. Но так как о «Докторе Живаго» в нашем журнале было уже много отзывов, то сейчас остановимся только на трех томах, о которых и говорят редактора.

Кстати, надо отметить, что Пастернак знал об этом заграничном издании собрания его сочинений. Одобрял это. И даже читал корректурные гранки «значительного числа текстов», как пишут редактора. Это использование редакторами его «собственноручных исправлений», конечно, ценно.

Содержание книг таково. В первый том входят стихи и поэмы 1912-1932 г.г. Во второй — проза 1915-1957 г.г. В третий — книги стихов Пастернака 1943, 1945 и 1959 годов, книги стихов для детей, стихи 1912-1957 годов, не собранные в книги автора; статьи Пастернака о литературе, музыке, принципах художественного перевода, его автобиографические заметки и библиографическая справка — первый опыт библиографии произведений Пастернака. Для того, чтобы люди, не читавшие еще этих книг, оценили громадную работу редакторов и полноценность этого издания, укажу и на «приложения», помещенные в конце каждого толстого тома. Так, в первом томе — три приложения: 1) первые редакции и наиболее значитель-

ные варианты некоторых стихотворений и поэм, 2) разночтения; опущенные в окончательных редакциях строфы; примечания, 3) о стихах 1912-1932 г.г. в неизданном томе «Избранных стихов» 1957 г. Во втором томе — два приложения: 1) послесловие к «Охранной грамоте», 2) примечания и разночтения. В третьем — пять приложений: 1) письма в редакцию Б. Пастернака, 2) первые редакции некоторых стихотворений, 3) разночтения; опущенные в окончательных редакциях строфы; примечания, 4) о поздних стихах Пастернака в неизданном томе «Избранных стихов» 1957 г. и 5) библиография. При чем в библиографии дан не только список оригинальных книг Пастернака и его переводов, но и перечень публикаций стихов Пастернака в альманахах, антологиях, сборниках, журналах, временниках, еженедельниках, и в газетах (как в России, в СССР, так и за рубежом в эмигрантских и в иностранных изданиях); точно также даны указания о публикации книг и отдельных стихов Пастернака на всех иностранных языках. Эта библиография занимает 30 страниц петита, что говорит о ее полноте и тщательности составления.

Я — так подробно — упоминаю обо всех этих приложениях, чтобы показать читателю (не только зарубежному, но и советскому, ибо «Н. Ж.» всё-таки проникает и туда), какая огромная, кропотливая работа была проделана редакторами этого издания и какой ценный вклад они внесли в изучение творчества Пастернака. Конечно, при дальнейшей работе кто-нибудь наверное найдет какие-нибудь мелкие недочеты, но несомненно одно — основная работа по изучению творчества Пастернака редакторами настоящего издания заложена и сделано это прекрасно, за что они заслуживают всяческой благодарности.

Теперь перейду к статьям в трех томах этого издания. В первом — вводную статью дала друг Пастернака в последние годы его жизни, Жаклина де Пруаяр. На ее статье (в письмах к ней) настаивал сам Б. Пастернак. Но при его жизни Ж. де Пруаяр отказывалась. После же смерти Пастернака сочла себя обязанной написать эту статью. Статья ее интересная и ценная, она вводит читателя в мир Пастернака и человека и художника. На мой взгляд было бы еще лучше, если бы кое-каких мелочей в этой статье не было. Например: «Пастернак был великим человеком в полном значении этого слова. Он принадлежал к людям, ведущим человечество к совершенству». Столь громкие слова не в стиле всей (прекрасной) статьи и плохо вяжутся с обликом Пастернака. Я готов признать, что Пастернак времен «Доктора Живаго» пошел по *великому* духовному пути и именно на нем дал некие свершения. Но если взять *весь* твор-

ческий и жизненный путь поэта, то вряд ли эпитет «великий» будет на месте.

Очень хорошо (и, по моему, очень верно) всё то, что Ж. де Пруаяр пишет о мироощущении Пастернака, о его вере, что «за эрой паровоза наступит эра любви», о том, что «наша теперешняя жизнь беспросветно осуждена», о том, что этот враждебный мир, полный безумия и злобы, не может продолжать существовать потому, что он — мир «выдуманный, искусственный, абстрактный и нерепальный, и проходит сейчас свою последнюю фазу». Всё это основоположно во взглядах позднего Пастернака и характерно для его отношения к миру, человеку, искусству. «О, Жаклина! если бы я мог Вам выразить, как всё чудесно, как всё исполнено будущего, даже в этот последний час, в нескольких шагах от неминуемого конца!» — вот крик настоящего Пастернака, подлинно говорящий нам о его творчески-человеческом замысле. «Самым значительным, самым близким и самым родным», пишет Ж. де Пруаяр, Пастернаку в современном мире был философ Тайяр де Шарден. Тут была та же любовь к миру и Богу. Интересна и та часть статьи Ж. де Пруаяр, где она говорит о взгляде позднего Пастернака на искусство, хотя подробнее об этом и именно об этом говорит в своих трех статьях В. Вейдле, к которым я и перейду.

Каждому из трех томов собрания сочинений Пастернака предпослаив три статьи В. Вейдле: «Борис Пастернак и модернизм», «Проза Пастернака» и «Завершение пути». Удачно ли выбрало издательство Мичиганского Университета именно В. Вейдле, чтобы дать вступительные статьи к прозе и поэзии Пастернака? Я думаю, удачно. И не только потому, что по моему, у В. Вейдле абсолютный слух в вопросах искусства. Но и потому, что в подходе к творчеству Пастернака у Вейдле (как и всегда в его работах) сохраняется пафос расстояния между критиком и критикуемым, что только и гарантирует зоркость видения и максимально-возможную объективность суждения. Если бы, к примеру, к произведениям Пастернака вступительные статьи дала талантливейшая Марина Цветаева, автор в своем роде замечательной «эпохальной» статьи-панегирика «Световой ливень», я думаю, ее статьи не могли бы выполнить своего назначения: стать для читателя неким поводьрем, помощью, гидом — по творчеству Пастернака. Панегиристы тут не у места. На мой взгляд, большому мастеру Пастернаку конгениальнее вдумчивое, понимающее слово Вейдле. Конечно, может быть, это мое мнение диктуется тем, что и я никогда не принадлежал к числу безоговорочных поклонников этой музыки. Любил отдельные стихи, отдельные строфы, строки, но тотальный Пастернак (от «Черного бокала» до «Лейтенанта Шмидта», «1905 года» и до стихов 40-х годов) не был

моим поэтом. Полюбив всего позднего Пастернака и перечитывая сейчас собрание его сочинений, мне хотелось бы вынуть из него и «Лейтенанта Шмидта» и «1905 год», и передать всё это в собрание сочинений Безыменского. Оба поэта только бы выиграли, ибо вся эта плоская «мифология 5-го года», как и многое другое, плохо уживается и с «Доктором Живаго», романом поразительной прозорливости и настроенности, и с поздними стихами.

В статье «Пастернак и модернизм» В. Вейдле очень хорошо показывает «путь поэта» от нарочитой затрудненности стиха и прозы к их «неслыханной простоте». Эта статья привлекает внимание не только в связи с Пастернаком, но и как разговор об искусстве вообще. Ведь даже в русской среде есть еще поэты и прозаики твердо уверенные в том, что искусство это «некое экстемпорале, задача которого заключается единственно в том, чтобы оно было исполнено блестяще». Это — Пастернак 1914 года. При чем современные последователи этого императива, как ни странно, уверены, что именно они и новаторы и революционеры. В то время как в этом взгляде пора бы уже увидеть некую «густопсовую реакционность». Вспоминая время своего «затрудненного творчества» поздний Пастернак писал: «Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты». Именно эта «посторонняя острота» и остается каноном ложного «новаторства». Говоря о творческом пути Бориса Пастернака, В. Вейдле приводит прекрасные цитаты из «Автобиографического очерка», о том, например, почему Пастернак не посещал кружок Андрея Белого по изучению стихотворного ритма: «потому что, как и сейчас, я всегда считал, что музыка слова — явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи с ее звучанием».

Я думаю, что литературная ценность всех этих томов Пастернака правильно выражена В. Вейдле, когда в статье к первому тому он пишет: «Безупречного найдется в нем немного, совершенства в нем не следует искать, но поэзии тут вдоволь и сколько угодно свидетельств высокого поэтического дара... Не мешает при этом помнить, что автор, в отличие от многих русских поэтов, не умер молодым, что ему дано было исполнить все обещания своей юности и достигнуть того, к чему и в зрелые свои годы он еще только стремился — всем упорством своей воли, всей силой своего таланта и ума».

На этом я закончу описание издания трех томов собрания сочинений Пастернака. И только кратко еще скажу о некоторых, на мой взгляд, технических недочетах. На томах нет цифр (I, II, III) ни на супер-обложке, ни на обложке, что затрудняет пользование ими. Пагинация почему-то дана жирным шрифтом, что в сочетании с шрифтом стихов нехорошо. На супер-обложках сообщения об

этом издании даны на очень плохом русском языке. Упоминание в них о Н. Бухарине мало украшает поэзию. Я понимаю, имя этого, как он здесь называется, «главного идеолога русского коммунизма», импонирует некоторым иностранцам. Но никак не русским ценителям поэзии, для которых изданы эти книги. Рисунок супер-обложки Рональда Стаховяка сделан со вкусом.

*Роман Гуль*

### *Письма в редакцию*

Многоуважаемый г-н редактор,

Не откажите в любезности напечатать поправки, которые я, как бывший секретарь Д. С. Мережковского, считаю своим долгом внести в статью Андрея Седых «И. А. Бунин», напечатанную в кн. 65 «Н. Ж.». Описывая аудиенцию, данную Муссолини Д. С. Мережковскому, А. Седых упоминает о присутствии на этой аудиенции З. Н. Гиппиус. На самом деле ни на этой, ни на других аудиенциях — их было три — З. Н. Гиппиус не присутствовала. Дальше А. Седых передает следующий разговор Муссолини с Мережковским. «А над чем вы теперь работаете, мэтр?» — спросил Муссолини. «Хочу писать книгу, дуче, о двух великих итальянцах: о вас и о Данте». Такого разговора между Муссолини и Мережковским никогда не происходило. Затем А. Седых описывает другой анекдотический случай, будто бы Д. С. Мережковский писал португальскому диктатору Салазару, прося визу в Португалию, и сообщал, что он хочет составить жизнеописание португальской национальной святой Фатьмы, историю которой он изучает. «Ответа не последовало, — пишет А. Седых, — такой святой в Португалии вообще не существует. Есть город Фатьма, где народу явилась Богоматерь... Вероятно, Салазар удивился, узнав от Мережковского о существовании новой португальской святой». Вся эта история не соответствует действительности. Мережковский Салазару никогда не писал, а что Фатьма не святая, а город он, конечно, знал.

*Владимир Злобин*

М. Г. г-н редактор,

Не откажите в любезности напечатать следующее.

Рассказ о визите Д. С. Мережковского к Муссолини и о письме к португальскому диктатору Салазару я слышал от И. А. Бунина и тогда же в точности записал с его слов эти «анекдотические случаи». Слышал я их и от других лиц, заслуживающих моего доверия. Подробности в этих рассказах неизменно совпадали.

*Андрей Седых*

## КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

### ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 65-й Н. Ж. надо сделать следующие исправления. В статье Р. Плетнева «О животных в творчестве Лермонтова» на стр. 98-й, в 15-й строке сверху должно читаться «сорок четыре процента». В кн. 66-й Н. Ж. в статье Л. Зурова «Тамань» Лермонтова и «L'Огсо» Жорж Занд на стр. 280 в 9-й строке сверху должно быть «честные контрабандисты». В рассказе А. Сапронова на стр. 47, в посл. строке снизу должно читаться «джук-бокс».

### КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- М. В. ШАТОВ — Библиография освободительного движения народов России в годы второй мировой войны (1941-1945). Нью Йорк. 1961.
- ДАНТЕ АЛИГИЕРИ — Божественная Комедия. Ад. Перевод Бориса Зайцева. УМСА-Press. Париж. 1961.
- С. П. МЕЛЬГУНОВ — Мартовские дни 1917 года. Париж. 1961.
- АНАТОЛИЙ ГЕРИЦЕЛЬМАН — Моя книга. Избранные стихи. Типография Чампи. Рим. 1961.
- А. А. ВОЛЖАНИН-НИЖЕГОРОДЕЦ — Россия у заветной цели. Нью-Йорк. 1961.
- Прот. А. ШМЕМАН — Введение в Литургическое богословие. УМСА-Press. Париж. 1961.
- ЕЛЕНА РУБИСОВА — Огни Азии. Путешествие на Восток. Фотографии Г. А. Рубисова. Париж. 1961.
- Д. КЛЕНОВСКИЙ — Уходящие паруса. Стихи. Мюнхен. 1962.
- МОРСКИЕ ЗАПИСКИ — Vol. XIX, № 3/4 (55). Нью Йорк. Ноябрь 1961.
- AN ANTHOLOGY OF RUSSIAN VERSE (1812-1960). Edited by Avraham Yarmolinsky. Doubleday & Company, Inc. Carden City. N. Y. 1962.
- THE PENGUIN BOOK OF RUSSIAN VERSE. Introduced and edited by Dimitri Obolensky. Harmondsworth, Middlesex. 1962.
- ARENA. No. 3. Published by the P. E. N. Center for writers in exile. London. 1961.
- ROMAN GOUL. Azef. Historical Novel. Translated by Mirra Ginsburg. Doubleday. New York. 1962.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО. Избранное. Изд. В. Камкина. Вашингтон, 1961.

- СЕРГЕЙ ШАРШУН. Долголиков. Поэма. Париж. 1961.
- АНДРЕЙ СЕДЫХ. Далекие, близкие. Нью Йорк. 1962
- GÜNTHER WYTRZENS. Pjotr Andreevič Vjazemskij. Verlag Nöt-  
ring der wissenschaftlichen Verbaende Österreichs. Wien, 1961.
- ANNALI. Sezione Slava. IV, 1. Napoli, 1961.
- STUDIES on the SOVIET UNION. Vol. I, No. 2. Institute for the  
Study of the USSR. Germany. 1961.
- PROBLEMS of the peoples of the USSR. 12. 1961. Munich.
- EIGHTEEN CENTURY RUSSIAN PUBLICATIONS in the Library  
of Congress. A Catalog prepared by Tatiana Fessenko. Slavic  
and Central Division. Library of Congress. Washington, 1961.
- TURGENEV IN ENGLISH. A Checklist of Works by and about Him.  
Compiled by Rissa Yachnin and David H. Stam. With an Intro-  
ductory Essay by Marc Slonim. The New York Public Library.  
1962.
- MAESTROS RUSOS. V. I. S. Shmeliov, F. A. Stepun, M. A. Aldanov,  
S. J. Arbatoff, R. B. Goul. Introduction de S. Arbatoff. Editorial  
Planeta. Barcelona. 1961. (p. 1848)
- МАРК ИЛОВАЙСКИЙ. Стихи. 1928-1960. Издание автора. Франкфурт  
на Майне. 1961.

КНИГА 65-я. *Л. Ржевский* — Через пролив. *Д. Кленовский* — Стихи. *Д. Мережковский* — Св. Иоанн Креста. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Калифорнийские стихи. *В. Варшавский* — Мечтание. *Н. Туроверов* — Конь. *Р. Плетнев* — О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова. *К. Померанцев* — Стихи. *Д. Гольдштейн* — Переделка писем Достоевского. *И. Одоевцева* — Стихи. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Ю. Анненков* — Воспоминания о Ленине. *А. Седых* — И. А. Бунин. *Б. Одинцов* — Высшая школа в 1917-22 г.г. *И. С. Ильин* — Комуч. *К. Вендзягольский* — Савинков и Керенский. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Н. Нижальский* — Эволюция Павлова. *Ю. Денике* — Труд поработанной мысли. *Н. С. Тимашев* — Сталинский террор и перепись 1959 года. *В. Вейдле* — Похороны Блока. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *Проф. Б. С. Ижболдин* — Русские историки о татарском иге. *А. Билимович* — О бюллетене русской зарубежной печати. БИБЛИОГРАФИЯ: *Ричард Пайпс* — А. Walicki. Osobowość a historia. *В. Варшавский* — «Воздушные пути». *Артур Адсон* — А. Rannit. Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis. *Л. Алексеева* — О Ильинский. Стихи. *Н. Тимашев* — И. Курганов. Нации СССР и русский вопрос. *Ю. Арбатский* — Очерки по истории первого московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. *Роман Гуль* — Игорь Чиннов. Линии. *Роман Гуль* — Л. Ржевский. Показавшему нам свет. *Л. Алексеева* — Н. Белавина. Синий мир.

КНИГА 66-ая: Из архива *И. А. Бунина*. *Зинаида Гиппиус* — Стихи. *Сурен Санинян* — Философ. *Николай Моршен* — Стихи. *Анатолий Сапронов* — Революция. *Олег Ильинский* — Стихи. *П. Штейнгель* — За дрофами. *Михаил Чехонин* — Индейские мотивы. *П. Лапикен* — Соловей. *В. Злобин* — Стихи. *Иван Елагин* — Лыдина, поэма. *Георгий Адамович* — Table Talk. *Н. Берберова* — Ключи к настоящему. *В. Вейдле* — Ходасевич издали-вблизи. *Т. Петровская* — Об эстонской поэзии. *Б. Домогацкий* — Н. А. Малько. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Леонид Зуров* — Литературное завещание И. А. Бунина. *Ив. Бунин* — К моему завещанию. *Дневник П. Н. Милюкова*. *Л. Кауфман* — Мой отец Шолом Алейхем. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Н. С. Тимашев* — Судьбы России. *Прот. о. В. Зеньковский* — Мифология в науке. *Д. Шуб* — Европейский социализм и советский коммунизм. *Проф. С. Верховской* — О Гоголе. *Ю. Денике* — Из европейских впечатлений. БИБЛИОГРАФИЯ: *Леонид Зуров* — «Тамань» Лермонтова и «L'Orcso» Жорж Занд. *Б. Прянишников* — Н. Рутыч. «КПСС у власти». *Г. Аронсон* — Ю. Марголин. «Еврейская повесть». *Вяч. Завалишин* — «Литуанус». *Н. Ульянов* — Н. Оцуп. «Жизнь и смерть». «Современники». «Литературные очерки». Указатель содержания «Нов. Журнала», кн. 59-66.

**НИКОЛАЙ КЛЮЕВ**  
**ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ**

Поэма

Изд-во «Мост»

Цена 1 дол.

---

**ГЕОРГИЙ ИВАНОВ**  
**1943-1958**  
**СТИХИ**

Вступительная статья Романа Гуля

Издание «Нового Журнала»

Цена 2 дол.

---

**А. И. ГЕРЦЕН**  
**НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА**  
**к Н. И. и Т. А. Астраковым**

Приготовил к печати Л. Л. Домгер

Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.

---

**РОМАН ГУЛЬ**  
**СКИФ В ЕВРОПЕ**

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.

---

**РОМАН ГУЛЬ**  
**АЗЕФ**

Исторический роман

Издательство «Мост»

Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1—№ 9. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

